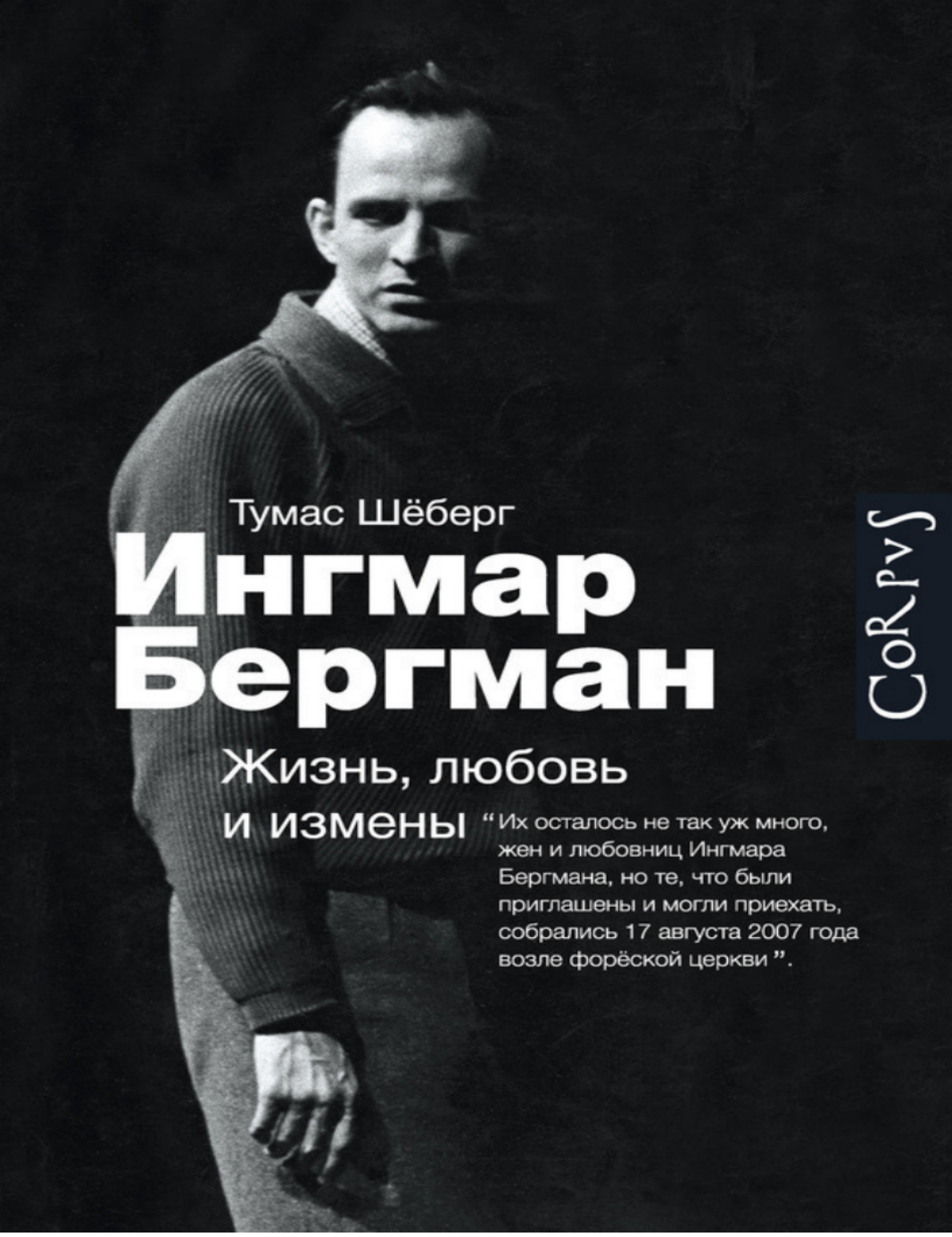


Тумас Шёберг

Ингмар Бергман

Жизнь, любовь и измены

"Их осталось не так уж много, жен и любовниц Ингмара Бергмана, но те, что были приглашены и могли приехать, собрались 17 августа 2007 года возле форёской церкви".

CORPUS

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Шведский писатель и журналист Томас Шёберг написал необычную биографию Ингмара Бергмана. В фокусе его семейная и личная жизнь, детство, отношения с родителями, любовь. Автор подробно рассказывает обо всех его счастливых и неудачных браках, о связях с женщинами, среди которых были мировые кинозвезды Харриет Андерссон, Биби Андерссон, Лив Ульман. Получив доступ к богатейшему семейному архиву, где хранится уникальное собрание писем и документов, автор включил в книгу фрагменты дневников матери режиссера, воспоминания людей, близко его знавших, а также его собственные письма к родителям, в том числе присланные летом 1936 года из нацистской Германии, которые он заканчивал приветствием “Хайль Гитлер!”. Это детальное жизнеописание, где многие обстоятельства открываются впервые, читается как захватывающий роман.

- Тумас Шёберг
  -
  - Хронология
  - Предисловие. Дело И. Б
  - Похороны
  - Рождение
  - “Малыш”
  - Цирк Пальмис
  - У Гитлера
  - Рыжая
  - Шпионка
  - “Благослови Господь Эльсу и Ингмара”
  - “Новая женщина”
  - В Париж с Гюн Грут
  - Лето с Харриет
  - Новая Андерссон
  - Пианистка
  - Позиционная война
  - Жизнь с Лив
  - Ментор и цензор
  - Дорога домой
    - Часть 1. Граф и графиня
    - Часть 2. Большое попечение
    - Часть 3. Проект
  - The end[41]
  - Эпилог. “Ибо Твое есть Царство и сила и слава”

- Благодарности автора
- Источники (выборочно)
- Фото к книге

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38
  - 39
  - 40

- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45

Тумас Шёберг
Ингмар Бергман. Жизнь, любовь и измены

Моей любимой дочери Фредрике

Thomas Sjöberg

Ingmar Bergman
– en berättelse
om kärlek,
sex och svek

Хронология

1918 Рождение Ингмара Бергмана.

1940 Помолвка с Марианной фон Шанц. Начало связи с Карин Ланнбю. Расторжение помолвки с фон Шанц.

1942 Конец романа с Карин Ланнбю. Знакомство с Эльсой Фишер.

1943 Женитьба на Эльсе Фишер. Рождение дочери Лены.

1944 Встреча с Эллен Стрёмхольм (урожд. Лундстрём).

1945 Рождение дочери Эвы.

1946 Рождение сына Яна.

1947 Развод с Эльсой Фишер-Бергман. Женитьба на Эллен Лундстрём.

1948 Рождение близнецов Матса и Анны.

1949 Начало связи с замужней Гюн Грут (урожд. Хагберг), отъезд с нею в Париж.

1951 Рождение сына Лилль-Ингмара.

1952 Развод с Эллен Бергман. Женитьба на Гюн Грут. Начало связи с Харриет Андерссон.

1955 Начало связи с Биби Андерссон.

1957 Начало связи с замужней Ингрид фон Розен (урожд. Карлебу). Знакомство с Кэби Ларетай.

1959 Развод с Гюн Бергман и женитьба на Кэби Ларетай. Рождение дочери Марии, которую он втайне имеет от Ингрид фон Розен.

1962 Рождение сына Даниеля.

1965 Начало связи с Лив Ульман.

1966 Рождение дочери Линн.

1969 Развод с Кэби Ларетай.

1971 Женитьба на Ингрид фон Розен.

1995 Смерть Ингрид Бергман.

2007 Смерть Ингмара Бергмана.

Предисловие. Дело И. Б

Как и многим другим, Бергман с его религиозными рефлексиями и меланхоличными фильмами долго представлялся мне непостижимым. Стареющий чудак с желудочными проблемами, в неизменном берете, потертой кожаной куртке и кроссовках. Добровольная изоляция на Форё. И покорность окружающих. Страх перед его властью. Нескрываемое восхищение избранного круга.

В 1993 году я написал о нем большую статью для журнала “Нёйесгайд”. Анонс на обложке: “Дело И. Б.” Заголовок внутри журнала: “Великая неприязнь – или просто шведская зависть?” Дальше вступление, резюме моей тогдашней задачи:

> В большинстве кругов Ингмар Бергман слывет великим, и не просто великим – величайшим. В культуре он – божество, перед которым не только склоняют голову, но испытывают религиозное благоговение. Другие же категорически заявляют, что он эффективнейший тормоз нашей культурной жизни. Национальный монумент, который надо бы включить в планы сноса. После нескольких недель работы над этой статьей мы совершенно твердо знаем, по крайней мере, одно: свое мнение об Ингмаре Бергмане есть у всех, но лишь немногим хватает духу его высказать.

Вот я и решил найти побольше людей, которые рискнут открыто высказать свое мнение о старикане (тем летом ему исполнилось семьдесят пять). В качестве отправной точки для моей статьи вполне подошла книга, вернее, полемическая работа Бу Видерберга “Панорама шведского кино”. Опубликованная еще в 1962-м, она являла собой сведение счетов со шведской кинематографией и ее “прискорбной трусостью и инертностью”. Видербергу было тогда тридцать два года и, пожалуй, прочной опорой он еще не обзавелся. Конечно, снял с оператором Яном Труэллем короткометражку “Мальчик и дракон”, однако слава пришла к нему позднее, когда он один за другим выпустил культовые фильмы: “Детская коляска” (1963), “Вороний квартал” (1963), “Эльвира Мадиган” (1967), “Одален-31” (1969).

И все-таки Видерберг дерзнул ополчиться на своего всемирно известного коллегу, двенадцатью годами его старше, который, в частности, удостоился двух “Оскаров” и попал на обложку американского иллюстрированного журнала “Тайм”. Ведь именно

по милости Бергмана окружающий мир смотрел на нас, шведов, как на сборище мрачных типов: “Он поощряет худшие мифы о нас, подчеркивает ложные представления, с которыми заграница рада не расставаться”. Видерберг надеялся, что Бергману надоест играть перед миром роль этакой сувенирной “даларнской лошадки”. По его вине молодые кинематографисты вообще не имели шансов, потому что международная известность обеспечила ему непререкаемо доминирующее положение. Бергман делал вертикальные фильмы (человек против Бога/дьявола), а не горизонтальные, то бишь более важные (человек против человека).

> Швеция – одна из наименее религиозных стран мира, и все-таки И. Б. упорно снимает фильмы о людях, чья главная проблема – существует ли Бог или нет, вопрос, который в силу своей мнимой важности заслоняет все остальные вопросы, – писал Видерберг. – Но мне кажется, подобная приватная ностальгия, получи она возможность создать школу, крайне опасна для развития шведской кинематографии.

Я отправился на бергмановскую территорию, чтобы найти ответ на вопрос, по-прежнему ли Бергман, как тридцать лет назад утверждал Видерберг, был тормозом, барьером на пути молодого поколения кинематографистов и драматургов. Да, безусловно, многие, кого я интервьюировал, считали, что все обстоит именно так. А кое-кто высказывал суждения, встречающиеся, пожалуй, не на каждом шагу.

Сюзанна Остен, режиссер и руководитель театра “Молодая Клара”, сомневалась, может ли она сказать о Бергмане что-то важное. Но, судя по моим записям, так или иначе сказала вот что:

> Я живу своей жизнью, без Бергмана, но подчас такой возможности нет. Говорить о нем рискованно, и я наверняка единственная, кому недостает ума промолчать. Вот когда он умрет, все захотят высказаться о нем. Сейчас-то опасаются. Никогда не слыхала ни о ком столько гадостей, сколько об Ингмаре Бергмане. У него огромная потребность держать все под контролем. Именно теперь Бергману возводят монумент, однако как театральный деятель он уже не слишком интересен, да и фильмы не снимает.

Затем Остен умолкла. Решила день-другой подумать, продолжать ли ей вообще разговор со мной о Бергмане. В

следующий раз она захотела побольше узнать о проблематике и направленности моей статьи. К замыслу Остен отнеслась с симпатией, но тем не менее ответила отказом. Ей требовалось больше времени, а как раз его у нее тогда не было. Она пожелала мне удачи. Минуло два десятка лет, прежде чем мы встретились снова.

Режиссер Оке Сандгрен, снявший нашумевшие фильмы “Чудо в Вальбю” и “Выстрел из рогатки”, принадлежал в ту пору к новому поколению кинематографистов. Ингмара Бергмана он воспринимал спокойно:

> В Швеции невозможно снимать кино, не выработав отношения к Ингмару Бергману. Памятуя о его огромной творческой продукции и множестве хороших фильмов, нельзя не спросить себя: как он этого достиг? Ведь тут все равно что создавать в Швеции новую марку автомобиля – ее непременно станут сравнивать с “вольво”. И коль скоро ступаешь на территорию Бергмана, надо быть готовым к сравнению. Становишься либо его учеником, как Челль Греде, либо его антагонистом, как Бу Видерберг. Фильмы Ингмара Бергмана строятся на скандинавской повествовательной традиции, суровости и меланхолии. Потому-то его позиция так сильна. Его интересует происходящее в нашей душевной жизни, и многим кинематографистам, наверно, очень непросто сделать выбор: следовать ли украдкой англосаксонской традиции или продолжать родную? А там стоит Бергман.

Оке Сандгрен тринадцать лет прожил в Дании и видел, что Бергман неизменно остается оракулом.

> Приезжая в Швецию, я замечаю, как велика у нас потребность рассказывать истории про Бергмана. В них сквозит смесь страха и восторга. А речь там либо о том, что он злодей и самодур, либо о его отношении к собственным физическим отправлениям. Эти истории живучи и существуют сами по себе, поскольку те, кто на самом деле с ним работал, говорят иначе.

Режиссер Кристина Улофссон сожалела, что директора кинокомпаний до слепоты таращились на Бергмана и не видели иных альтернатив. Одновременно она подчеркивала, какое влияние он оказал на культурную жизнь Швеции, каких больших актеров открыл и выдвинул. И если на съемках “Осенней сонаты”

ему хотелось иметь персональный туалет, если он высказывал определенные пожелания насчет того, что подавать на обед именно ему, а на репетициях “Вакханок” требовал пространства и изолированных площадок, так что директор Оперы и тот поневоле ходил на цыпочках и даже зеленые аварийные указатели запасного выхода обязательно выключали, чтобы не мешать, – *so what?*[1] Возможно, для многих подобные требования не вязались с принципом “Не высовывайся!”, но ведь, по сути, Бергман требовал лишь полного, безусловного уважения к своей работе и своему мастерству.

> Раз уж народ постоянно перед тобой расшаркивается, ты в конце концов принимаешь это как должное. Благодаря своему творчеству Ингмар Бергман вошел в число великих кинематографистов мирового уровня и всегда будет значимой фигурой для других деятелей кино и для публики. Только вот сажать его на трон я не стану, – сказала Улофссон.

Киновед Пер Люсандер полагал совершенно естественным, что такая страна, как Швеция, слишком мала, чтобы вместить столь крупного художника, как Ингмар Бергман. Однако серьезной проблемы он здесь не видел.

> Для меня он был старшим коллегой, помогал мне. И Эве Бергман [руководительница театра “Бакка” в Гётеборге. – *Авт.*] ничего даром не доставалось. Даниель Бергман сделал, по-моему, хороший фильм [“Баловни судьбы”. – Авт.] и возможностями распорядился с умом. И в том, что Матс Бергман получает большие роли в Драматическом театре, а Ян Бергман превосходно поставил “Густава III”, я никаких проблем не вижу. Дети Бергмана не претендуют в шведском театре на более важные роли, чем заслуживают. Они умеют уважать профессионализм. И никто из них не пытался идти легким путем.

Когда я спросил Люсандера, попал бы Бергман к нему без очереди, если бы принес сценарий, он ответил:

> По-вашему, я дурак? Как руководитель радиотеатра я однажды получил от него сценарий. Чертовски хороший, и он обрадовался, когда я так и сказал. В общем, я был бы дураком, если б не отложил другие тексты и не занялся тем, что прислал он. В противном

случае совершил бы служебную ошибку.

Режиссера и драматурга Хильду Хелльвиг в то время, в начале 90-х, называли “новым Ингмаром Бергманом”. Но и она кое-что знала о его взгляде на женщин. В его мире существовало два типа женщин: те, что с бородой, и те, с кем можно не считаться. “То есть мужики в юбке и пышногрудые красотки”, – уточнила Хелльвиг.

Встретился я и с давним бергмановским оператором Гуннаром Фишером. Он стоял за камерой на съемках целого ряда фильмов Бергмана: “Лето с Моникой”, “Улыбки летней ночи”, “Седьмая печать” и “Земляничная поляна”, затем его сменил Свен Нюквист. Причиной разрыва сотрудничества стала напряженная атмосфера на съемках последнего совместного фильма – “Око дьявола”. Бергман был недоволен сценарием, и они угодили в заколдованный круг. “Ингмару нравилось унижать меня, а я от этого еще больше терял уверенность”. Разрыв с Бергманом принес облегчение. Работа требовала постоянного самопожертвования, времени на личную жизнь почти не оставалось. “Не понимаю, как Свен Нюквист выдерживает”, – сказал Фишер.

Поэтому он очень удивился, когда тридцать три года спустя Ингрид Эдстрём, тогдашний исполнительный директор Института кино, позвонила ему и пригласила на церемонию вручения “Золотого овна”. Она коротко сообщила, что это имеет касательство к Бергману, и добавила: “Я вызову вас на сцену и предоставлю десять секунд на благодарственную речь”.

Как выяснилось, в тот год Ингмар Бергман решил наградить своего давнего оператора престижной бергмановской премией. Таким способом режиссер после стольких лет принес извинения, но сам не появился, не вручил лично знак запоздалого примирения, сидел дома, в квартире на Карлаплан.

Я побеседовал также с финном Ральфом Форсстрёмом, в ту пору приглашенным сценографом Стокгольмского городского театра. “В маленькой стране возле личности вроде Ингмара Бергмана с легкостью создается этакий придворный круг, – сказал он. – Его значимость преувеличивают, вот в чем проблема. Думаю, Бергман даже не всегда это осознает. Тут как с президентом Кекконеном, народная мифология в конце концов превратила его в “диктатора”. Шведская марка – Ингмар Бергман. Для вас он более ходовой товар, чем королевская семья. Потому вы им и козыряете”.

Наконец, я взял интервью у Биргитты Кристоффершон, которая в те годы занимала пост начальника информационного бюро и главного маркетолога Драматического театра. Она

остановилась на важности культа звезд в США, почти не уступающем по значимости самой кинематографии:

> Когда приезжает Лена Улин, заказывают лимузины. Она добилась *star quality* [2], и от нее ждут соответствующего поведения. Так что если Ингмар Бергман тяжел характером и доставляет трудности, пусть его, ради бога! О'кей, ему требуются ассистент режиссера и особое место, где после репетиций можно устроить "разбор полетов". Он хочет, чтобы все было на высшем уровне, чтобы к технике не придраться. Но здесь же нет ничего плохого, верно? Что он, собственно, делает? Ставит в Драматическом пьесу за пьесой, каждый день ровно в десять приходит в театр и жутко нервничает перед каждой премьерой.

Пожалуй, все обстояло так, как говорил Оке Сандгрен: "Не будь у нас Ингмара Бергмана, нам бы его очень и очень недоставало".

Итак, после публикации статьи минуло двадцать лет. Мне кажется, она вполне правильно отражает тогдашние представления об Ингмаре Бергмане. На этом фоне я и хотел бы теперь обрисовать и обсудить Ингмара Бергмана, но в первую очередь не как режиссера и драматурга. О режиссере и драматурге уже писали несчетные исследователи и журналисты; в Швеции, пожалуй, стоит назвать прежде всего Йорна Доннера, Марианну Хёк, Маарет Коскинен, Хенрика Шёгрена, Биргитту Стеене, Вильгота Шёмана и Микаеля Тимма.

Поэтому я решил обратиться к Ингмару Бергману как частному лицу – сыну, любовнику, мужу, отцу. Мне всегда казалось интереснее попробовать разобраться в человеке из плоти и крови, а не копаться в отпечатках его личности, в случае Бергмана – в его фильмах и театральных постановках. Если понимаешь, что за человек стоит за произведением, зачастую легче понять и само произведение как таковое.

И вот, когда я стал читать дневники Карин Бергман, словно бы настежь распахнулись двери пасторского дома, открыв передо мной картины, повергшие меня в удивление. В том, что сам Бергман писал о своих детских и отроческих годах и об обстановке в семье, которая формировала его, неизменно присутствовал вымысел: зритель/ читатель не всегда знал, что основано на фактических событиях, а что представляет собой подправленную версию Бергмана. Вдобавок многие сведения, содержащиеся в записках матери, режиссер отфильтровал. Он

держал в своих руках инициативу постановки проблем и преимущество трактовки. Когда же я увидел, что писала сама пасторша, передо мной как наяву предстал Бергман – ребенок, подросток, взрослый, – увиденный глазами другого человека, а не его собственными.

Читать дневники Карин Бергман – задача нелегкая. Это тетради маленького формата, исписанные старомодным, мелким, порой почти неразборчивым почерком.

Чернила во многих местах выцвели. Большим подспорьем здесь стали три разных издания дневников, подготовленные Биргит Линтон-Мальмфорс. Я мог читать наперекрест, сравнивая оригинал с ее подборками, и обнаружил важные дополнительные сведения. Семейный архив содержит также уникальное собрание писем, открыток и речей, переписанные экземпляры которых вручали всем членам пасторской семьи.

Вероника Ролстон, внучка Карин Бергман, оказывала мне неограниченную поддержку в кропотливой работе с архивом. Если б не ее великодушная точка зрения, что архивные материалы должны быть доступны в принципе любому интересующемуся человеку, написать эту книгу было бы невозможно, ведь именно к такому выводу подводит, в частности, нижеследующее.

Официальный бергмановский архив занимает диаметрально противоположную позицию. Он находится в управлении Фонда Ингмара Бергмана, учрежденного Шведским институтом кино в сотрудничестве с Королевским драматическим театром, Шведским телевидением и кинокомпанией “Свенск фильминдустри” и ставящего перед собой задачу беречь, хранить и предоставлять информацию о собранных там художественных произведениях Бергмана. Однако доступен этот архив не каждому, хотя частично финансируется из общественных средств. Тот, кто хочет в него заглянуть, должен ходатайствовать об особом разрешении, которое, согласно дарственному документу самого Бергмана, могут получить только “исследователи, а также видные журналисты и писатели”.

Рискуя вызвать упреки, вынужден признаться, что меня Фонд к упомянутым категориям не относит. Ответы, полученные от исполнительного директора Яна Хольмберга, никак иначе истолковать невозможно. После тщетных попыток получить разрешение ознакомиться с некоторыми письмами, а также с соглашением начала 50-х годов между Бергманом и “Свенск фильминдустри” по поводу ссуды я обратился к нему с прямым вопросом: “Этот архив мне полностью недоступен, независимо от интересующих меня документов?” Ответ был таков: “Совершенно

верно. Решение отклонить ваш запрос о доступе к Архиву Ингмара Бергмана принято нижеподписавшимся и утверждено правлением Фонда. И оно остается в силе”.

Однако Фонд не вполне логичен в своих мотивировках. Например, решение отказать мне в доступе к переписке Бергмана и его второй жены Эллен мотивировалось тем, что это не имеет прямого касательства к его творчеству, а вдобавок может нанести ущерб третьему лицу (давно умершей жене). Я возразил, что все относящееся к личной жизни Бергмана имеет значение в его профессиональной деятельности, поскольку в своих фильмах и театральных пьесах он опирался на личный опыт, в особенности затрагивающий и брак с Эллен Бергман. Хольмберг, конечно, не мог не согласиться со мной, однако сказал, что это никоим образом не повлияло на его решение. Поэтому в рассказе о браке Бергмана с Эллен мне пришлось отчасти опираться на те письма супругов, к которым имел доступ Микаель Тимм и которые он цитирует в своей книге “Страсть и демоны”.

Попытка пробраться “в верхи” не удалась, и тогда я погрузился в семейный архив, фактически предоставленный в мое распоряжение. Это подлинный клад. Помимо дневников матери Бергмана там хранятся письма Ингмара Бергмана к родителям, присланные летом 1936 года из нацистской Германии, письма, которые он заканчивал приветствием “Хайль Гитлер”. Есть там и написанная от руки речь Эрика Бергмана, обращенная к новобрачным Ингмару Бергману и Эльсе Фишер, где он выразил свою тщетную надежду, что она будет сыну помощницей. Есть и переписка родителей с младшим сыном, рисующая несколько иную картину детства и отрочества Ингмара Бергмана, которые он зачастую изображал весьма устрашающе. Благодаря доступу к семейному архиву я мог прочитать письма, которые Эллен Бергман много лет писала своей свекрови, как до, так и после развода. Они позволяют разобраться в постепенном распаде брака и в закулисных механизмах этого процесса, понять, как она справлялась, оставшись одна с четырьмя детьми Бергмана на руках.

В Королевской библиотеке я, в частности, нашел письма Бергмана к близкому другу, Херберту Гревениусу, и невероятно забавную переписку с Вильгельмом Мубергом.

Покопался я и в архиве Государственной службы безопасности. Там хранится обширная документация о шпионской деятельности Карин Ланнбю в Стокгольме в годы Второй мировой войны. В начале 40-х она была любовницей Бергмана и, пока продолжался роман, снабжала своего работодателя деликатной информацией о пасторском семействе.

Весьма полезной для меня оказалась и книга Андерса Тунберга “Карин Ланнбю. Мата Хари Ингмара Бергмана”.

В этой книге я рассказываю об отношениях Бергмана с десятью женщинами, разными по темпераменту, воспитанию, внешнему облику и имевшими для него неодинаковое значение. По всей вероятности, их насчитывалось больше, но в первую очередь именно эти оставили след в его жизни и творчестве. С пятью из них он состоял в браке и имел девятерых детей (насколько известно), и от этих, мягко говоря, активных связей накопилась обширная документация в архивах различных судебных инстанций. Юридически Бергман был замешан в ряде бракоразводных процессов, и не только собственных. В трех случаях его вызывали как свидетеля, чтобы он под присягой подтвердил, что состоял в интимных отношениях с женами обманутых мужей.

В Стокгольмском городском архиве я ознакомился с подробной документацией, относящейся к годам его учебы в Пальмгреновской школе; вместе с собственными его рассказами в письмах к родителям и бабушке эти бумаги дают отчасти новую картину его школьных лет. А вот в Военном архиве ни мне, ни тамошним сотрудникам не удалось обнаружить его учетную карту. И, говоря о службе Бергмана в армии, я опирался на его письма к родителям.

Важнейшим источником сведений о поездке Бергмана в Германию летом 1936 года были его собственные письма. Неоценимую помощь оказала мне также мюнхенская журналистка Катарина Фурин, которой посчастливилось разыскать родных и знакомых Зигфрида и Клары Хайд, ведь именно у них Бергман гостил в деревне Хайна. Я бесконечно благодарен ей за информацию.

Наконец, ученик Бергмана, Вильгот Шёман, со скрупулезнейшей точностью документировал свои взаимоотношения с Бергманом, а равно интересовался и другими аспектами его жизни. Собранный Шёманом материал раскрывает интересные, подчас новые аспекты духовного мира великого режиссера, также показывая его как друга и наставника, то есть со стороны, о которой мало кто писал.

В своей книге я прослеживаю жизнь Бергмана от колыбели до последнего брака, на протяжении более полувека, а затем покидаю его. С Ингрид Бергман он прожил в браке двадцать четыре года – невероятно долго по его меркам – и пережил ее. Они все еще были женаты, когда в 1995-м она умерла. Раньше в жизни Бергмана такого не бывало, он всегда бросал женщин. Но графиня стала для него родной гаванью, можно бы добавить:

наконец-то, ведь путь туда был долог, труден и сопряжен с бурными страстями, любовью, сексом и обманом.

В начале лета 2011 года газета “Дагенс нюхетер” опубликовала сообщение, что Ингмар Бергман, вполне возможно, не был биологическим сыном Карин Бергман. Основывалась эта информация на книге его племянницы Вероники Ролстон “Любимое дитя и подменыш”. Сенсационное заявление вызвало во всем мире огромный интерес. Мальчик, которого Карин Бергман родила 14 июля 1918 года, якобы не выжил. Благодаря Эрику Бергману его подменили другим новорожденным, пастор знал мать младенца и убедил ее отдать ребенка. И тому как будто бы имелись веские доказательства. Судебно-медицинская экспертиза сравнила ДНК с почтовых марок, которые определенно лизал Ингмар Бергман, и ДНК Вероники Ролстон и пришла к выводу, что пробы демонстрируют большие генетические различия. Если бы Бергман и Ролстон состояли в родстве друг с другом, профиль ДНК показал бы большее сходство.

Но вскоре журнал “Ню текник” выяснил, что один из лаборантов Судебно-медицинской экспертизы загрязнил исследуемые образцы (почтовые марки), таким образом вывод, будто Ингмар Бергман не биологический сын Карин, был опровергнут. Мировая сенсация растаяла как дым. Поэтому в моем рассказе об Ингмаре Бергмане официально признанное происхождение режиссера никоим образом не ставится под сомнение.

Тумас Шёберг
Пампас-Марина, сентябрь 2013 г.

Похороны

Их осталось не так уж много, жен и любовниц Ингмара Бергмана, но те, что были приглашены и могли приехать, собрались 17 августа 2007 года возле форёской церкви.

Кэби Ларетай в темных очках и в накинутой для тепла пелерине, с тростью, в сопровождении сына. Лив Ульман, вся в черном, тщательно причесанная, с черной лентой в волосах. Биби Андерссон, как всегда, с короткой стрижкой, в черном жакете с белым воротником и узором из белых листьев. Харриет Андерссон в черном жакете и белой блузке.

По всей видимости, вместе им было очень хорошо. А почему бы и нет? Все они вошли в *Hall of Fame*[3] режиссера. Ревность давным-давно угасла, а возможная злость отправилась в архив. Так он на них повлиял. Артистический талант и любовь действовали как навеки связующее звено, и все они хорошо сыграли свои роли, те, какие он им назначил, и в профессии, и в частной жизни. Теперь пришло время последнего акта, они проводят к вечному покою мужчину, которого любили, каждая по-своему и в особенных обстоятельствах. Стоял погожий день на исходе лета, правда, немного ветреный, как нередко бывает на островах далеко в море.

Лив Ульман и Биби Андерссон приехали вместе, на такси. Уже не одно десятилетие они близко дружили, а в свое время еще и делили постель с мужчиной, которому теперь пришли отдать дань уважения. Кэби Ларетай, четвертую и предпоследнюю жену, единственную остававшуюся в живых, летом 1965-го во время съемок “Персоны” сменила новая возлюбленная, Лив Ульман; вторую главную роль в этом фильме играла Биби Андерссон. Ларетай и Ульман он обманул с женщиной, с которой сейчас соединится, с последней женой, Ингрид. Харриет Андерссон была среди них как бы ветераном. С нею он завел роман еще в 1952-м.

Объединяло их и то, что все они участвовали в его успехах. Обе Андерссон и Ульман принадлежали к числу самых ярких его звезд. Ларетай, концертирующая пианистка, внесла музыкальный вклад в несколько фильмов. А Ингрид Бергман, чьи останки скоро перенесут на красивое готландское кладбище, не один десяток лет была ему большой поддержкой, в том числе и во время эмиграции в Германию после шумного налогового процесса в середине 70-х.

Таким образом, его последние минуты на земле стали грандиозным, поистине кинематографическим финалом – режиссер, непрестанно искавший вдохновения, в окружении

предметов самой бурной своей страсти. Феллини или Скола создали бы из этой интриги нечто вправду замечательное.

И конечно, дети, общим числом девять, хотя им никогда не придавалось подобной важности; они просто были неминуемым результатом его горячего желания видеть, как женщины расцветают.

Этот день начался рано. Уже в половине восьмого приходский звонарь перекрыл территорию вблизи церкви, чтобы держать посторонних на расстоянии. К числу нежелательных гостей относились и представители СМИ, за исключением двух утвержденных Бергманом фотографов, которым предстояло увековечить происходящее. Рядом установили большую палатку с практичными туалетами снаружи для неотложных целей.

Ровно в ii.20 подъехал автобус с приглашенными, а еще через десять минут – семья. У входа в церковь они остановились поздороваться со священником – Агнетой Сёдердаль. Пасторша с ее рыжей шевелюрой была не единственным цветным пятном на фоне в целом корректно приглушенной гаммы. Петер Стормаре вез в кресле-коляске Эрланда Юсефсона, страдающего болезнью Паркинсона. Непослушные ноги актера никак не желали утвердиться на подножке, а растрепанные волосы, выглядывая из-за церковной ограды, взблескивали серебром.

Ровно в 12 зазвонили колокола, можно было начинать церемонию в средневековой церкви. Надгробная речь пасторши, псалмы – 391-й “Лишь день один” и 277-й “Возьми руки мои”. Затем “Сарабанда” из Пятой виолончельной сюиты Баха в исполнении солистки Хелены Ларссон. Пасторша спела “Последний путь” готландского поэта Густава Ларссона.

Полчаса спустя притвор церкви открылся, и простой гроб, где лежал режиссер, одетый в свою любимую кожаную куртку и не менее любимые адидасовские кроссовки, вынесли к открытой могиле и бережно опустили в землю.

На протяжении сорока пяти минут гости прощались с усопшим. Очередь была весьма длинная. Изобилующие слезами, однако сдержанные сцены, пока не настал черед Петера Стормаре. Актер подошел к могиле вместе с женой Тосимой, преклонил колени, уронил на гроб красные розы, всхлипнул, прикрыл рот ладонью, встал, поклонился, повернулся к семье, коротко кивнул и отошел в сторону.

Театральное прощание вызвало такое раздражение у Бёрье Альстедта, что три года спустя в своих мемуарах он не мог не вспомнить его. Оба актера принадлежали к числу наиболее преданных поклонников Бергмана, но у могилы режиссера спектакль разыграл именно Стормаре.

> Он не иначе как хотел обнять могилу Бергмана. Я актер. И потому увидел в каждом жесте Стормаре умышленность, мог бы заранее рассчитать, что он сделает. Сам я в тот миг, когда шагнул к гробу Бергмана, опять-таки совершенно сознательно решил поступить прямо противоположным образом. Отбрасывал все, пока не осталось почти ничего. Можете рассматривать это как протест против актеров вроде Стормаре. Позеры. Я поднял руку с розами, разжал пальцы, выпустив цветы, и отошел.

Таково было обрамление смерти. До самого конца жизнь режиссера оставалась спектаклем, достойным сдобренной интригами национальной сцены, которой он некогда руководил.

Родители сестер – Вероники Ролстон и Роуз Бриттен Остин, – Маргарета Бергман и ее супруг Пол Бриттен Остин, не так давно, с промежутком в год, ушли друг за другом в мир иной, и вот теперь пришло время хоронить брата матери.

Веронику Ролстон удивила заурядность похорон. Она ожидала более грандиозного представления, учитывая, кем был усопший. С другой стороны, ей пришлось по душе, что надо всем витала некая элегантная скромность, вполне под стать замкнутой жизни дяди в последние годы. Она спросила Даниеля Бергмана, сына режиссера и Кэби Ларетай, почему не допущены речи, и в ответ услышала, что здесь присутствует очень много искусных в риторике актеров, а им следует помолчать. Возможно, родные опасались, что речи отвлекут внимание от главной персоны.

Когда настал черед сестер попрощаться с дядей, обе подошли к могиле. Они принесли не только большую охапку красных роз. Ролстон держала в руке серебряный бокальчик с водой, которую благословил далай-лама Тензин Гьяцо. Сперва она хотела просто бросить бокал на гроб, но передумала, поскольку сестра сказала, что, наверно, получится слишком громко. И она просто вылила желтоватую воду в могилу. Ей нравилось поступать слегка вопреки условностям, а Бергман любил ее энергию и фантазию.

Затем все гости собрались в нескольких десятках километров от церкви в усадьбе “Стура Госемура”, где их ожидали готландские блюда и прочие деликатесы вроде копченых бараньих медальонов, лососины, свиного филе, маринованных цыплят, запеканки из корнеплодов, свеклы с козьим сыром, кофе и шоколада.

Вопрос в том, как стерпел бы все эти разносолы бергмановский желудок. Он бы наверняка предпочел не рисковать

и налег на шоколад.

Рождение

Летом 1918 года еще шла Первая мировая война.

Судя по некоторым признакам, немцы проигрывали, но полной уверенности, что война идет к концу, ни у кого не было. В газетах ежедневно печатались фронтовые сводки. “Немцы продолжают наступление между Реймсом и Марной. В остальном на фронте без перемен” – такая шапка доминировала на первой полосе “Дагенс нюхетер” 18 июля, газета сообщала об ожесточенных контратаках французов и о том, что немцы отбросили союзников севернее реки Марны в северо-восточной Франции.

Кроме того, газеты рисовали весьма тревожную картину касательно здоровья шведского населения. В Хапаранде вспыхнула эпидемия тифа и нервной горячки. Участились заболевания холерой, а в северной части стокгольмских шхер открылась карантинная больница на случай появления зараженных с востока. Там уже находилось одиннадцать пациентов. Особенно пострадали, по-видимому, экипажи трех пароходов – “Онгерманланд”, “Рунеберг” и “Оскар II”, – где в цепных ящиках обнаружили нескольких финских беженцев. Все они были в скверном состоянии, измученные голодом, и их немедля изолировали для тщательного медицинского обследования.

Одновременно по нации ударила испанка. Пятого июля в Мальмё отмечены первые случаи заболевания. У приезжих из Германии, а также у мужчины, прибывшего из Осло, тогдашней Христиании, проведать родню в Хюллинге. Пятнадцать из его родственников заболели смертельной инфлюэнцей.

До тех пор испанку считали “вторым по серьезности заболеванием” после холеры. Однако в середине месяца поступили сообщения о множестве новых случаев в Несшё, и буквально за несколько недель инфлюэнца распространилась по всей стране. На немецком крейсере “Альбатрос”, стоявшем на карантине в Оскарсхамне, предположительно тоже были больные – двое членов экипажа, вернувшиеся из отпуска в Германии.

Начиналось все с головной боли, затем быстро поднималась температура, человека бил озноб, лицо приобретало иссиня-фиолетовый цвет. Больной кашлял кровью, ноги постепенно чернели. Пришлось закрыть кинематографы, театры и другие публичные учреждения. Люди стали носить маски, их призывали не распространять инфекцию неосторожным чиханием и кашлем и плевать не на пол, а в специальные сосуды.

Мировая война с ее широкомасштабными передвижениями войск по континенту уже ослабила сопротивляемость миллионов молодых парней в нестерпимых окопных условиях и способствовала, как полагали, стремительному распространению инфлюэнцы. За два года число заболевших испанкой по всему миру достигло 525 миллионов человек. Для 21 миллиона из них болезнь закончилась смертью.

Военно-морской министр Эрик Пальмшерна, который с 1917 года размышлял в своих дневниках по поводу развития войны, в сентябре, вперемешку с упоминаниями о парадных обедах во Дворце, отмечал проблему инфицированных Аландских островов и действия коварных финнов: “Испанка свирепствует. Жуткая паника! Полки парализованы”, а в октябре, среди заметок о несостоявшемся перемирии, продолжающейся войне подводных лодок и большевистской опасности, записал: “Испанка бушует в стране поистине как чума. В газетах длинные списки умерших. Настроение подавленное. В трамваях пахнет карболкой”.

В это тревожное время, среди опустошений, производимых смертельными болезнями, в стране, где тогда же состоялся первый футбольный матч женских команд (“двадцать две молодые бесстрашные дамы в ожесточенной борьбе за маленький кожаный мяч”, – писала “Дагенс нюхетер”), где режиссер Карл Баклинд впервые экранизировал “Островитян” Стриндберга, где ингшёский убийца Пер Нильссон лежал при смерти в кристианстадском лазарете, а стокгольмские дровяные склады уже в июле начали пополнять запасы топлива на предстоящую зиму, – в этой стране двадцативосьмилетняя пасторская жена родила в Университетской больнице Упсалы своего второго сына, которого назвали Эрнст Ингмар.

Эрик Бергман служил пастором в Форсбакке, в естрикландском приходе Вальбу, и уже пять лет состоял в браке с Карин, которая была немного моложе его. В 1914 году у них родился сын Даг. Тяжелые роды продолжались больше полутора суток. Крестил мальчика в доме родителей жены сам Эрик Бергман, настолько взволнованный торжественной минутой, что прочел “Отче наш” с ошибками.

С недавних пор его положение радикально изменилось, но не к худшему, а совсем наоборот. В дальнейшем он будет вторым священником, а значит, получит не только существенно более высокое жалованье, но и желанную надбавку на дороговизну. Однако прежде его должны формально утвердить в должности, и он думал, что вряд ли имеет шанс. Правда, архиепископ Натан Сёдерблум обещал поддержать его кандидатуру, и после удачной

пробной проповеди об Иисусе и иерихонском мытаре Закхее за Бергмана проголосовали все прихожане, кроме одного.

Одновременно ему предложили место в приходе Хедвиг-Элеоноры в Стокгольме. Они с женой предавались мечтам о возможностях, какие могут там открыться. Эрик Бергман надеялся накопить опыта, развиться в своем призвании. Карин Бергман, квалифицированная медицинская сестра в Софийском приюте[4], рассчитывала обрести там более широкое и интересное окружение. Вдобавок ей хотелось быть поближе к матери, Анне Окерблум, которая жила в большой светлой квартире на Трегордсгатан в Упсале.

Переезд состоялся в разгар кризиса, и мечты о лучшей и более обеспеченной жизни рассыпались сразу же по прибытии. Квартира на Шеппаргатан, 27, доставшаяся им от предшественника Бергмана, оказалась темной и неуютной. С улицы фасад выглядел красиво и привлекательно, но впечатление в корне менялось, стоило пройти через парадную, пересечь темный задний двор с жирными крысами и открыть дверь мрачной пятикомнатной квартиры в бельэтаже дворового флигеля.

Хозяин был человек несимпатичный, этот выжига заломил за аренду аж 3000 крон, и вообще извлекал “непомерные барыши из царившей повсюду нехватки жилья”, как выразился Эрик Бергман. Карин Бергман, впервые войдя в квартиру, расплакалась. Близость воды – дом находится всего в трех кварталах от набережной Страндвеген, и в погожие дни видно, как сверкает море, – особо не помогала. Разница между удручающей обстановкой на Шеппаргатан и красивым солнечным пасторским домом в Форсбакке была колоссальной. Хотя, возможно, пасторша плакала и по причине своего тогдашнего состояния.

Осенью минувшего года Карин Бергман снова забеременела. Она и Эрик съездили вдвоем на несколько недель в Эрегрунд, оставив Дага у бабушки. Пребывание на популярном курорте принесло результат, вероятно ожидаемый.

> Пожалуй, с тех пор как родился Даг, у нас с Эриком не было такого спокойного времени, – писала она матери. – И я довольна, что первые хлопотные годы теперь в прошлом. Конечно, могут возникнуть новые трудности, и не раз, я знаю, но мне кажется, в эти недели я почувствовала, что пережитые сложности очень нас сблизили. Эрик был такой милый и предупредительный, что я благодарю за каждый день.

Сейчас, девять месяцев спустя, она уже несколько недель

находилась на семейной даче Воромс на Дувнесе, отдыхала после переезда в Стокгольм и трудов по устройству нового жилья. Но захворала и была вынуждена наведаться к своему упсальскому врачу. В моче обнаружили белок, что указывало либо на инфекцию мочевыводящих путей, либо на воспаление почечных лоханок, и, по словам супруга, она очень ослабела.

Карин Бергман положили в Университетскую больницу, и в половине одиннадцатого утра 13 июля у нее начались схватки. Ее врач, профессор Карл Давид Юсефсон, был также доцентом по акушерству и гинекологии, иными словами, имел наилучшие предпосылки к тому, чтобы хорошо позаботиться о своей пациентке. Он ни на минуту не отходил от нее, и Эрик Бергман понял, что положение очень серьезное. Юсефсон, кузен художника Эрнста Юсефсона, помог появиться на свет Дагу, а еще четыре года спустя будет рядом при рождении дочери Маргареты, семья считала его прямо-таки своим добрым другом. В долгие ночные часы ожидания он и Эрик Бергман, прохаживаясь по коридору у палаты Карин Бергман, вели беседы.

Ингмар Бергман родился в четверть первого ночи. Пуповина длиной 70 сантиметров дважды обвилась вокруг его шеи, но ничего особенного тут не было, и младенцу она вреда не причинила.

Отцу день запомнился как лучезарно-прекрасный, “день в разгар скандинавского лета”. Через сорок шесть лет Ингмар Бергман попытался передать это в своих мемуарах:

> В июле 1918-го, когда я родился, мама болела испанкой, я находился в плохом состоянии, и меня безотложно крестили в больнице. В один из дней семейство посетил старый домашний врач, посмотрел на меня и сказал: он ведь умирает от недоедания. Тогда бабушка забрала меня на дачу в Даларну. Во время поездки по железной дороге, которая занимала в ту пору целый день, она кормила меня размоченным в воде бисквитом. Когда мы добрались до места, я уже едва дышал. Однако бабушка нашла кормилицу – милую светловолосую молодую женщину из соседнего поселка, и я, конечно, оклемался, только все время срыгивал, и у меня постоянно болел живот.

Так начинается книга, и вступление плохим не назовешь. Но, судя по всему, в своей реконструкции Бергман несколько сгустил краски. Из больничной карты следует, что при поступлении в Университетскую больницу в семь вечера ii июля состояние здоровья Карин Бергман было “без диагноза”, а физическое

состояние новорожденного сразу после появления на свет сочтено “хорошим”. Карин Бергман и ее новорожденный сын – вес 3 430 г, рост 53 см – пробыли в акушерской клинике почти две недели, до выписки 27 июля. К тому времени Ингмар Бергман весил 3 700 г и, очевидно, получал достаточно питания, поскольку прибавил в весе без малого 300 г. Вообще в акушерской карте нет записей, указывающих, что Ингмару Бергману приходилось плохо.

Однако в том, что ужасная инфлюэнца в конце концов настигла семью, режиссер против истины не погрешил. По крайней мере, так свидетельствует биография отца. В августе Эрик Бергман, проведший все жаркое лето в большом городе, получил неделю-другую долгожданного отпуска и мог наконец передохнуть с женой и детьми в Даларне. Во всяком случае, так он надеялся.

> Но как раз в это время появилась опасная, доселе неизвестная болезнь, последствие войны, так называемая испанка. Вспыхнула эпидемия, я захворал в Дувнесе – видимо, подхватил заразу еще в Стокгольме – и целую неделю пролежал в постели. А когда мы вернулись в Стокгольм, то заболели все, один за другим. Вокруг тоже сплошь больные. В октябре и ноябре испанка жутко свирепствовала. Множество людей умерло. Помню воскресные дни, когда я до самых сумерек переходил от могилы к могиле на Северном кладбище. Постоянно слышался звон церковных колоколов, и навстречу то и дело попадались похоронные процессии, направлявшиеся на кладбище. Осень выдалась дождливая, сырая, и каждый день над Стокгольмом висела какая-то желтоватая мгла.

В своих мемуарах Ингмар Бергман утверждает, что его “безотложно крестили в больнице”. Однако ни в больничной карте Карин Бергман, ни в ее дневниковых записях, ни в автобиографии Эрика Бергмана об этом нет ни слова. Напротив, Эрик Бергман пишет, что их второй сын был крещен 19 августа в Дувнесе, и Карин Бергман в своем дневнике подтверждает:

> Никто не приезжал в наш дом в дувнесском Воромсе так рано, как Ингмар. Он попал туда в возрасте всего-навсего 14 дней и был крещен в один из августовских вечеров на закате солнца в цветочном углу большой комнаты.

Но это типичный пример, как позднее всемирно известный

режиссер и драматург, порой переворачивая все с ног на голову, предпочитал рассказывать о собственной жизни. Он и сам не раз признавался в склонности ко лжи, говорил, что она развилась еще в детстве.

На последней странице “Волшебного фонаря” он пишет:

> Я отыскал в мамином тайном дневнике заметки от июля 1918 года. Там написано: “Последние недели была слишком больна, чтобы писать. Эрик второй раз захворал испанкой. Наш сынок родился утром в воскресенье 14 июля. И сразу же у него поднялась высокая температура и началась сильная диарея. Выглядит он как маленький скелетик с большим ярко-красным носом. Глаз упорно не открывает. Из-за болезни у меня пропало молоко. Тогда его безотложно окрестили прямо здесь, в больнице. Назвали Эрнст Ингмар. Ма [мать Карин Бергман. – *Авт.*] забрала его в Воромс, где нашла кормилицу. Ма очень огорчена неспособностью Эрика решать наши практические проблемы. А Эрик сердится на вмешательство Ма в нашу личную жизнь. Я лежу здесь беспомощная и несчастная. Иногда плачу в одиночестве. Если мальчик умрет, Ма говорит, что позаботится о Даге, а я пойду работать. Она хочет, чтобы мы с Эриком поскорее развелись, “пока он со своей глупой ненавистью не выдумал какое-нибудь новое сумасбродство”.

Только вот в своем “тайном” дневнике Карин Бергман ничего такого не писала. Единственное, что она упоминала касательно своих родов, это имя младенца, дата рождения и ссылка на псалмы. Поэтому о втором сыне коротко помечено: “Эрнст Ингмар родился 14 июля 1918 года. См. псалом 257:10”. Кроме того, судя по всему, семья подхватила испанку лишь после крестин, и состояние новорожденного согласно материнской карте было вполне хорошим. Испанка в первую очередь поражала совершенно здоровых мужчин и женщин от двадцати до сорока лет. Дети моложе пяти лет почему-то заболевали только в исключительных случаях, а грудных младенцев находили живыми подле мертвых матерей.

Можно лишь строить домыслы, почему в своей книге Ингмар Бергман написал именно так. Сознательно солгал? Вряд ли в этом была необходимость. “Волшебный фонарь” – шедевр легкого мемуарного жанра и прекрасно обходится без вымышленных событий. Язык сочный, яркий, живой. Он непринужденно меняет временные перспективы, склонен упрощать и никогда всерьез не

вступает в ближний бой со своими чувствами. Рассматривает свою жизнь на расстоянии, с режиссерского кресла или места в партере. Признаний в неудачах много, причем красочных, но большей частью они представляют собой короткие зарисовки в угоду публике и конечно же не укроются от зоркого глаза опытного терапевта. Катастрофическому разорению, которое оставлял после себя в виде обманутых жен и брошенных детей, Бергман не придает сколько-нибудь серьезного значения. Но рассказ, как я уже говорил, увлекательный, а тем самым удовлетворяет главному требованию, какое он предъявлял всему своему творчеству, – развлекать, иначе публики не будет.

В книге всего 337 страниц, и чуть-чуть заметно, что Бергман или его издатель полагали, что больше и не требуется. Но относительно малый объем усиливает впечатление, что автор слегка рассеянно сообщает окружающим ровно столько, сколько считает нужным, – тщательно сделанную подборку контрастных событий. В 1987-м, когда книга вышла в свет, ему было только шестьдесят девять, и вполне возможно, он еще не созрел, чтобы по-настоящему копать вглубь. А в первую очередь – быть совершенно искренним. Однако путаница между Бергманом-человеком и Бергманом-режиссером, более того, мифом, вероятно, продолжалась так долго и проникла так глубоко, что, вполне возможно, даже двадцать лет спустя, на смертном одре в 2007-м, он не описал бы начало своей жизни по-иному.

Рассказ Ингмара Бергмана о своем рождении можно объяснить и по-другому, а именно: Карин Бергман на самом деле писала все то, о чем сообщает ее сын. Просто теперь этой страницы в дневнике нет. Если присмотреться к прошитому корешку, обнаружишь, что фактически вырвано или вырезано даже несколько страниц.

“Снова никудышные страницы, испорченные, неразборчивые, но я все-таки хочу их оставить, ведь они по-своему говорят о многом”, – писала она, отметив рождение Эрнста Ингмара в своем тайном дневнике. Карин Бергман и раньше занималась самоцензурой и колебалась между желанием сохранить написанное и инстинктивным стремлением уничтожить. В 1917-м она писала:

> Опять прошел год. Долгий год, полный борьбы и трудностей. Не одну строчку я написала в дневнике, но несказанно боялась написать что-нибудь такое, что после пришлось бы вырвать, как предыдущий лист. Не хочу заполнять страницы подробными рассказами о страданиях и тяготах, мне хочется, чтобы здесь

чувствовалась сила, которая, как я ощущаю, приходит ко мне после пережитой битвы.

Что же в таком случае произошло с вырванной страницей из ее тайного дневника, с той, где она описывает своего сына Ингмара как “маленький скелетик с большим ярко-красным носом”, у которого сразу поднялась высокая температура и началась сильная диарея и который “глаз упорно не открывает”? Об этом можно лишь строить домыслы.

Обстоятельства рождения всемирно известного режиссера и первая неделя его жизни остаются и, похоже, останутся впредь маленькой, едва ли важной, но все-таки завораживающей тайной.

“Малыш”

Темная квартира на Шеппаргатан здоровью не способствовала. Столовая выходила на мрачный задний двор с высокой кирпичной стеной, уборной, мусорными ящиками и перекладиной для выбивания половиков. И, как сказано выше, с жирными крысами. У братьев Бергман то и дело болело горло, и обоих отсылали в Упсалу к бабушке – в солнечной квартире на Трегордсгатан мальчики быстро шли на поправку.

Но дело не только в этом. Атмосфера в доме была переменчивая, насыщенная растущей тревогой и страхом родителей. Эрику Бергману недоставало самостоятельности, какой он располагал в Форсбакке. Там он был Пастором, единственным в приходе пастырем для всех. В Стокгольме же не имел полноценного пасторского звания. Первые годы он занимал в иерархии низкую ступень, и это ему никак не подходило. Здесь Эрик Бергман был всего лишь викарием и находился в подчинении у старших священников. Он страдал от загруженности работой и очень волновался, когда предстояло читать проповеди в Хедвиг-Элеоноре: “Я слышал, как громко бьется сердце, когда звонит большой колокол, а я, бедолага, стою, дожидаясь начала службы.

Страх не оставлял меня ни на миг”. Он ездил отдохнуть в Сигтунское общество [5] и писал жене, как зависит от нее и как беспокоится о ее здоровье.

Отец Карин Бергман, Юхан Окерблум, скончался годом позже, в мае 1919-го. Вспоминая взаимоотношения родителей, она считала их достойными подражания. Отец предоставлял жене свободу, относился к ней по-рыцарски, что в глазах Карин Бергман как раз и позволяло двум разным людям благополучно жить одной семьей.

Карин Бергман изливала душу в дневнике, особенно в том, что держала в тайне, и в письмах к матери. Она чувствовала себя загнанной в угол, затравленной и доведенной до отчаяния, в том числе и собственной семьей, и, по примеру мужа, сбегала от всего этого в Сигтунское общество. “От тех дней, когда приезжает Эрик, я покоя не жду”, – писала она. Одновременно она тосковала по детям, которые все чаще жили у бабушки в Упсале. Это создавало напряженность в отношениях госпожи Окерблум и Эрика Бергмана, который не мог примириться с тем, что теща приобрела такой большой авторитет в их воспитании. В свою очередь Анна Окерблум сетовала на деспотизм зятя и утверждала, что с ним и физически, и психически дело обстоит

“прескверно”. Карин Бергман разрывалась на части, стараясь быть лояльной, с одной стороны, к матери, имевшей на нее большое влияние, а с другой стороны – к мужу.

Письма Эрика Бергмана жене, которую он звал Кай, проникнуты лаской и до смущения неловкой ребячливостью. Он именовал ее “мое любимое дитя” и осенью 1918-го писал из Сигтунского общества:

> Моя родная Кай! Конечно, Кай и пастор Бергман по три раза на дню разговаривают по телефону, но все же, малышка Кай, очень многое в канцелярии Общества, где постоянно снует народ, сказать невозможно. Во-первых, ты должна знать, мне ужасно трудно находиться здесь без тебя, Кай. Мысли непрерывно возвращаются к тебе. Иногда меня охватывает огромное беспокойство: а вдруг Кай захворает и я останусь без нее… Тогда я думаю вот о чем: только бы Кай не перенапрягалась! Тебе куда больше, чем мне, надо бы находиться здесь, отдыхать. При мысли о тебе, Кай, на меня нисходит такая нежность и мягкость. Любимая моя малышка Кай, хорошенько береги себя. пожалуй, даже не стоит просить тебя об этом.

Осенью 1920 года семейство покинуло ужасное жилище на Шеппаргатан и переехало в большую, солнечную, но очень дорогую квартиру на Виллагатан, 22, где пахло свеженавощенным паркетом, имелась детская с золотисто-бежевым линолеумом на полу и светлыми рольгардинами, на которых были изображены рыцарские замки и луговые цветы.

> Руки у мамы мягкие, и она всегда находит время рассказать сказку. Папа гремит горшком, когда встает утром с постели, и восклицает: “Вот незадача!” На кухне хозяйничают две даларнские служанки, которые часто и охотно поют. Напротив на площадке живет подружка-одногодок, по имени Типпан. Она горазда на выдумки и затеи. Мы сравниваем свое телосложение и обнаруживаем интересные различия. Нас застают за этим занятием, но ничего не говорят, —

пишет Ингмар Бергман в “Волшебном фонаре” о новом жилище. Не по годам развитой парнишка, ведь при переезде ему было всего-навсего два года, и уже тогда или, может, через год, когда ему сравнялось три, он проявлял к противоположному полу такое любопытство, что дело дошло до тщательного осмотра.

Прихожане полюбили Эрика Бергмана, и неожиданно ему представился случай сделать в карьере шаг вперед, когда в последнюю минуту что-то помешало придворному проповеднику Юсефу Челландеру отслужить литургию в дворцовой часовне Дроттнингхольма. Бергман выручил своего начальника, и весьма успешно. Густав V с похвалой отозвался о его проповеди, потому что она была краткой и король понял каждое слово. А королева Виктория сказала: “Вы, пастор, должны почаще приходить к нам и проповедовать”.

Так что же, огорчения миновали? Ничуть не бывало. Эрик Бергман находился в “долине смертной тени”, как он писал жене в августе 1921 года. Он терзался тревогой и неуверенностью, мечтал уехать из “этого ужасного Стокгольма”, где перед каждой проповедью испытывал “адские муки”. “Все во мне кричит, что надо уехать, – только бы Господь указал мне путь”. Короче говоря, Эрик Бергман был опустошен. “Испроповедовался”, по его выражению. А в семье по-прежнему свирепствовали болезни. Сам пастор слег в горячке с больным горлом, Даг подхватил скарлатину, и его пришлось поместить в инфекционную больницу. Мальчик хворал так тяжело, что опасались за его жизнь, Ингмара же, как обычно, отправили к бабушке, чтобы он не заразился. Карин Бергман совершенно вымоталась от бессонных ночей и, разумеется, от подозрения, что снова забеременела.

Но из Упсалы поступали бодрые сообщения. Перед Рождеством Анна Окерблум доложила дочери:

> Он [Ингмар. – *Авт.]* так поздоровел, что любо-дорого смотреть. Поет, когда играет и рисует. Каждый день на воздухе. Сон и аппетит в полном порядке. Чувствует себя здесь по-настоящему дома, однако временами спрашивает про маму, а не то огорченно вздыхает: “Бедный Даг хворает”.

Она понимала, что дочь измучена усталостью, и душевно, и физически, но писать зятю не осмеливалась, потому что “все может стать в десять раз хуже, учитывая его натуру”.

> Если твои подозрения оправданны, то все не так радостно, как следовало бы, ведь ты плохо себя чувствуешь, а ваши с Эриком отношения далеки от гармонии, – писала Анна Окерблум. – С другой стороны, было и много такого, за что следовало поблагодарить: Даг выжил, а Ингмар здоров. Дела обстоят не так уж мрачно, Карин.

Но едва семейство оправилось от скарлатины и болезни горла, навалился коклюш. Оба мальчика захворали, и Карин Бергман, чья беременность давно уже не подлежала сомнению, подозревала, что тоже вот-вот заболеет. Ее врач опасался преждевременных родов, и супруги Бергман поехали в Упсалу, чтобы находиться возле Университетской больницы, а заодно отдохнуть дома у Анны Окерблум. По словам Эрика Бергмана, им было “хорошо всем вместе” в жарком, по-летнему тихом архиепископском и университетском городе. Неизменно присутствовавший в таких обстоятельствах профессор Юсефсон успокоил Карин. Роды произойдут в положенное время, обещал он, “не раньше, чем я говорил”.

Двадцать второго августа 1922 года Карин Бергман родила дочку и в своей сдержанной манере записала в дневнике: “Карин Анн Маргарета род. 22.8.22. См. пс. 619 “Господь любови к детям полн”.

Эрик Бергман не помнил себя от радости. Никогда он не был так счастлив, как в тот миг, когда акушерка сообщила, что родилась девочка. “Мне казалось, эта крошка – мое безмерное богатство”, – пишет он в автобиографии.

По возвращении в Стокгольм он буквально не оставлял малышку в покое. То и дело заходил, смотрел на дочку, лежавшую в корзине, даже забирал корзину в кабинет, чтобы ребенок был рядом, когда он работал.

> Я без спросу вынимал тебя из корзины, носил на руках. Помню, иду иной раз по улице, а сердце ликует от счастья, что у меня есть ты, мама ругала меня, ссорилась со мной, но все без толку. Я безгранично любил свою маленькую дочку.

Тоска Эрика Бергмана по любви и самоутверждению ставила его в весьма подчиненное положение. Уже несколько лет назад брак дал глубокую трещину, и зимой 1916 года усталая, вымотанная Карин Бергман уехала в Лександ, в Корстеппанский пансион, чтобы набраться сил. Письма мужа к ней полны отчаяния. Он завидовал ее широкому кругу общения, ведь его собственный ограничивался Карин и Дагом. Пастор был одинок.

> Я бесконечно страдал в то время, так как чувствовал, что между нами словно бы выросла огромная стена. Да, до чего же трудно выразить чувства словами. Могу сказать только, что вечером, лежа в постели, не раз мечтал проснуться не на шутку больным, чтобы ты пришла ко мне и я ощутил твою нежность и любовь, как

минувшей весной.

Но остальные не разделяли Эриков восторг. Ведь теперь в семье было трое детей, нуждавшихся в родительском внимании. За четыре года Даг привык, что оно безраздельно принадлежит ему. Отец считал его своеобразным, поскольку этот ребенок называл анютины глазки в форсбаккском саду “маменькины глазки”, а в церкви во время проповеди мог громко сказать: “По-моему, теперь папеньке пора заканчивать”. В одном из писем к матери Карин Бергман сообщила, как муж подучил сынишку подходить к ней и говорить: “Милая маменька, Даг хочет маленькую сестренку!”, и обычно она отвечала, что не понимает, о чем он просит. “Ведь Дагу будет нелегко усвоить, что он не один. […] Он крайне ревниво относится ко всему своему, особенно к матери. Просто беда, когда ему нельзя быть с “милой мамой”.

Когда считалось, что Даг проштрафился, его наказывали принятыми в то время способами. Либо строгий отец учинял ему допрос, который, как правило, под угрозой альтернативного применения физической силы заставлял сына признаться и заканчивался прощением со стороны пастора, либо мальчика запирали в тесном чулане, чтобы он подумал над своим поведением. Но это не всегда приносило должный результат. “Вчера он сидел в гардеробной по меньшей мере полчаса и, выйдя оттуда, все равно послушался меня с превеликим трудом”, – писала Карин Бергман матери.

Если Эрик Бергман надеялся, что вместо второго сына Ингмара родится дочь, то теперь, когда на свет появилась Маргарета, его молитвы были услышаны. Даг, чьи позиции уже ослабли с рождением брата четыре года назад, писал в поздравительной открытке матери сразу после родов:

> Мама, как вы себя чувствуете? У меня все хорошо. Ужасно, что появился еще один. Но, наверно, все уладится.

Не так-то все легко, как кажется. В “Волшебном фонаре” Ингмар Бергман рассказывает, как ревность запустила когти в его сердце.

> Главную роль вдруг отдают толстому уродливому существу. Меня выдворяют с маминой кровати, отец сияет над орущим свертком. […] Я злюсь, реву, какаю на пол и пачкаю себя какашками.

Братья сообща строили козни. Обычно они были смертельными врагами, но теперь их объединила одна задача – разделаться с общим врагом. Попытка Ингмара Бергмана убить сестру, затеянная и спланированная Дагом, потерпела неудачу. Он пытался задушить ее в корзине, но девочка проснулась, подняла крик, братишка не устоял на ногах и упал. В дневниках Карин Бергман нет ни слова об этой драме, так что достоверность режиссерского рассказа оценить трудно.

Любовь Эрика Бергмана к дочери тоже создавала некоторые проблемы, о чем Маргарета Бергман слегка завуалированно пишет в автобиографическом романе “Дети страха”. Лет в пять-шесть – то есть в 1927 или 1928 году, – однажды вечером отец укладывает ее спать, вернее, не ее, а Йенни, по книге ее второе “я”, а отец “единственный всегда рядом с нею и по-настоящему заботится о ней”. Пастор целует веки дочери, ласково отводит волосы с ее лба, ласково укачивает.

Проснувшись, она слышит, как родители громко ссорятся. Мама что-то яростно восклицает о “крахе чувств”, и дочь тихонько выбирается из постели, чтобы лучше слышать.

“Тебе непременно надо ложиться с девочкой? – кричит мать. – Ты ее испортишь! Играешь с огнем! Неужели не понятно, что ты можешь разбудить чересчур раннюю эротику?”

“Какая нелепость! Ты не иначе как сошла с ума! Я ее не порчу! Просто даю ей немного нежности и любви”.

“Ты ложишься с ней рядом! Это плохо, плохо, плохо!”

“Да, раз ты не подпускаешь меня к себе. Где-то мне ведь надо получать и давать толику любви!”

Сейчас уже не установишь, насколько близок к правде рассказ Маргареты Бергман, однако не подлежит сомнению, что в описании этой семейной драмы присутствуют ее личные воспоминания, переживания и трактовки.

Его звали Путте, Малыш. Прозвище вроде как ласковое. Эрик Бергман пишет в автобиографии, что сын был “славный мальчуган, веселый и приветливый, все его любили. Было совершенно невозможно обходиться с ним строго”. И тон родительских писем к сыну действительно оставляет задушевное и сердечное впечатление. Часто письма начинаются с “Дорогой мой Малыш” или “Любимый Малыш”. В феврале 1923 года Эрик Бергман писал:

> Знаешь, вчера вечером мне было так жаль уезжать от тебя. И здесь, дома, так пусто без нашего любимого веселого Малыша. Но ты в добрых руках, и у бабушки

тебе во всех отношениях хорошо. Я уверен, ты хороший мальчик, так что бабушка, Мурре и Альма рады, что ты с ними. Сегодня мы с Дагом гуляли по городу, разглядывали витрины с игрушками, но ничего не купили, ни оловянных солдатиков, ни машинок. Купим, пожалуй, когда наш Малыш вернется домой.

Дальше он рассказывал про баталии оловянных солдатиков, которые Даг устраивал на большом столе в зале, про то, что собака укусила тетю Анну, что Маргарета, или Нитти, как ее называли, “смеется во весь рот”, что мама выздоравливает, что мотоцикл дяди Руне стоит на улице с включенным мотором, поскольку заводится с большим трудом, что у тети Стенхольм болит горло и что теперь папе пора в церковь читать проповедь. “До свидания, любимый мой сынок. Бог тебя благослови!”

В июне 1926-го:

> Вот тебе письмо от папеньки. Я много думаю о том, как ты там. Надеюсь, твоя нога вскоре будет в полном порядке и ты сможешь бегать по окрестным холмам и лугам. Полагаю, ты хорошо присматриваешь за Нитти. А здесь, дома, нам с мамой ужасно пусто без вас.

И в июле:

> Вот тебе весточка и от отца. Приложенные марки можешь продать маме или Боману, а на вырученные деньги купить себе что-нибудь забавное. […] Подумать только, скоро твой день рождения! Уж об этом папа, конечно, не забудет и пришлет тебе хороший подарок. Пожалуйста, скажи маме, чего тебе хочется, тогда у меня будет ориентир. Горячий привет моему любимому Малышу от папы.

Двадцатого апреля 1928 года Ингмар Бергман получил письмо от матери, она писала, как рада, что он у бабушки в Упсале, где, она уверена, о нем хорошо заботятся.

> Я знаю, нет никого, кто бы лучше ее заботился о детях, так что испытываю нежность, радость и вправду обретаю силы.

Конечно, она тосковала по сыну, как и все домочадцы:

Сегодня утром за завтраком Даг сказал, что очень жалко, что Малыш уехал, а Нитти вечером плакала по Малышу. Но я знаю,

Малышу там лучше, и так всем и говорю.

Через несколько дней Карин Бергман писала:

> Милый мой Малыш! Большое-пребольшое спасибо тебе за твое милое и веселое письмо! Поверь, мама очень обрадовалась. Спасибо, дорогой мой Малыш! А уж как я радовалась, когда на днях услышала по телефону твой бодрый голос. Чувствовалось, что ты весел и радостен.

В августе Эрик Бергман писал из Эрегрунда младшему сыну:

> Дорогой Малыш, спасибо тебе за письмо, которое очень меня порадовало! Я доволен, что ты пишешь красиво и совершенно без ошибок. Приятно, что тебе понравились мои подарки на день рождения! Как было бы замечательно, если бы ты и Даг были со мной здесь, в Эрегрунде. Ты, наверно, слышал, что я взял напрокат небольшую лодку и каждый день выхожу на ней в море. Когда мама уедет, я буду ловить рыбу. Здесь есть отличные окуневые места. Вот бы вам с Дагом порыбачить!

В июле 1929-го родители были в отъезде и не могли присутствовать на дне рождения сына. Они жили в Копенгагене, в гостинице “Сентраль”, и Эрик Бергман тосковал по мальчугану, которому через три дня исполнится одиннадцать лет:

> Дорогой любимый Малыш, как бы мне хотелось обнять тебя в твой день рождения и пожелать успешного года, милый мой мальчик. Сейчас я делаю это мысленно и надеюсь, что год у тебя вправду будет успешный, что ты будешь здоров и в школе все будет благополучно. Хотел послать тебе ко дню рождения немножко денег, но мама говорит, тебе больше понравится посылочка из Дании. Но марки твои, можешь обратить их в деньги и что-нибудь себе купить. День рождения наверняка пройдет весело. Думаю, все домашние помогут тебе отметить его наилучшим образом. В этом году, как и в 1918-м, когда ты родился, твой день рождения падает на воскресенье. Помню, словно это было вчера, тот день, когда ты родился в больнице у дяди Йоппе. Первым делом я увидел маленького красного человечка, которого медсестра, строгая тетя Беккер, обмывала под краном. Было раннее воскресное утро. Потом я поехал в Стокгольм читать проповедь в Хедвиг-Элеоноре, а во

второй половине дня, по возвращении в Упсалу, мог без спешки рассмотреть тебя, когда ты, сощурив глазки, лежал на руках у мамы и учился кушать. Теперь ты совсем большой, перешел во второй класс с прекрасными отметками. Вот сколько времени прошло.

В 1930-м Ингмару Бергману сравнялось двенадцать, и опять родителям не удалось участвовать в его празднике. Карин писала 12 июля:

> Мой дорогой Малыш! Да, вышло так, что и в этом году меня не будет на твоем дне рождения. Знаешь, Малыш, по-моему, это одинаково тяжело и для меня, и для тебя. Но я утешаюсь тем, что ты у бабушки, знаю ведь, что тебе там хорошо и день рождения у тебя наверняка будет по-настоящему веселый. Надеюсь, большую посылку из Стокгольма ты успел получить. Думаю, тебе уже известно, что папенька не захотел дарить тебе граммофон. А единственное другое твое желание – ледянка. И я очень надеюсь, что ты имел в виду именно такую. Я обегала в Стокгольме все большие магазины игрушек, пока отыскала эту у Форснера.

Двенадцатого июля два года спустя – то же самое. Мама Карин не могла отпраздновать с сыном его день рождения. Эрик Бергман писал:

> Милый мой большой четырнадцатилетний сынок! Как по-твоему, каково маме, что она и в этом году в отъезде и не может участвовать в дне рождения нашего Малыша? Единственное мое утешение, что сам я непременно буду на этом “двойном дне рождения” и накрою праздничный стол.

Эрик Бергман рассказал, что в подарок от него и от Карин Ингмар получит автомобильную поездку и он надеется, что все пройдет удачно. Еще сын получил первую часть “Книги мелодий для юношества”.

> Очень хочу, чтобы год у моего мальчика выдался хороший, здоровый. Надеюсь, и с твоей мамой все будет хорошо, она разделит с тобой этот год и будет здоровой и веселой матерью своему сыну.

В другом письме, тоже от 12 июля 1932 года, он обращался к

“дорогому Ингмару”. Вероятно, сын был теперь достаточно взрослым, чтобы оставить детское прозвище Малыш:

> Я просто говорю тебе, что очень тебя люблю и что ты всегда доставлял и доставляешь мне радость.

Еще он обещал осенью сводить сына в Оперу.

> Ты рад этому?

Таковы письма любящих родителей к любимому сыну, накопившиеся за целое десятилетие. Но что же происходило под поверхностью, за фасадом? Братья и сестра Бергман сообща успешно выстроили картину устрашающего пасторского дома, где царили наказания, страх, обман и неуверенность. Как на самом деле чувствовали себя супруги Бергман? Дети? О чем письма не рассказывают?

В “Волшебном фонаре” Ингмар Бергман описывает, как в шестьдесят девять лет сидит с фотографией матери, изучает в лупу ее черты, убеждается, как она красива и привлекательна, и вспоминает, как четырехлетним ребенком любил ее, выказывая прямо-таки щенячью преданность.

Его потребность в любви и признании была ненасытна, но мать отвергала его. Нежности сына, вперемежку с бурными вспышками, мешали ей, вызывали досаду. Она отвечала холодной иронией, а сын плакал от злости и разочарования.

Ему пришлось придумывать другие способы, так как преданность не давала желаемого результата. Он знал, что больные люди возбуждали в ней участие, а поскольку сам был болезненным ребенком, смекнул, что это ключ к ее заботливости. Второй возможный путь – наигранное равнодушие, потому что мать не выносила равнодушия и отчуждения: “Ведь это было *ее* оружие”. Однако он не имел ни малейшего шанса сбросить маску, упасть в объятия матери и окунуться в ответную любовь, – вот в чем загвоздка. Много лет спустя Карин Бергман призналась сыну, что ее мучил его детский пыл, но причина ее поведения заключалась в другом: знаменитый детский врач посоветовал ей решительно отвергать болезненные, по его мнению, попытки сына сблизиться с нею, ведь любая уступка могла навредить “Малышу” на всю жизнь. Чудовищный парадокс, что на самом деле холодность матери мотивировалась невысказанной заботой о его душевном здоровье.

Чувства у Эрика и Карин Бергман постоянно менялись – от надежды до отчаяния, от любви до тоски, но вообще-то оба страдали от бесконечной усталости и перенапряжения. На словах

старались делать вид, что все хорошо, что так или иначе отношения у них налаживаются, что обе стороны действительно проявляют добрую волю.

Порой Карин чувствовала себя вполне сносно, но в промежутках – “усталой, усталой”. Она понимала, что должна стать бодрее и жизнерадостнее, но лишь на даче Воромс в Даларне ощущала себя внутренне здоровой. У нее было трое детей, и это виделось ей огромным богатством, вполне достаточным, чтобы наполнить жизнь смыслом. Похоже, она слегка корила себя. Не получая от Эрика того, в чем нуждалась, она писала в тайном дневнике:

> Я твержу себе: я хочу, хочу. Но не могу воспрепятствовать тому, что душа все время плачет, стонет, просит хоть чуточку больше счастья жизни, глубочайшего, настоящего счастья – единения, общности с другим человеком.

Мать, Анна Окерблум, пыталась утешить, но одновременно укрепляла неуверенность дочери касательно брака с Эриком и ее чувств к нему. Она понимала, что мысль о воссоединении с мужем Карин не в радость, ведь шансы, что он изменится, были весьма невелики. Она относила его к категории людей обидчивых и раздражительных. Возражения ранили его самолюбие, он замыкался в себе и упорно гнул свою линию. Вероятность развития и обновления была минимальна, так она считала. Эрик Бергман не желал общаться с теми, кто ему перечил. Нет, знаменитый пастор к другим не прислушивался, а потому и чуткостью не отличался.

“Закаляй себя каждый день против всего, что может обидеть; неукоснительно исполняя свой долг, заставь Эрика уважать тебя и твою работу”, – писала Анна Окерблум в письме к дочери от февраля 1924 года и добавила совет, который, как говорят, характеризует самонадеянную психологию женщин:

> Всегда уступай в несущественном, но будь спокойна и тверда в том, что считаешь правильным. Словом, делай все, чтобы стать внутренне сильной и владеть собой – только так для вас будет возможно продолжить совместную жизнь и обеспечить своим детям то, на что они имеют право, – домашний очаг.

В письмах Эрик Бергман без устали проявлял заботу о своей “милой Кай” и о “детишках”. Он тосковал, он думал, он интересовался, он скучал. Горел желанием защитить ее, носить на

руках, облегчить ей жизнь. “Стало быть, дорогая Карин, приложим новые усилия и не будем вешать голову: я все-таки уповаю на тебя и на Господа”.

Кроме того, он очень надеялся получить место больничного священника в Софийском приюте как дополнение к работе в Хедвиг-Элеоноре. Получи он это место, ему светил и переезд в пасторский дом среди больничного парка. Эрик Бергман с энтузиазмом расписывал, как там замечательно. После удачной проповеди в дворцовой часовне Дроттнингхольма, состоявшейся несколько лет назад, он пользовался благоволением королевы Виктории, чья свекровь в конце XIX века учредила Софийский приют. И теперь королева полагала, что этот Бергман вполне подходящий кандидат на должность больничного священника. Были и другие претенденты, но как ее фаворит Бергман надеялся, что слово королевы сыграет решающую роль и правление остановит выбор на нем.

Карин Бергман еще находилась в Лександе, в Корстеппанском пансионе, лечилась от болей в спине и от бессонницы, там ее и застало письмо Эрика Бергмана, где он рассказывал о том, что́, быть может, их ожидает. А дети? Да, спасибо, у Дага в школе все хорошо, ну а Маргарета, “Нитти”, для него вообще сплошной восторг. А Ингмар, он “такой славный… такой своевольный… как апрельская погода… Малыш глубоко в моем сердце, даже говорить нечего. У него есть свои особенности, но теперь-то он “под крылышком”. Иногда я посмеиваюсь про себя, когда слышу, как просто он обращается с бабушкой – в глубине души мне кажется, что, наверно, вовсе неплохо, что он способен на такое простое отношение”.

Месяц-другой спустя, в марте 1924-го, все сомнения отпали: Эрик Бергман не только получил место в Софийском приюте, но и переезду в пасторский дом ничто не мешало. Камергер Х. позвонил и сообщил новость, а Эрик незамедлительно написал жене:

> Там сделают пристройку для камергера, но наше жилье останется почти без изменений. Зала станет чуть меньше, зато кухня – больше. К тому же все основательно отремонтируют. Они уже приходили, осмотрелись и сочли, что ремонт совершенно необходим. Первого окт. мы сможем переехать. Я очень этому рад.

Так он писал, стараясь не преувеличивать. Теперь можно будет наслаждаться солнцем и сэкономить деньги. На Виллагатан квартирная плата выросла на 200 крон, но это уже не имело

значения.

> Пусть в нашем новом доме царят здоровье и радость. Как только вернешься, мы сходим посмотреть чертежи. Всей душой ждем тебя, милая Кай. Так приятно будет слышать твой голос и твои шаги подле моего логова. Тысяча приветов! Твой старый пастор.

Жена не разделяла оптимизм Эрика Бергмана. Она не осмеливалась говорить ему о своих чувствах, ведь если бы сказала, он или попросил бы ее уйти, или их жизнь наполнилась бы горечью и его постоянными укорами. Она мучилась при мысли вновь встретиться с ним в Стокгольме, и удержать ее в браке могло лишь одно – дети. “Попытаюсь снова включиться в совместную жизнь, но это возможно лишь при условии, что дети будут рядом со мной, ведь они единственное, что оправдывает наш брак. Может статься, постепенно я отыщу что-нибудь еще, но пока не могу, хотя отчаянно стараюсь каждый день”, – писала она Анне Окерблум в марте 1924 года.

Через несколько месяцев, находясь в Даларне, она сообщила матери, что муж начал понимать, что она больше не любит его, а лишь пытается выполнять при нем свой долг жены. Однако пастор от этого понимания отмахнулся. “Когда склеить нельзя, нечего и пытаться” – вот его вывод.

Писала она и о детях. С Дагом возникли сложности, поэтому она его порола. Впрочем, теперь было даже легче, чем раньше. Особенно серьезные проказы требовали и особенно серьезного наказания, так она считала: “Даг должен понять, что я во всем сильнее его”.

Ингмар как раз сейчас хлопот не доставлял. “Малыш милый, ленивый, праздный, так непохож на меня, что я никогда толком не могу его прищучить. Но вообще он славное существо, которое нельзя не любить. Нам предстоит большое событие – в понедельник ему исполнится шесть, надо устроить небольшой праздник”.

Осенью семейство переехало в пасторский дом при Софийском приюте, с точки зрения Эрика Бергмана сущий рай. Он расхваливал “очаровательное жилище в парке, с беседкой, ягодными кустами и садовым участком, с верандами и прекрасным солнечным местоположением”.

Но в саду караулил змей.

Пасторский дом при Софийском приюте, 20-е годы. Райские кущи – и ад. Частная лечебница из ярко-красного и черного кирпича открылась в 1889 году по инициативе королевы Софии.

Она не отличалась крепким здоровьем, страдала малокровием, разного рода судорогами, болями в ногах и проблемами с сердцем. После операции по поводу опухоли яичников передвигалась она с трудом, и ее либо возили в инвалидном кресле, либо носили в специальном паланкине. Болезни и долгое выздоровление побудили ее заняться благотворительностью. В частности, она задумала подарить столице больницу для подготовки медицинских сестер, минимум на шестьдесят коек, и увенчались ее усилия постройкой Софийского приюта. Король Оскар II стал первым среди жертвователей. Он внес 75 тысяч крон в основной фонд и предоставил земельный участок. Сама королева раскошелилась на 30 тысяч крон и обещала увеличить этот взнос. На свое семидесятипятилетие 9 июля 1911 года она передала еще 100 тысяч крон на учреждение медицинского отделения.

Глубоко религиозная королева хотела также обеспечить соответствующий духовный настрой и в завещании оговорила создание фонда на оплату больничного пастора и содержание часовни.

Первого октября 1924 года Эрик Бергман приступил к своим обязанностям как новый пастырь Софийского приюта, сменив на этом посту дворцового священника Элиса Братта. Здесь, на северной окраине, Стокгольм предложил ему пасторальное окружение, мало-мальски отвечавшее сельской идиллии Форсбакки и Воромса.

Пасторский дом представлял собой двухэтажный деревянный особняк желтого цвета, с множеством комнат и большой кухней в сельском стиле на первом этаже. На втором этаже располагались детские, где Даг, Ингмар и Маргарета разместили свои вещи – кукол, кукольный театр, оловянных солдатиков, модель железной дороги и волшебный фонарь, который Дагу однажды подарили на Рождество, но жутко завистливый Ингмар быстренько забрал его себе, в обмен на коллекцию оловянных солдатиков.

Во многих отношениях поистине сказочное раздолье для шестилетнего мальчугана, любознательного, с богатым воображением. Его пленял большой больничный парк с массой возможностей делать увлекательные открытия. Он исследовал внешние границы парка – Вальхаллавеген, Стадион и Политехнический институт – и знал, что на севере он глубоко вдается в легендарный лесной массив Лилль-Яннсскуген. Он свободно бродил в парке, наблюдал и фантазировал, забывая о времени. Особенно занимали его два места – погребальная часовня с покойниками на разных стадиях разложения и машинная централь с огромными печами, где сжигали кровавые

органы и ампутированные конечности.

В биографии Ингмара Бергмана, изданной в 1962 году, Марианна Хёк рисует жизнерадостную светскую атмосферу пасторского дома, с примесью некоторой “лютеранской прямоты в манере выражения”. Церковь дети посещали не чаще одного раза в две недели, по воскресеньям, да и это не ощущалось как принуждение. Хёк пишет об идиллических традициях вроде щелканья орехов и чтения вслух у камина. Однако не оставляет без внимания и другую реальность, скрытую за этим фасадом. Например, требование родителей говорить правду – все, что воспринималось как “прикрасы”, искоренялось твердой рукой. Детям надлежало точно выражать свои мысли, а для того, кто предавался буйным фантазиям, это была мука.

> Люди, верившие в одну-единственную однозначную Истину, так методично пресекали его потребность в самовыражении, его попытки сформулировать богатство своих переживаний, что в конце концов слова застряли у него внутри. Он стал мямлить, запинаться и долгие годы не мог от этого отделаться.

Когда время развлечений у потрескивающего камина заканчивалось и каминное тепло пронизывал холодок необходимости учить уроки и готовиться к школьному понедельнику, Ингмар Бергман был не прочь “прихворнуть”.

> Он рано создал себе алиби, научился уклоняться от требований жизни, демонстрируя некую хрупкость, где грань между притворством и психосоматическими симптомами фактически размыта, – пишет Хёк. – Мать относилась к его “нездоровью” с пониманием, так как считалось, что Ингмар “унаследовал” ее собственные недомогания. На этом этапе были заложены и закреплены основы нервного недуга, который у взрослого Ингмара Бергмана будет при стрессах функционировать как сигнал бедствия. И когда он ложится в больницу Софийского приюта, речь идет скорее о возвращении в детство, а не о стационарном лечении в прямом смысле слова.

Хёк, серьезный кинокритик и журналистка, работающая в сфере культуры, хорошо узнала Ингмара Бергмана на многих уровнях, и изображение мрачных сторон детства режиссера, вероятно, базируется в первую очередь на его собственных рассказах. Именно оттуда она черпала выразительные метафоры,

когда писала, что идиллия пасторского дома стояла на “вулкане”, ведь два сильных, порывистых темперамента, “заключенные в железный корсет условностей”, сохраняли лишь “видимость согласия, как того требовали их роли”. Эрик Бергман, по словам Хёк, был человеком очень властным и вспыльчивым, и Ингмар боялся внезапных перепадов его настроения, “боялся и подлаживался, испытывая затем чувство вины”. Карин Бергман отличалась энергичностью и “неукротимой жаждой все решать за других, своего рода режиссерским талантом, можно сказать”.

В “Волшебном фонаре” Ингмар Бергман рассказывает о воспитании, основанном на таких понятиях, как грех, покаяние, наказание, прощение и милость. Наказания варьировались. Пощечины или шлепки за мелкие проступки, бойкот, порка выбивалкой для ковров или отсидка в темной гардеробной – за более серьезные. А главное – растянуть ожидание кары, чтобы преступник мечтал о прощении. Но больнее всего были не побои, пусть даже для брата, Дага, они иной раз заканчивались жуткими ранами на спине от хлыста. Самое ужасное – процедура в целом, унижение.

А какое унижение, когда ненароком описавшегося мальчугана заставляли ходить в короткой красной юбке, будто подверженность недержанию – черта сугубо девчачья.

В книге интервью “Бергман о Бергмане” (1970) он говорит о теме унижения, постоянно присутствовавшей в детстве и отрочестве:

> Среди чувств, какие с детства запечатлелись в памяти особенно ярко, на первом месте именно унижение – меня унижали, шпыняли на словах и на деле либо ставили в унизительное положение.

Бергмановский карательный кодекс предусматривал и другие наказания – запрет на кино, оставление без еды, укладывание в постель, домашний арест, дополнительные арифметические задания, битье тростью по рукам, таскание за волосы, кухонные работы. Действовали в семье и иные правила: детям не разрешалось говорить “мамочка”, только “мама” и “папа”. Под запретом были также зеркала, кроме тех, что в комнате Карин Бергман. Зеркала считались греховными, побуждающими к себялюбию, пишет Маргарета Бергман в “Зеркало, зеркало…”, одной из своих автобиографических книг.

Учеба в школе находилась под строгим неусыпным контролем. Особенно доставалось Дагу, и мальчик стал крайне нервозным. Учитель математики наводил на него ужас. В качестве воспитательного ориентира Эрик Бергман заключил с

детьми своего рода контракт, почти наверняка односторонний, без малейших поблажек для противной стороны.

Чтобы создать видимость, будто все это не столь уж обременительно, пастор сочинил для Дага вымученно шутливый стишок:

Старый Эркер начеку, долг блюдет сурово.
Тедди-пес повесил нос – в школу неохота,
Прочь с хозяином удрать, икс да игрек побросать,
Вот и вся забота.
Прогулять уроки, о звонках забыть,
Лучше вместо этого рыбку поудить.
Дисциплина ни к чему, а битье тем паче,
То ли дело навестить миленьких собачек.
Только Эркер начеку, видит он далёко,
За обоими следит недреманным оком!

Помимо стишков, он делал маленькие рисунки с надписью “пощечины”. Судя по тому, что Ингмар Бергман спустя много лет рассказывал в одном из интервью, детей воспитывали прямо-таки средневековыми методами физического и психического насилия, главная задача которого – сломить всякое естественное проявление жизни.

В январе 1927 года Карин Бергман писала матери:

> Даг – мальчик добрый, послушный, но очень нервный, отнимает много времени и сил. Малыш делается на себя не похож, когда Даг дома. Как я уже не раз говорила, он перенапрягается, отчаянно стараясь сравняться с Дагом.
>
> Необходима твердая рука, чтобы держать Дага и Малыша в надлежащих границах, и в их взаимоотношениях, где Даг как старший, конечно, несет максимум ответственности, Малыш, безусловно, не без вины, ведь он бывает раздражителен и резок, особенно когда думает, что его не слышат. Своей пристрастностью к Малышу Эрик нанес Дагу глубокие раны, и я, указывая Дагу на его дурную, некрасивую зависть к Малышу, вместе с тем не могу не видеть, что эти чувства во многом подпитываются отношением Эрика к Дагу и к Малышу.

Тогда же она писала в своем тайном дневнике о подозрительности Эрика и его болезненных идеях:

> Нынешней весной случались дни, когда мне казалось, что наша семья чем-то похожа на те, какие изображал в своих пьесах Стриндберг. Где-то у нас таится злая, жестокая, беспощадная сила, стремящаяся ломать, разрушать, мучить, ранить, и она смеется над моими попытками, моими постоянными стараниями смягчить зло. Я могу надорвать себе душу, но я бессильна, выходит так. И я на грани отчаяния. Эта одинокая борьба за спасение домашнего очага страшно изматывает. Вдобавок я каждый миг думаю о том, что Эрик болен, что он не справляется с жизнью, с самим собой и оттого злые силы получили такую власть. […] Доктора и друзья, знакомые с нашими обстоятельствами, говорят, что он душевнобольной. Порой я минуту-другую, а то и дольше верю этому и тогда испытываю чуть ли не облегчение. […] Последние несколько дней после моего возвращения из Лександа были просто ужасны, ведь мое собственное безмолвное нежелание возвращаться в Стокгольм еще усилилось по причине Дагова страха перед возвращением “домой”, к отцу. Все более остро передо мной встает вопрос, не порвать ли эти узы и не попробовать ли создать новый домашний очаг для себя и для тех из детей, кого я смогу забрать себе. […] Вдобавок Тумас. Он вошел в мою жизнь несколько лет назад и мало-помалу стал жизнью в моей жизни.

Тумас? Да, Карин Бергман упоминает о нем еще в письме к Анне Окерблум, присланном из Дувнеса в июне 1924 года. Карин находилась там с детьми, и Ингмар нарисовал картинку к шестидесятилетию бабушки. На обороте Карин написала, что на картинке все горит, это нечто вроде Страшного суда, который мальчик, по его словам, видел во сне. Дальше она писала вот что:

> Вчера вечером приехал на несколько дней Тумас Н.! Еще минувшей зимой я как-то пообещала ему, что, если в этом году мы будем здесь, он может провести недельку вместе с нами. Ведь когда приедет Эрик, то, наверно, приедут и тетушки Эмма и Анна фон Сюдов, да и Эйнара он явно тоже пригласил, а для Тумаса времени не останется. Поэтому, чтобы сдержать обещание, пришлось дать ему недельку сейчас, в отсутствие Эрика.

Карин Бергман тридцать пять лет, двенадцать из них она замужем – в довершение всего за пастором, – и у нее трое детей.

А она влюбилась. И принимала предмет своей влюбленности на даче Воромс. Разумеется, они были там не вдвоем, в доме находились дети и две прислуги, и она общалась с подругами. Но тем не менее. Карин Бергман разлюбила мужа, страдала, тосковала и теперь могла направить весь этот эмоциональный коктейль в русло влечения к молодому упсальскому богослову. Этому самому Тумасу. Как и где она с ним познакомилась, неизвестно, но факт остается фактом: они встретились. Его фамилию она никогда не называла.

В “Волшебном фонаре” Ингмар Бергман рассказывает о детстве в пасторском доме при Софийском приюте – будничный ритм, дни рождения, церковные праздники, воскресенья. Пишет об обязанностях, играх, свободе, распорядке и защищенности, о долгой и темной зимней дороге в школу, о весенних играх в футбол и велосипедных прогулках, об осенних воскресных вечерах с чтением вслух у камина. Но, продолжает он, “мы не знали, что мама была отчаянно влюблена, а отец страдал тяжелой депрессией. Мама готовилась расторгнуть брак, отец грозил покончить с собой, однако в конце концов они помирились и решили остаться вместе, “ради детей”, как тогда говорили. Мы не замечали ничего или почти ничего”.

Правда, ему вспоминается осенний день, когда между родителями произошла ужасная ссора, завершившаяся потасовкой в прихожей. Карин Бергман ушла к себе с разбитым носом и сидела там на диване, пытаясь успокоить проснувшуюся Маргарету. Ингмар молил Бога, чтобы родители пошли на мировую.

> Мои молитвы были услышаны. Вмешался главный пастор прихода Хедвиг-Элеоноры (начальник отца). Родители помирились, и богачка тетя Анна взяла их с собой в длительную отпускную поездку по Италии. Нами занялась бабушка, порядок и иллюзорное спокойствие были восстановлены.

Однако порядок восстановился лишь в том смысле, что Карин Бергман осталась в браке. Она рассказала супругу о себе и своих чувствах и продолжала писать Тумасу, который получил детальное представление об обстановке в пасторской семье. То, что Ингмар Бергман называет примирением, на самом деле было временной нормализацией. Поначалу казалось, пастор примирился с проступком жены. Он как будто бы все понимал, держался спокойно, даже побуждал ее уйти к новому возлюбленному. Казалось, он всерьез готов пожертвовать всем, писала Карин Тумасу.

Затем грянул рецидив. Внезапно Эрика Бергмана обуяла ярость. Он проклинал чувства жены к сопернику, насмехался, издевался и осуждал. Копался в ее молитвенниках, выискивая малейшие пометки, которые могут иметь касательство к Тумасу. Выставлял их отношения этакой “религиозной эротикой”. Карин Бергман писала Тумасу, что ее жизнь с пастором стала сущим адом:

> Он зол на меня, ожесточен и требователен. Требует всего, и одной рукой все забирает, а другой норовит отшвырнуть меня. Совершенно неуверенная, как все может обернуться, я через несколько недель возвращаюсь в Стокгольм. Может статься, я буду вынуждена уйти и от детей.

Нервы у Эрика Бергмана давно были в расстройстве. Еще осенью 1926 года, после того как Карин призналась в романе с Тумасом, он лег в Самаритянскую лечебницу в Упсале. Два месяца пролежал в постели, мучаясь бессонницей и страхом. Весной 1930-го он опять захворал и отправился в зимний санаторий Мёссеберг под Фальчёпингом. Придирчивый пациент находил здесь все, что только мог пожелать, – целый клубный этаж с роскошной анфиладой салонов, курительной, бильярдной, столовой и превосходным купальным отделением; все оснащено электрическим освещением, центральным отоплением, ватерклозетами и обставлено в стиле модерн.

Пастор умел выбрать место для стильного выздоровления. Здесь лечились герцог Вестеръётландский с супругой, принц Карл и принцесса Ингеборг, скальд Вернер фон Хейденстам, принц-художник Евгений, норвежская крон-принцесса Мэрта, карикатурист и писатель Альберт Энгстрём.

В санатории был и психиатр, у которого пастор искал помощи, и ему казалось, что теперь он близок к пониманию. Он написал жене, умоляя простить ему нехватку любви и нетерпеливость и попытаться сохранить все хорошее, ведь оно было, что ни говори. Рассказал, что любил всего двух женщин – мать и жену. “И так странно… я никогда тебе не говорил. во сне я часто путаю вас обеих. Принимаю одну за другую”. Вероятно, в данной ситуации Карин Бергман хотелось услышать не совсем это. В письме к подруге она фантазировала о том, как оставит своего пастора, причем для тех лет на удивление по-современному:

> Я хочу уйти без всякой борьбы за мое и твое, не требуя для себя ничего, пусть дети сами сделают выбор и

приезжают, когда могут и хотят. Эрик не плохой отец, напротив, а жизнь детей, думаю, станет таким образом менее мучительной.

Она и Тумас продолжали переписку, и она писала о нем в тайном дневнике. Порой они виделись, как, например, на Пасху 1930-го перед церковью Святого Энгельбректа, на достаточно безопасном расстоянии от Эрикова прихода в Хедвиг-Элеоноре. Тот миг вечером в Чистый четверг, когда их взгляды и руки встретились, запомнился ей как странно тяжкий и все же сияющий.

> Я смотрю на этот миг как бы с удивлением. Смею ли я верить, что в душе мы все еще вместе? Что переживание этого мгновения правдивее и реальнее, чем вся жестокая действительность вокруг нас?

Ситуация конечно же невыносимая. Карин Бергман было необходимо принять твердое решение – остаться со своим пастором и терпеть его “недовольство, которое с утра до вечера каплет на меня в обидных, и ранящих, и мучительных словах”, или уйти от него.

В начале 30-х годов она серьезно заболела и порой находилась между жизнью и смертью. Ее оперировали в Софийском приюте по поводу женской болезни, после чего у нее начался плеврит. В одном из писем к Тумасу она писала, что не раз думала, что ее земной путь вот-вот закончится и теперь ей понятно, что, если Богу угодно, чтобы она шла тяжким путем, то есть осталась с мужем, Он даст ей силы.

Решение определенно облегчил и тот факт, что Тумас встретил тогда другую женщину. Карин Бергман отнеслась к этому с пониманием. Ну с какой стати ему дожидаться, пока она оставит семью? Ведь Тумас очень нуждался в близком человеке. “И я не могу лишить его такого права, хотя этим человеком стала не я”, – отметила она в тайном дневнике. А Тумасу в декабре 1932 года написала:

> Если твоя Хелен когда-нибудь все же спросит, кто я, скажи ей о моей просьбе навсегда остаться безымянной, а я буду вечно молиться за нее, за тебя и за тот домашний очаг, который вы вместе себе создадите. Благодарю тебя, Тумас, за все, что вошло с тобою в мою жизнь. Думаю, я и в последний мой час не забуду второй день Троицы, когда ты играл для меня псалмы из “Страстей по Матфею”. Наверно, никогда ты не дарил

мне больше, чем тогда.

Вот так храбро и благородно Карин Бергман наконец рассталась с надеждой на новую и, быть может, лучшую жизнь.

Цирк Пальмис

“Никто из вас, детей, не доставлял нам столько мучений и беспокойства, как Ингмар”, – писал Эрик Бергман дочери Маргарете на ее девятнадцатилетие в 1941 году. Меткая характеристика отношения родителей к тинейджеру, а затем и к взрослому сыну. Жесткие слова пастора разом нейтрализуют то, что он говорит об Ингмаре выше в этом же письме; там он называет его славным мальчуганом, веселым и приветливым, которого все любили и с которым невозможно обходиться строго.

Теперь же, стало быть, мучения и беспокойство. Ингмар Бергман легко поддавался чужому влиянию, отличался вспыльчивостью и неуравновешенностью. Вот сию минуту был жестким, бесчувственным, а уже секунду спустя – мягким, сентиментальным и беспомощным, как младенец.

Светлую картину понять легко. Судя по всему, Ингмар Бергман был очаровательным, хотя и странноватым ребенком. Он играл куклами сестры, и сообща они устраивали нечто вроде театра с персонажами, заимствованными из Маргаретина шкафа с игрушками. Ингмар Бергман более-менее реквизировал маленькую сестрину сцену, первые подмостки режиссера, впоследствии прославившегося на весь мир. Они ставили собственные пьесы, и Ингмар Бергман послал бабушке контрамарку, дающую право присутствовать на премьере “Птенчика” Сельмы Лагерлёф, и, пользуясь случаем, заодно поблагодарил за эпидиаскоп. “С его помощью я рассчитывал добиться наиболее удивительных эффектов”, – сообщил он Анне Окерблум в июле 1928 года. А много лет спустя Эрик Бергман писал в письме к дочери: “Помнишь, как вы играли в театр и Малыш был режиссером? Если память мне не изменяет, начали вы действительно с кукольного театра. Ставили, кажется, “Птенчика”? Замечательные были сцены!” Явно заметна ностальгия по идиллическому образу домашнего очага.

Когда пастор с сыновьями оставались в Стокгольме одни, он писал жене: “Мальчики чувствуют себя хорошо, послушны и милы. Я стараюсь уделять им как можно больше времени”. Рассказывал о чтении вслух “Воинов Карла XII” Вернера фон Хейденстама, о походах в кино и в кондитерскую.

Еще в раннем детстве Ингмар Бергман заинтересовался игрой на фортепиано, и родители всерьез подумывали, не стоит ли ему брать уроки.

Академия дает уроки музыки по 75 эре за полчаса. И

> мы с Эриком обсудили, что надо бы позволить Малышу сделать попытку. Если пойдет хорошо и он проявит усидчивость, то можно продолжить на более серьезном уровне. […] Посмотрим, долго ли у Малыша продлится энтузиазм! —

писала матери Карин Бергман.

Увы. Как только дошло до серьезных занятий, интерес у сына остыл. Он, конечно, научился читать ноты с листа, и одно из писем 1932 года к матери свидетельствует, что четырнадцатилетний Ингмар Бергман получил от нее фортепианные сборники: “…самый замечательный подарок на день рождения, какой я когда-либо получал. Представьте себе, мама, я уже разучил две сложные вещи: хор из “Прециозы” Вебера и хор охотников из “Вольного стрелка” (ужасно трудное переложение) Вебера. Теперь разучиваю хор невест из “Лоэнгрина” (жутко сложный)”.

Однако, став старше, он вспоминает уроки фортепиано как “невероятно унылые, скучные, поднадзорные, пыльные”. Театр, опера и кино – вот что он любил по-настоящему, и его сверстники не очень-то разделяли эти скромные развлечения. В десять лет он регулярно посещал Королевскую оперу (в качестве поощрения отец дарил ему билеты), смотрел в Драматическом театре “Большого Клауса и Маленького Клауса”.

К матери Ингмар Бергман относился необычайно сердечно. Он писал, как ему хочется, чтобы она выздоровела, ведь он ужасно по ней скучает. В письме, уснащенном как минимум десятком красных “Целую!”, он писал:

> Мама, наверно, недовольна мной, поскольку я не написал раньше, но я корпел над вот этим, чтобы получилось хорошее письмо.
>
> P S. Малыш часто думает о маме. В.с.

И кто не похвалит десятилетнего ребенка, который пишет отцу:

> Дорогой папа! Как вы себя чувствуете? Наверно, побыть без детей очень здорово? Я слыхал, вы арендовали лодку и плаваете по Ботническому заливу. Хотелось бы мне быть с вами. Может, вы что-нибудь поймали? Несколько большущих акул? Подводная лодка просто замечательная. А “Вокруг света за 80 дней” я еще не прочитал, потому что не знаю, куда мама положила книгу. Теперь я умею кататься на велосипеде. Уже

несколько раз проехал по вокзальной дороге.

Однажды весной Эрик и Ингмар Бергман жили вместе в Городской гостинице в Сёдерхамне. Им там нравилось, они занимались немецким и математикой, совершали экскурсии, ходили в кино, видели датский комический дуэт – Маяка и Прицепа. “Может ли Малыш желать большего”, – писал Эрик жене.

Лето 1930-го все дети провели в Дувнесе у бабушки. В столице, на северном берегу залива Юргордсбруннсвик, проходила в это время большая Стокгольмская выставка. Там демонстрировались лучшие образцы современного шведского дизайна, кустарной промышленности и прикладного искусства, и двенадцатилетний Ингмар Бергман мечтал посетить эту выставку. В ожидании он развлекался граммофоном и диафильмами, которые просматривал с помощью простенького проектора.

Ко дню рождения сестры Маргареты Ингмар Бергман приготовил сюрприз. Анна Окерблум с восторгом и гордостью писала дочери:

> Малыш расскажет тебе про сюрприз ко дню рождения Нитти. Сцены с куклами! Декорации нарисованы и раскрашены И. Бергманом. Великолепные световые эффекты с солнечными восходами устроены И. Бергманом посредством домашних ламп. Костюмы эльфов, гномов и чертей изготовлены в мастерских М. Хелльгрена.

Меж тем как Ингмар Бергман с удовольствием готовил родителям несчетные радостные минуты, с братом обстояло не слишком благополучно. Даг ходил в школу последний год, вполне прилично успевал по тем предметам, где мог приложить свою энергию. По словам матери, характером он был надежный реалист, но внешне ершист и сдержан. Вдобавок он был нацист или, как мать почти вскользь выразилась в письме к Тумасу, с которым спорадически поддерживала контакт, “заразился национал-социализмом как детской болезнью”.

Даг Бергман отличался жестким характером. Накануне своего восемнадцатилетия 23 октября 1932 года он писал матери, как его возмутило напечатанное в “Свенска дагбладет” заявление отцовского начальника, главного пастора Юсефа Челландера. В Драматическом театре только что состоялась премьера спектакля по пьесе лауреата Пулитцеровской премии американского драматурга Марка Коннелли “Зеленые пастбища”, вокруг которой в прессе вспыхнули жаркие споры, а в королевском театре –

довольно шумный мятеж. Когда разыгрывалась акцентированная джазом сцена в греховном Вавилоне и на подмостки вышел актер Хокан Вестергрен, человек десять молодых нацистов принялись швырять на сцену игральные шарики и гнилые помидоры, а в публику – листовки. Возникла большая свалка, вызвали полицию.

В первую очередь протест был направлен против религиозно-критической ориентации пьесы и против того, что действие, собственно серия картин Ветхого Завета, подано прежде всего с позиций афроамериканцев. На Бродвее все роли играли чернокожие, а в Швеции часть актеров загримировалась под негров. Дага Бергмана трясло от злости:

> Сейчас я в высшей степени возмущен заявлением главного пастора Челландера в “Свенска дагбладет” насчет пьесы “Зеленые пастбища”. Отныне я с ним порываю. Полагаю, он не может требовать, чтобы национал-социалист питал хотя бы намек на почтение к человеку, который фактически “восхваляет [неразборчиво]”. Старый священник, просвещенный представитель западной культуры толкует о том, сколько трогательной красоты и благоговения в этом продукте негритянского разврата. […] Ужасно видеть, как наша так называемая культура катится к закату.

Писал он и о том, что избран секретарем и кассиром стокгольмского Национал-социалистического молодежного отделения и энергично занимается пропагандой в пользу национал-социалистов. В его школе таких теперь восемь, один стал прозелитом в это лето и “перешел на сторону нашего учения”. Письмо подписано: “Мамин Даг”, а рядом изображена свастика. Свастику, пресловутый нацистский символ, он по ночам украдкой рисовал и в городе, и, по словам сестры, Маргареты Бергман, несколько раз его задерживала полиция. Изобразил он свастику и на вилле, принадлежавшей некому еврею-предпринимателю и расположенной к югу от Стокгольма, в Смодаларё, где родители летом снимали дачу.

Ингмар Бергман обозначал политическую позицию Эрика Бергмана как ультраправую, и среди шведского духовенства он был далеко не одинок. Многие его коллеги в 30-е годы стали членами национал-социалистических и правоэкстремистских организаций. Двое тогдашних церковных сановников, епископ Манфред Бьёрккквист и архиепископ Эрлинг Эйдем, выражали свои симпатии нацистам, и оба входили в круг единомышленников Эрика Бергмана. В воспитании, какое он насаждал дома и основывал на таких понятиях, как грех,

покаяние, наказание, прощение и милость, заключалась внутренняя логика, с которой дети соглашались, думая, будто понимают ее. “Возможно, – пишет Ингмар Бергман в “Волшебном фонаре”, – этот факт способствовал нашему опрометчивому приятию нацизма”.

Несколько лет спустя он сам доверчиво погрузится в гитлеровскую эстетику и систему ценностей.

Получив аттестат зрелости, Даг Бергман уехал в Упсалу сдавать вступительный экзамен по философии, и там его интерес к национал-социализму еще усилился. В 1940 году его избрали председателем консервативного политического студенческого объединения “Хеймдаль”. Он усматривал в этом прекрасную возможность работать для “дела”, а одновременно новый карьерный шаг, поскольку “в Стокгольме, как говорят, председательство в этом объединении считается большим плюсом”, писал он матери. Даг подготовил также довольно большую работу по административному праву и отдельно изучал деятельность ведомства по делам иностранцев, которому надлежало “контролировать иммиграцию в страну и наблюдать за проживающими здесь иностранцами”, а эта сфера, как он догадывался, еще наберет актуальности.

Даг Бергман прислал матери “брошюрку, которая вышла в прошлый понедельник и вызвала весьма большой шум здесь, в городе, а также в прессе по стране”. Называлась упомянутая брошюра “Шведская линия”, и к числу ее авторов принадлежал, в частности, правый консерватор Арвид Фредборг, член “Хеймдаля” и Национального студенческого клуба, подразделения пронацистского Национального союза Швеции. Фредборг был вдобавок одним из инициаторов так называмого “собрания в спортзале” в феврале 1939 года, когда большинство присутствовавших студентов протестовали против того, чтобы Швеция предоставила убежище десяти хорошо образованным беженцам-евреям из нацистской Германии, так как они-де являют собой угрозу будущему рынку труда для студентов.

Даг Бергман вполне одобрял суть брошюры. С одной стороны, она критиковала разоружение шведской армии, с другой – авторы хотели свободы для Севера, иными словами, прекращения немецкой оккупации Норвегии и русского нажима на Финляндию. Но хотя работа била и по нацизму, и по коммунизму, авторы поддерживали идеи расовой гигиены и антисемитизма. Они желали “здоровой расовой политики” и разрешения вопроса о “размножении неполноценных элементов, которое дает о себе знать прежде всего в наших психиатрических лечебницах и в приютах для слабоумных”.

> Попытки разместить в нашей стране достаточно большое количество еврейских беженцев, предоставив им право работать, вызвали сильное раздражение и также впредь будут причиной конфликтов. Проблема иммиграции есть целиком и полностью проблема народонаселения. Нам необходимо проследить, чтобы никакой потребности в иммиграции не существовало. […] Но можно ли изменить столь сложный процесс, каким является развитие населения? Имея перед глазами пример Германии, рискнем сказать “да”, —

гласила брошюра.

Политическая позиция отца и брата – важная часть объяснения, почему сам Ингмар Бергман так восхищался нацизмом во время поездки в Германию летом 1936 года.

В начале 30-х годов, когда Карин Бергман радовалась юмору и сердечности старшего сына, но одновременно тревожилась из-за его грубоватой внешней сдержанности, младший сын был сущим светом в окошке. Ингмар Бергман раскрыл миру объятия и встречал всех счастьем и радостью, писала она Тумасу:

> Больше всего на свете он любит музыку и, когда есть возможность, непременно идет в Оперу или на концерты.
>
> У него богатый внутренний мир, постоянно открытый прекрасному. Иногда он заходит ко мне и говорит: “Мама, не потолковать ли нам обо всем, что мы любим?” И если у меня есть время, он подолгу говорит о музыке, драматургии, картинах, книгах, людях – обо всем! Тумас, он похож на тебя, вот что удивительно!

А дочка Маргарета была “светловолосая, высокая, худенькая, с лучистыми голубыми глазами, порой мечтательная и ласковая, но чаще веселая и проворная”. Карин Бергман видела перед собой десятилетнюю девочку, умевшую, как никто, дарить любовь и нежность. Преданное и чистое сердце дочери помогало матери выдержать тяжкие минуты. “Это и есть мой мир, – писала она, – самое в нем прекрасное”.

В пасторском доме как будто наконец воцарилась идиллия. Эрик и Карин Бергман были радушны и товарищей своих детей всегда встречали как желанных гостей. Они пекли в камине яблоки, играли в театр, пили чай, читали вслух. Летом семейство уезжало поочередно то в Дувнес, куда всегда стремилась Карин Бергман, то в Смодаларё, где больше всего нравилось ее мужу – кругом море и свежий ветер.

Так они пытались сохранить образ счастливого домашнего

очага, именно такое впечатление оставляет переписка между членами семьи. Благодать, будь это правдой. Однако пасторское семейство находилось под неусыпным надзором окружающих и было сковано общественными условностями, так что образцовая картина медленно растрескивалась изнутри.

Пальмгреновская смешанная средняя школа на углу Шеппаргатан и Коммендёрсгатан была в Норрмальме первой такого рода. Ее учредителя, Карла Эдварда Пальмгрена, считали представителем современного взгляда на устройство школьной жизни. Мальчики и девочки у себя дома жили и воспитывались вместе, а значит, и учиться должны вместе, в смешанных классах, полагал он. Пальмгрен понимал, что это, конечно, может создавать нежелательные ситуации, и, поскольку нравственность ставилась высоко, любые формы ухаживаний воспрещались.

К всеобщему обязательному обучению он тоже подходил демократично, в частности, менее обеспеченные учащиеся вносили меньшую плату за обучение. Ручной труд, как полагал Пальмгрен, оказывал большое моральное воздействие и формировал характер. По его мысли, необходимо всесторонне и гармонично развивать задатки ребенка, применяя наиболее подходящие средства обучения. Он стремился отойти от традиционной сосредоточенности на зубрежке и придавал большое значение рисованию, рукоделию, моделированию, переплетному делу, поделкам из бумаги и плетению корзин – упражнениям, которые приучат учащихся к тщательности, а также “натренируют руку, выработают глазомер и укрепят тело”. Ручной труд, по его мнению, воспитывает в детях и подростках дисциплину и чувство дома.

Короче говоря, Пальмгреновская школа была во многом особенным учебным заведением. Ингмара Бергмана записали туда в 1928 году, и можно себе представить, что тамошняя программа прекрасно подходила для мальчика с его творческими задатками. Однако в том, что школьное руководство считало современной педагогикой, Бергман видел кое-что другое и отзывался об этом в “Волшебном фонаре” отнюдь не лестно. За окнами постоянно лил дождь. В классах царил полумрак. Пахло сырой обувью, нестираным нижним бельем, потом и мочой. Школа была этаким складом, класс – зеркалом довоенного общества. Там властвовали тупость, безразличие, оппортунизм, подхалимаж и чванство. Вопреки расчетам Пальмгрена, методы обучения не были современными, а состояли из наказаний и похвал, скрепленных нечистой совестью. Невыученные уроки, обман, халтура, подлизывание, заглушенное бешенство, вонь –

вот обычные школьные будни. Многие учителя были нацистами, а директор, Хеннинг Хоканссон, – “лицемерный властолюбец и выдающийся непотист в миссионерском союзе”. Он скончался в 1985-м, в возрасте 93 лет, и едва-едва избежал знакомства с отзывом в книге давнего ученика. Но еще в 1944-м, через семь лет после того, как Бергман закончил школу, он видел фильм “Травля” по сценарию Бергмана, где прообразом жуткого латиниста Калигулы послужил один из учителей. После премьеры Хоканссон выступил в газете “Афтонбладет” со статьей, в которой писал, что не припоминает каких-либо трений между Бергманом и учительским коллективом:

> Заявление г-на Бергмана, что школьные годы были для него адом, меня удивляет. Я отчетливо помню, что и он, и его брат, и его отец были очень довольны школой. После выпускного экзамена Ингмар Бергман приходил в школу на рождественский праздник, веселый, довольный и, судя по всему, без тени злости на школу или ее учителей. Дело тут совсем в другом. Ингмар был проблемным ребенком, ленивым, но весьма одаренным, а таким детям нелегко вписаться в отлаженный школьный порядок, что вполне естественно. Ведь школа ориентирована не на мечтательные богемные натуры, а на нормальных тружеников.

Несколько дней спустя Бергман в той же газете напечатал ответ:

> Итак, во-первых, “двенадцатилетний ад” (кстати, выражение затрепанное. И прибег к нему не я, а мой интервьюер. Помнится, я сказал “чертовщина”, а это не то же самое). Да, я был большим лентяем и оттого жил в вечном страхе, поскольку занимался театром, а не школой и терпеть не мог делать все по часам, вставать спозаранку, учить уроки, спокойно сидеть, приносить карты, выходить на перемены, писать сочинения, сдавать экзамены – говоря коротко и без прикрас: я терпеть не мог школу в принципе, как систему и учреждение. То есть не хотел посещать не мою школу, а все школы вообще. Моя школа, как я четко указал в этом злополучном интервью, была, насколько я понимаю, не лучше и не хуже других учреждений такого профиля. Мой уважаемый директор, кроме того, пишет (причем резко): “Школа ориентирована не на мечтательные богемные натуры, а на нормальных тружеников”. Куда

> же деваться бедным богемным натурам? Может, учеников надо делить на категории: ты – натура богемная, ты – труженик, ты – натура богемная и т. д. И богемные натуры отсеивать. Некоторых учителей помнишь всю жизнь. Одних ты любил, других не выносил. Уважаемый директор был и остается (для меня) в первой категории. Вдобавок мне кажется, что мой уважаемый директор еще не посмотрел фильм. Пожалуй, нам бы стоило посмотреть его сообща!

Похоже, злость Бергмана на Хоканссона росла по мере того, как он сам становился старше. В “Волшебном фонаре” директор не только лицемерный властолюбец и выдающийся непотист, он еще и с удовольствием устраивает по утрам молебны – “занудные проповеди, состоящие из сентиментальных ламентаций по поводу того, как бы Иисус огорчился, если бы именно сегодня посетил Пальм-греновскую смешанную школу, или грозных витиеств насчет политики, транспорта и эпидемического распространения джазовой культуры”.

Как Бергман смотрел на школу, можно вычитать из его писем к матери. В 1932 году, накануне ее именин 2 августа, он в общих чертах сообщал о своих делах. Он ходил на концерт в церковь Хедвиг-Элеоноры – “с Марианной Мёрнер, дядей Эрлингом и дирижером, у которого какое-то русское имя, совершенно мне незнакомое, с церковным хором под управлением Густава Адольфа (не покойного, а по фамилии Эрикссон)”. Рассказал, что на следующий день состоится праздник в Цирке Пальмис, как “по праву называют” школу, и что он, пожалуй, сходит в кино на какой-нибудь “увлекательный и хороший фильм”.

О школьных делах он писал: “Представляешь, сегодня у нас было семь (7) уроков, ужас как много, но на последнем уроке, с 3 до 4, все мы сладко спали после дневных душевных усилий”. На следующей странице рисунок: “Мой день в школе в шести картинках. Ученик Цирка Пальмис”. Первая картинка – подъем; текст гласит: “Семь часов. Конец сну”. На второй мальчик идет в школу: “Ужасные муки совести на Сибиллегатан, из-за уроков”. На третьей картинке – классная комната, где учитель Нурман сверлит его взглядом: “Катастрофа перед завтраком”. Четвертая картинка: во время перемены на завтрак все изучают и обсуждают газету. Учитель – национал-социалист, он твердит, что “Зеленые пастбища” – пьеса глупая, на что ученик Ингмар отвечает “НЕТ!”. Пятая картинка, после завтрака – непогода с молниями и слово “КОШМАР!”. Последняя картинка: мальчик зубрит, над головой большой вопросительный знак и текст “Уроки!!! Уроки!!! Конец

утомительного дня”, а рядом высоченная, в человеческий рост, стопка книг.

В другой раз он рассказывал, что, к сожалению, не сумел написать длинное письмо, хотя и шел дождь, ведь в классе начался курс географии и ему надо выучить 7–8 страниц про Малую Азию. “Вчера Нильссон практиковался со мной, хотя, по-моему, было не очень-то интересно. […] Купаться сегодня тоже нельзя. Печально, но факт. Придется клеить массу растений в гербарий”.

В пасторском доме Эрик Бергман строго следил, как сын делает уроки, в том числе читает повесть о школьницах “Девять товарищей” Элисабет Койленшерна-Венстер (Ингмар Бергман считал ее довольно неплохой), “Пиратов с озера Меларен” Сигфрида Сивертса (по его мнению, книга хорошая), а также “Великую мать из Далома” (превосходная книга). “Еще мы выписываем географические названия, а это, по-моему, вообще классно”.

В осеннее полугодие 1933 года Ингмар Бергман писал бабушке:

> Ну вот, опять в городе, хожу в зубрильню, в кино, в Оперу и всячески развлекаюсь. Вечера все темнее и темнее, и каждый раз, шагая в такой вечер через парк, я думаю, как странно, что опять началось осеннее полугодие. Куда, собственно, подевалось все лето? Куда ушло? —

удивлялся он, но считал, что школа все-таки довольно приятное заведение: “Встречаешь товарищей, веселишься на уроках, подшучиваешь над учителями и т. д.”. Он писал, что дома все шло своим чередом, “кроме разве что моих мелких мятежей, которые быстро подавляют”.

Семейство завело аквариум с золотыми рыбками. Но он не смел купить побольше рыбок, так как боялся, что они “подохнут, ведь тогда мне скажут, что это я их сварил, зажарил, заморозил, утопил или сделал бог весть что еще, чтобы их уморить. А идти против маминой догмы непогрешимости опасно, ведь тогда мне вовсе грозит анафема”.

По мнению Карин Бергман, сын посвящал школе минимум времени, и, вместо того чтобы постоянно напоминать ему об уроках, она задумала испробовать новый прием. Пусть его “фордыбачится”, посмотрим, что будет, писала она Анне Окерблум в январе 1934 года. Ингмар Бергман был бодр и весел, интересовался буквально всем.

Сейчас он увлекся радио и тянет проводку из своей комнаты в комнату Нитти, чтобы там можно было слушать его приемник. Два раза в неделю он может пригласить товарища, так я распорядилась, а еще у него чтение, но в остальном он свободно живет своей жизнью, не беспокоясь об уроках. Посмотрим, что получится! Полезно для молодого человека самому отвечать за последствия!

Будни в Пальмгреновской смешанной школе были наполнены разнообразными занятиями. Учащиеся посещали музеи, путешествовали на Готланд и в Упсалу, слушали выступления приглашенных лекторов, проводили состязания по фехтованию, а на уроках труда делали металлические лампы, которые развешивали в аудитории. Они катались на лыжах в Даларне, жили в спортивных пансионах, ездили в Сундборн, Телльберг и Корснес. Учредили дискуссионное общество, где обсуждали вопросы научного и общекультурного характера. Школа выиграла хоккейные соревнования по круговой системе, организованные Шведским союзом хоккея.

Школьное объединение “Маргарета” каждые две недели устраивало швейные вечера, “на которых девочки с большим рвением и интересом шили одежду, а затем передавали ее в Маргаретинский сборный фонд Королевского дворца. Эту одежду сестры милосердия затем раздавали бедным в разных стокгольмских приходах”, как записано в одном из годовых отчетов. Летом девочки выезжали в лагеря на Вестра-Эдсвике, где закалялись на свежем воздухе, купались, плавали, играли, занимались спортом, гуляли, совершали лодочные экскурсии. Они помогали с уборкой, накрывали и подавали на стол, работали на кухне. Рукодельничали, стирали и гладили.

Мальчики же весной каждый год, по школьной традиции, ездили в горы. Их привозили в красивую долину Оредаль, где открывался вид на могучую Орескутан, на которую они днем позже совершали восхождение. С вершины Ренфьелля они любовались горными массивами южного Емтланда, а с Орескутан – горными пиками на западе, “где ратники Карла XII под началом Армфельдта сражались против того, что страшнее московитов, – против бурь, холода и буйства стихий”. Дорога, которая при восхождении отнимала у них все силы, при спуске занимала всего несколько минут. Они посещали Стурлиен, поднимались на холмы Скурдаля, пробовали слаломный спуск, получали от лейтенанта Александера де Рубетса инструкции по лыжной технике. Короче говоря, знакомились с огромными, безлюдными

просторами гор и осознавали, как малы сами. Полковой священник, емтландец Свен Викстрём, ежедневно утром и вечером проводил молебны, обеспечивая учащихся духовной пищей.

Более четкого соблюдения привычных гендерных моделей, пожалуй, не найдешь, так что Пальмгреновская смешанная школа особой современностью не отличалась. Мальчики закалялись в духе воинов Карла XII, девочки учились всему необходимому для будущих домашних хозяек.

В кабинете биологии учащиеся подробно изучали на практике учебные пособия, которые у многих наверняка вызывали рвотный рефлекс. Школа закупила десять экземпляров препарированных насекомых, щуку, пищеварительные каналы голубя, человеческий мозг, ленточных червей, шесть препаратов бычьего глаза, развития цыпленка в яйце, развития свиного эмбриона, а также черепа шимпанзе и мартышки.

На школьной фотографии 1932 года мальчики-подростки выглядят как тридцатилетние. На всех костюмы, как у отцов, у некоторых с жилетом, а то и с платочком в нагрудном кармане. Девочки выглядят точь-в-точь как их собственные матери. Ингмар Бергман кажется слегка рассеянным, будто витает где-то далеко за стенами школы.

Если биологический кабинет с его учебными пособиями отпугивал учащихся, то существовали и иные возможности раскрыть более привлекательные для подростка аспекты этого предмета. Ингмар Бергман действовал на свой лад. Объект его интереса звали Анна Линдберг, одногодок и одноклассница, которую он в “Волшебном фонаре” описывает в весьма нелестных выражениях. Некрасивая, рослая, толстая, с плохой осанкой, большой грудью, мощными бедрами и пышным задом. Волосы рыжевато-белокурые, коротко подстриженные, причесанные, как у него самого, на косой пробор. Руки некрасивые, с короткими толстыми пальцами, одета плохо. Пахло от нее девчонкой и детским мылом. Но притом она была находчива, остроумна и добра. И более чем податлива. Они тянулись друг к другу, две одинокие странные фигуры, не находившие себе места в школьном сообществе.

Бергман не был совсем уж неискушен в этой области, но с собственной сексуальностью имел довольно сложные отношения. Началось все с происшествия, которое поистине можно назвать только преступлением. Совершила его знакомая семьи Бергман, средних лет вдова Алла Петреус.

Ингмару Бергману было тогда лет восемь или девять. Петреус активно участвовала в церковной работе, и по причине случайной

эпидемии, поразившей пасторский дом при Софийском приюте, юному Ингмару пришлось некоторое время пожить на Страндвеген у тети Аллы в ее просторной квартире в стиле модерн. Бергман описывает Петреус в своей обычной сочной манере, и характеристика напоминает ту, какую он дает однокласснице Анне Линдберг. Мужеподобная тетя Алла носила толстые очки, а когда смеялась, из уголка рта текли слюни. Голос у нее был низкий, запах – экзотический. Лицо чистое, гладкое, бархатные карие глаза и мягкие руки, которые вскоре начнут исследовать интимные части тела мальчика.

Однажды вечером Бергману предстояло купаться. Горничная наполнила ванну, и он залез в горячую воду. Тут явилась тетя Алла в купальном халате, который тотчас сняла. Совершенно голая, она тоже забралась в ванну и стала тереть ему спину. Потом взяла его руку, сунула себе между бедрами, прижала. Другой рукой она схватила его пенис, который, как он пишет, реагировал “удивленно и бойко”. Похоже, Бергману доставляет удовольствие подробно расписывать, как тетя Алла сдвинула кожу и выковыряла белую массу, собравшуюся вокруг головки. “Все это было приятно и ничуть не пугало. Она крепко держала меня своими мягкими сильными ляжками, и я без сопротивления и страха позволил себя убаюкать до тяжелого, почти мучительного наслаждения”. Преступные действия, по-видимому, ничуть не тревожили взрослого мемуариста. Память о сексуальном дебюте не оставляла его, и он вспоминал сцену в ванне как постыдный, но сладостный и постоянно повторяемый киносеанс. Здесь-то и рождается онанист Бергман, и открытие собственной сексуальности предстает как нечто непостижимое, враждебное и мучительное. В книге по медицине он прочел, что мастурбацию называют рукоблудием, что она приводит к массе ужасных болезненных симптомов и с ней необходимо бороться всеми средствами. Однако он продолжал заниматься самоудовлетворением, точь-в-точь как большинство других молодых людей, со смесью страха и наслаждения. Постыдное занятие должно было остаться тайной, и где-то здесь ширма, разделяющая две его жизни – реальную и скрытую, – начинает превращаться в неодолимую стену, пишет он в “Волшебном фонаре”. Он был худой, ходил наклонив голову, был вспыльчив и постоянно злился, затевал свары, ругался и кричал, получал плохие оценки и “немало затрещин”. Прибежище он находил в книгах, прежде всего в стриндберговских новеллах “Браки”, но также в кино и в Драматическом театре.

Вернемся, однако, к Анне Линдберг. Случай с тетей Аллой уже отступил на несколько лет в прошлое, общение с

одноклассницей переместилось в родительские дома, приняв форму благовоспитанных ужинов, пока однажды не перешло в неловкие, без раздевания, сексуальные свидания. Он лишил Анну невинности, когда она, во всяком случае, сняла трусики, но затем напугала его заявлением, что он сделал ей ребенка, хотя предположительно этого не случилось.

Впервые они увидели друг друга обнаженными, когда были вместе уже более полугода. Любил ли он ее? Нет. Его тянуло к Анне Линдберг, и в то же время он ее стыдился. Оскорблял ее и колотил, когда стрессы пасторского дома требовали выхода. Она давала сдачи, и они мирились. В его жизни, пишет он, не было любви, не было там, где он жил и дышал. Переписка Ингмара Бергмана с родителями пропитана нежностью и заботой, хотя дневники Карин Бергман вскоре раскроют совсем другую сторону их взаимоотношений, но вкус любви он забыл. Не испытывал ее ни к кому и ни к чему, определенно ни к Анне Линдберг, ни тем паче к самому себе.

Этот подростковый кризис, если угодно назвать его так, изображен у Марианны Хёк в биографии Бергмана как помутнение крови, продолжавшееся годами. Он жил во мгле желаний и безотчетных угрызений совести, запутываясь в бесконечных сетях лжи, что еще больше размывало чувство вины и стыда. То, что он переживал вне домашних стен, не очень-то соответствовало родительским правилам.

Ощущение аутсайдерства было особенно заметно в летние каникулы. Когда другие молодые люди купались, играли в теннис, слушали джаз, катались на моторках и танцевали, Ингмар Бергман стоял в стороне, наблюдал.

Конфирмовал Ингмара отец, вечером на Троицу 1934 года. Он был у пастора одним из самых симпатичных и самых заинтересованных конфирмантов, и Эрик Бергман решил говорить о двенадцатилетнем Иисусе, который рос в мудрости и благодати перед Богом и людьми. Ему хотелось, чтобы у сына в свой черед остались от этого времени добрые воспоминания об отце.

> Конфирмация Ингмара была нашим последним праздником в пасторском доме при Софийском приюте. Я навсегда запомню этот Троицын день как необычайно светлый и щедрый для всех нас.

Эрик Бергман мечтал получить должность главного пастора. Лучше за пределами Стокгольма, но Карин Бергман решительно не советовала возвращаться в сельский пасторат и призывала

мужа к терпению. Шанс появился, когда в мае 1933 года скончался Юсеф Челландер, главный пастор прихода Хедвиг-Элеоноры, и Эрику Бергману предложили прочитать пробную проповедь.

На выборах главного пастора Бергман получил подавляющее большинство голосов, и, казалось, все разрешилось благополучно. Однако министр по делам культов Артур Энгберг обещал эту должность Густаву Анкару, викарию прихода Густава Васы, за которого ходатайствовал епископ. Депутации от собственного бергмановского прихода ходили с петициями и в государственный совет, и даже к самому королю, добиваясь, чтобы назначение получил Бергман. Дело передали во дворец, на рассмотрение совета министров, Энгберг настаивал назначить Анкара, но король воспротивился, и решение отложили. По телефону король обратился за советом к архиепископу Эрлингу Эйдему и получил такой ответ: “Рассудок говорит мне, что назначить надо Анкара, который уже в летах, но сердцем я за Бергмана”. Совет министров опять отложил решение. Энгберг строил козни. Рассчитывал дождаться, когда король уедет на Ривьеру, а тогда можно будет пробить назначение Анкара.

Тем временем Эрик и Карен Бергман отправились в Сёдерхамн, подальше от всех напряженностей и сплетен. В пятницу 12 января 1934 года, когда они завтракали в гостинице, к их столику подошел официант и сообщил, что *главного пастора* Бергмана просит к телефону журналистка Мэрта Линдквист из “Свенска дагбладет”. Она известила его, что совет министров нынче утвердил его в желанной должности. Король, которого поддержал министр юстиции, в конце концов вынудил Артура Энгберга подписать назначение.

В гостиницу хлынули поздравления, телефоны просто раскалились. Бергманы отпраздновали победу – зажгли в номере рождественскую елочку и прочли 84-й псалом из Псалтири. Они провели вместе несколько чудесных дней, после чего вернулись в пасторский дом при Софийском приюте, полный цветов, телеграмм и писем. В пасторской канцелярии Хедвиг-Элеоноры нового главного пастора встретили пением церковного хора, речами и большой веткой белой сирени.

Ободренный победой в изнурительной борьбе и чувствуя постоянную поддержку лично Его Величества, Эрик Бергман переживал новую весну уверенности в себе, что положительно сказалось и на семейной жизни. Письма Карин Бергман к матери проникнуты совершенно иной интонацией: “Потом мы пошли прогуляться и чувствовали себя по-настоящему свободными и радостными”; “Эрик очень рад”; “Дома все хорошо, и я

довольна”, – писала она в те дни, что последовали за мужниным назначением. Даже Даг отлично справлялся с учебой и после зачета попал в число лучших учеников в классе. Папенька Эрик был очень доволен, а маменька Карин в душе так успокоилась, что не видела особых проблем в знакомстве старшего сына с очередной девушкой, с которой он хотел познакомить и ее. “Не знаю, которая она по счету из тех, кого он мне представлял, но он решительно утверждает, что они просто добрые друзья и “никаких глупостей не делают”. И я вовсе не намерена препятствовать ему в безопасном изучении женского пола”. А Ингмар, как уже говорилось, был “бодрый, веселый, всем интересовался. Повсюду успевает, все видит и слышит”.

Летом 1934-го от воспаления легких умерла Анна Окерблум, в семьдесят лет. Карин Бергман находилась с нею до самого конца – приступ кашля и последние слова: “Больше не могу”. Она раз-другой вздрогнула, вздохнула, и все кончилось.

Ввиду нового назначения семья, покинув пасторский дом Софийского приюта, переехала в ближайшие окрестности церкви Хедвиг-Элеоноры. Квартира располагалась на Стургатан, 7, на четвертом этаже, то есть на самом верху, со свободным видом на старые высокие деревья кладбища и мощный купол с тремя колоколами. Самый большой весит без малого пять тонн, отлит в Хельсингёре в 1639 году и двадцать лет спустя взят Карлом Густавом Врангелем в качестве трофея во время войны с датчанами. Колокольный звон будет сопровождать Ингмара Бергмана всю жизнь, в школьные годы как напоминание о невыученных уроках, а позднее во многих его фильмах. Вообще церковь казалась весьма пугающим воплощением фантазий подростка о надзирающем мире. “По ночам освещенный циферблат башенных часов заглядывал в окно, точно всевидящее око”, – пишет Марианна Хёк в биографии Бергмана.

Ингмару Бергману досталась комната, выходившая на Юнгфругатан и знаменитый погребок “Эстермальмчелларен”, помещавшийся в обветшалой постройке XVIII века в квартале от оживленной площади Эстермальмсторг. Переезд дал ему желанный шанс на большую свободу передвижения – дорога в школу стала короче, и он мог пользоваться отдельным входом.

Дом на Стургатан называли пасторским, поскольку там располагались церковная канцелярия и несколько других приходских служб, а также проживали еще две пасторских семьи. Иными словами, дом кишел прихожанами и священнослужителями, с которыми можно было общаться как профессионально, так и приватно, и общественный контроль над

Бергманами возрос, в ущерб личной жизни.

Свои тогдашние воспоминания о родителях Ингмар Бергман излагает в “Волшебном фонаре”. Как проповедник отец пользовался популярностью, и на его проповедях всегда собиралось множество народу. Заботливый пастырь с прекрасной памятью на лица.

> Каждый человек, к которому он выказывал интерес и любезную серьезность, чувствовал, что его запомнили, а значит, выбрали. Прогулка с отцом оборачивалась сложной церемонией. Он то и дело останавливался, здоровался, беседовал, обращался по имени, расспрашивал о детях, внуках и родичах.

Карин Бергман приходилось руководить множеством людей, поскольку пасторский дом по традиции открыт для всех. Участвуя в приходской работе, она была движущей силой обществ и благотворительных организаций. Постоянно поддерживала мужа, присутствовала на собраниях и конференциях, устраивала ужины.

Эрик Бергман наконец достиг того, о чем мечтал. Жизнь наполнилась радостью, он с головой ушел в работу и производил впечатление человека счастливого, находящегося в гармонии с собой и с окружением. Последующие годы стали лучшими в его жизни, и он благодарил жену за помощь и поддержку.

Под поверхностью, однако, реальность выглядела иначе. И в тайном дневнике, и в письмах к подруге Карин писала, что воспринимала жизнь пасторской жены как долг перед другими и что лишь терпение в изнурительной будничной работе позволяло ей держаться и ждать ясности. Она сосредоточилась на целостной картине – выполняла обязанности перед семьей и не обращала внимания на мелочи. Мир в доме предпочтительнее собственного стремления к свободе.

Если Эрик Бергман переживал свои лучшие пасторские годы, а Карин Бергман в глубине души все еще тосковала по другой жизни, то Ингмару Бергману запомнился внешне безупречный образ вполне сплоченной семьи, хотя изнутри царили безрадостность и изнурительные конфликты. Эрик Бергман, конечно, получил заветную должность главного пастора, но, если верить мемуарам сына, с тех пор, когда он был всего лишь викарием и находился на низшей ступеньке церковной иерархии, мало что изменилось. Пастор по-прежнему боялся не справиться, дрожал от страха перед проповедями, а административные задачи приводили его в дурное настроение. Он нервничал, раздражался, впадал в депрессию, то раскаивался, то взрывался и колотил безделушки. Из-за его чрезмерной чувствительности к звукам

детям не разрешалось насвистывать, а вдобавок им запрещалось ходить руки в карманы.

Мать страдала от напряжения и бессонницы, принимала сильные препараты, от которых делалась беспокойной и запуганной. Карин Бергман, пишет дочь Маргарета в “Детях страха”, не просто застряла в страдании, она его культивировала. Лишь через страдание она могла достичь очищения и примирения и раствориться во Христе. Доводила себя до бесчувственности, как прежде ее мать.

Вот такой подчас страшноватый образ пасторской семьи рисуют эти дневники, письма, жизнеописания и биографии. Пожалуй, полезно напомнить себе, что у подростка Ингмара Бергмана одновременно шла совершенно обычная жизнь.

И начиналось первое его приключение.

У Гитлера

Летом 1936 года почти восемнадцатилетний Ингмар Бергман покинул мирок вокруг стокгольмской площади Эстермальмсторг и прихода Хедвиг-Элеоноры и отправился в центр событий, на, так сказать, более либеральный и высокоразвитый континент.

Располагай Бергманы финансовыми ресурсами, они бы, пожалуй, предпочли послать сына самолетом по новому маршруту Стокгольм – Берлин, тогда бы перелет с недавно открытого аэродрома Бромма занял всего четыре часа. Но в нынешних обстоятельствах сыну пришлось ехать поездом и потратить на дорогу несколько дней.

Швеция, которую он временно покидал, весной стала свидетельницей создания Комитета по сотрудничеству Объединений прислуги, инициатива принадлежала Ханне Грёнвалль, председательнице профсоюза столичной прислуги. На короля Густава V только что свалилось скандальное дело Хайбю. Буржуазное большинство в риксдаге утвердило резолюцию об усилении шведских вооруженных сил, что привело к падению правительства социал-демократов.

В начале июня Бергман сошел с поезда, после бессонной ночи, уже познакомившись с прусским порядком. “Страх и ужас, – писал он матери 12 июня, – куда меня занесло! Но забавно. Все происходит по команде. Порции еды исполинские. Всё исполинского формата. Вчера нас командировали, с одной стороны, осмотреть аэропорт, а с другой – послушать доклад о Густаве II Адольфе, фактически обернувшийся дифирамбом Гитлеру”.

Когда Бергман приехал в Берлин, у власти с 1933 года находился германский фюрер. До печально знаменитой “хрустальной ночи” пройдут еще два года, однако преследования евреев уже шли полным ходом. Их магазины бойкотировались, они лишались гражданских прав. В концлагере Дахау под Мюнхеном с приходом диктатора к власти систематически превращали в рабов и убивали политических противников, евреев, коммунистов, гомосексуалистов и инвалидов. Когда позднее в июне немецкий боксер-тяжеловес в двенадцатом раунде нокаутировал в Нью-Йорке Джо Луиса, нацисты ликовали, считая эту победу доказательством превосходства арийской расы.

Одновременно шла подготовка к масштабной гитлеровской демонстрации перед скептически настроенным миром – к летним Олимпийским играм в Берлине, которые откроются 1 августа. В национальном масштабе нацисты уже провели основательную

олимпийскую репетицию. В феврале, на зимних играх в баварском Гармиш-Партенкирхене – их открывал сам диктатор – немцы были вторыми по количеству завоеванных золотых и серебряных медалей, уступив только Норвегии, которую оккупируют четыре года спустя.

Ингмар Бергман захватил с собой не только простенький багаж. И в пасторском доме, и в школе его снабдили также изрядной дозой национал-социалистической пропаганды. Брат Даг был одним из создателей национал-социалистической партии, а папенька Эрик на выборах неоднократно голосовал за национал-социалистов. Пастор не зря читал “Сёндагсниссе-Стрикс” с антисемитскими карикатурами Альберта Энгстрёма. Ингмаров школьный учитель истории восхищался давней Германией, чью культуру высоко ценили во многих кругах Швеции, а учитель гимнастики каждое лето ездил в Баварию на офицерские слеты. Некоторые из священников прихода были, по выражению Ингмара Бергмана, криптонацистами, а ближайшие друзья семьи горячо симпатизировали нацистской Германии.

> Сегодня ночью я спал шесть часов (сейчас 7 утра, а подняли нас в 6). Руководители поездки, кажется, знай себе спят. Обо всем заботятся немцы, —

сообщал Ингмар Бергман домой.

В Германию его послали по так называемому обмену. Эта традиция возникла еще до Первой мировой войны, немецкие учреждения организовывали поездки своих школьников на каникулы в зарубежные страны, а также посещения Германии зарубежными школьниками. После войны страна оказалась в культурной изоляции, и школьный обмен происходил только со Скандинавскими странами, где Швеция занимала особое место. В 30-е годы обмен политизировался, нацисты видели в нем способ воздействовать на общественное мнение в прогерманском плане, против унизительных условий Версальского мира.

Усилия немцев в конце концов стали для Скандинавских стран слишком навязчивы, и они прекратили сотрудничество, сначала Дания, Норвегия и Финляндия в 1932-м, затем Швеция в 1933-м. Однако немцы не сдавались. Двое нацистов взяли на себя задачу противостоять упрямым скандинавам – швед Мальте Велин, учредитель ряда национал-социалистических организаций, доцент Берлинского университета, а позднее сотрудник норвежского предателя Видкуна Квислинга, и его коллега, немецкий журналист и пропагандист Пауль Грассман. Сообща они создали организацию “Друзья Новой Германии”, чтобы обеспечить продолжение школьного обмена. В Швеции они

привлекли как руководителя Альберта Форсвалля, члена крайне правого “Союза Манхем”.

В Германии, как и следовало ожидать, исключали еврейских детей из программы обмена, которая осуществлялась теперь как часть борьбы против того, что немецкий педагог Хелльвиг считал запугивающей пропагандой левой шведской прессы и лживой кампанией травли нацизма.

Программа обмена превратилась в огромную агитационную машину. На старшее поколение воздействовать было слишком трудно, поэтому сосредоточились на детях. Используя неоспоримое преимущество немецкой школьной молодежи перед зарубежными сверстниками, предполагалось добиться благоприятного отношения к нацизму у как можно большей части населения в еще демократических странах. С учетом так называемой “доктрины расового родства” на первом месте здесь стояли шведы, как докладывал в памятной записке министерству иностранных дел Вильгельм Шарп, с 1928 года преподававший шведский язык в Берлинском университете.

Находясь в центре событий, Шарп мог детально изучить приход нацистов к власти и механизмы программы обмена и утверждал, что взгляды шведской молодежи, участвовавшей в этой программе, подвергались значительному влиянию. Молодежь становилась просто-напросто объектом огромного эксперимента по промывке мозгов. Немецкие организаторы, писал Шарп в своей памятной записке, мобилизовали очень большие ресурсы, чтобы стимулировать у школьников “естественную склонность к восхищению перед незнакомым”, и таким образом внушали им представления, которые они по возвращении домой не могли увязать с преобладающими в Швеции взглядами на культуру и общество.

Промывку мозгов немцы вели весьма изощренно. В частности, антисемитская пропаганда стремилась привлечь молодежь к чтению оголтело нацистской и крайне юдофобской писанины вроде журнала “Штюрмер”, издававшегося закоренелым нацистом Юлиусом Штрейхером. Зоркий Шарп сообщал также, что в ряде случаев шведские школьники подвергались совершенно конкретной обработке с целью вызвать у них неприязнь к определенным газетам и журналам. В 1934-м, за два года до поездки Ингмара Бергмана, группу из двух десятков шведских школьников встречали на платформе Штеттинского вокзала в Берлине представители гитлерюгенда, который и организовал шестинедельную поездку. Руководитель шведской группы заверил, что по возвращении в Швецию все участники будут выступать против антигерманских опусов

“шведско-еврейской” прессы, особенно “Свенска дагбладет”. Шарп сетовал на нелепость ситуации, что 95 % шведских школьников, желающих усовершенствоваться на каникулах в иностранных языках, выбирали поездку в нацистскую Германию.

Поездку в Берлин по железной дороге особенно приятной не назовешь. Ингмар Бергман спрашивал, знакома ли мама с немецкими вагонами третьего класса:

> Они цельнодеревянные. Я, конечно, закален по части деревянного привкуса, но в таком жутком количестве, как в этой поездке, никогда его не ощущал. Кстати, я допустил большую ошибку, обменяв всего 30 крон, но заметил это слишком поздно. Минимальную сумму обменивают совсем малыши, и составляет она минимум 25 крон. Обычная сумма – 50. Но сейчас ничего уже не поделаешь. Захочешь обменять, получишь только 66 пфеннигов за крону. Я изобразил все в черном свете? Вообще-то я не хотел. Мне здесь нравится. Атмосфера вполне симпатичная. Немцы очень дружелюбны, за исключением одного холерика. Еда вполне сносная, если ее не смаковать. Сегодня утром мы получили самое лучшее за все время. Молочный шоколад с французским хлебом. Дом, где мы живем, выглядит как концлагерь. Дортуар на сто человек, и нынче ночью было ужасно шумно. Хотя привыкаешь, и в конце концов я крепко уснул. Сейчас поедем на автобусную экскурсию. В 11 будет завтрак. Погода паршивая. Ребята (особенно девчонки) явно мучаются от боли в животе и хотят спать. Прошу прощения за такое небрежное письмо. Только не думайте, что это оттого, что я пишу письма другим. Вы первые, кто получит от меня весточку. Малыш.
>
> P S. Завтра в 10.00 уезжаем из Берлина. В. с.

Что Ингмар Бергман как будто бы знаком с обстановкой в концлагерях, не особенно удивительно. Это понятие появилось еще в начале века и наверняка упоминалось в учебниках истории Пальмгреновской школы как один из инструментов, с помощью которых европейские колониальные державы держали в узде местное население Африки. Мрачная ирония, что уже неделю-другую спустя всего в нескольких десятках километров от германской столицы нацисты открыли первый специально спроектированный лагерь Заксенхаузен, прототип эсэсовских лагерей, позднее оснащенный газовыми камерами, помещениями для экзекуций и крематориями, – по словам шефа СС Генриха

Гиммлера, “современный, новейшего образца, идеальный и легко расширяемый концентрационный лагерь”.

А Ингмар Бергман тем временем направлялся в немецкую глубинку, в принимающую семью. Путь его лежал в деревню Хайна в центральной Германии, в Тюрингии, неподалеку от Веймара, связанного с именами Гёте, Шиллера, Ницше, Листа, а также и Гитлера. В 1926 году нацисты провели там свой съезд, и теперь, десятью годами позже, германскому фюреру, к восторгу молодого Бергмана, предстояло снова посетить красивый средневековый город.

Хайна же была просто крохотной точкой на карте, хотя имела собственного бургомистра и располагалась на просторе среди хлебных полей и красивой природы. Чуть дальше к северу находится национальный парк Хайних, к востоку – холмы Фанер-Хёэ, а к югу – горы Тюрингенский Лес.

“Деревня лежала в ложбине, в зажиточной местности. Между домами змеилась ленивая мутная речка. В центре поселка – непомерно огромная церковь, площадь с военным памятником и автобусная станция”, – вспоминает Бергман в “Волшебном фонаре”. Еще он пишет, что у Зигфрида и Клары Хайд шестеро сыновей и три дочери, что, однако, не соответствует истине. Детей было пятеро: сыновья Зигфрид, Винфрид, Йоханнес и Бертхольд, а также дочь Эмилия. Вдобавок он утверждает, что ездил в Германию в 1934 году, а это либо явная ошибка, либо способ смягчить впечатление: мол, для шестнадцатилетнего юнца увлеченность нацизмом простительнее, чем для восемнадцатилетнего.

Зигфрид Хайд служил в деревне пастором, стройный, с козлиной бородкой, приветливыми голубыми глазами, ватными тампонами в ушах, в надвинутом на лоб черном берете. По словам Бергмана, он был начитан и музыкален, играл на нескольких инструментах и пел приятным тенором. Жена Клара, толстая, замученная работой, покорная, большей частью суетилась на кухне и время от времени застенчиво трепала юного шведа по щеке. “Наверно, вроде как просила прощения за то, что дом такой бедный”.

Зигфрид Хайд действительно был деревенским пастором, а значит, очень важной персоной в здешнем обществе, но слыл чудаковатым и ограниченным. Жену его Клару все любили, на ней и держалось домашнее хозяйство. Она долго тосковала по родной Швейцарии, с трудом приспособилась к немецкому окружению, и идея включиться в школьный обмен со шведской семьей принадлежала именно ей.

Бергмановская характеристика одного из хозяйских сыновей,

Йоханнеса, рисует шаблоный портрет пламенного нациста, словно вырезанный из национал-социалистической пропагандистской газеты. Белокурый, высокий, голубоглазый. С веселой и бодрой улыбкой, небольшими ушами и пушком на подбородке. Этот Ханнес, как его называли в семье, позднее отправится с ним в Стокгольм, чтобы в свою очередь погостить в семье шведского пастора.

Ингмар Бергман по мере сил старался объясняться на своем школьном немецком, основанном на многолетней зубрежке грамматики, а не на речевых упражнениях. Вскоре по приезде в Хайну он писал домой родителям:

> Дорогие родители, наконец-то я здесь после многих перипетий и тягот. Раньше я и не предполагал, что переезды могут быть до такой степени неприятными. Но теперь они позади. У меня столько новых впечатлений, что я фактически не знаю, с чего начать. Это письмо, наверно, получится не менее сумбурным, чем предыдущее. Редко мне доводилось встречать таких добрых и благожелательных людей, как здесь. Если я скажу, что все ваши ужасные пророчества не сбылись, вы поймете? *Der Pfarrer* [пастор, то есть Зигфрид Хайд. – Авт.] – симпатичный молчаливый старикан. Проповедует он хорошо, просто и понятно даже для язычника вроде меня. Мамаша Хайд прямо-таки не знает, чем бы угодить. У меня отдельная комната, хотя места у них не так уж много. Отличная кровать, секретер, солнечное окно на юг. Еда райская. Живу как принц. Комнату явно обставили специально для меня. На одной стене – портрет Вагнера, на другой – картина, изображающая эпизод сказания о Тангейзере. Парнишка [Ханнес. – Авт.] веселый, прямодушный, соединяющий в себе добрые качества родителей. Хлопот с ним определенно не будет. Сестра у него такая же. Сами видите, живу я как у Христа за пазухой. Места здесь до невозможности идилличные. Немножко напоминают Даларну. Дома и церковь – старинные, красивые. Погода стоит жаркая. Сплю под периной, с открытым окном. Единственная неприятность – Ханнес встает в 5 утра вместе со всей семьей. А вообще все хорошо, главное – привыкнуть. Сегодня я был в церкви. Все *alles zum alles*[6] продолжалось час и было весьма непритязательно, так что дольше и не надо. Прихожан собралось человек десять, сидели на разных скамьях. Тем не менее впечатление осталось приятное.

> Не знаю почему. Недавно со всем семейством ходил на воскресную прогулку в лес. А вчера, когда я приехал, на письменном столе стоял пышный букет полевых цветов. Жаль, у меня толком не получается выказать им всем мою благодарность. Но мне тут наверняка понравится!!! Будьте уверены.

В “Волшебном фонаре” он, правда, пишет, что днем скучал. В семь хозяйские дети уходили в школу, и он оставался один со стариками. Читал, бродил по окрестностям и тосковал по дому. Охотнее всего сидел в кабинете Зигфрида Хайда или сопровождал пастора, когда тот посещал паству на дому. “Он ездил на старомодной колымаге с высоким откидным верхом, дороги пылили в неподвижном зное, повсюду расхаживали злющие жирные гуси”.

Но конечно же имелись возможности для увлекательных открытий. Он начал совершать вылазки в соседнюю деревню Зоннеборн, как-то раз и заночевал там, за что по возвращении в Хайну получил от пастора нагоняй. Семейство Хайд обещало родителям заботиться о нем и было вне себя от тревоги, когда он без предупреждения исчез.

Эмилия Хайд позднее вспомнит Ингмара Бергмана как совсем необременительного гостя, но добавит, что он казался незаурядным. Ей понравилась дерзкая отлучка Бергмана в Зоннеборн, где предметом его интереса, возможно, была одна из тамошних девчонок. А может, он всего лишь хотел навестить пасторскую семью, где хозяйка дома была уроженкой Норвегии.

Сама Эмилия Хайд была привлекательная молодая девушка, и, вполне возможно, она чуточку влюбилась в интересного пасторского сынка из Стокгольма. Много лет она будет поддерживать эпистолярный контакт с семьей Бергман. Но когда “Волшебный фонарь” вышел в немецком переводе, Эмилия испытала разочарование, прочитав, как он изобразил ее семью. Конечно, ее братья были активистами гитлерюгенда, но и сам Бергман выказывал огромный энтузиазм. Она вспоминала, как он однажды сказал, что Швеции действительно не помешало бы иметь такого человека, как Гитлер. И подозревала, что именно из-за полученного нагоняя Бергман мог приписать Зигфриду Хайду куда большие симпатии к нацистам, чем тот питал на самом деле.

Ингмар Бергман впервые оказался за границей, и ему хотелось оглядеться вокруг, увидеть как можно больше. Он знал, что одна из его знакомых, Эльса Сундблад, жила в какой-то семье в Констанце на берегу Боденского озера. Но чтобы получить у пастора Хайда разрешение съездить туда, ему пришлось соврать,

что он хочет проведать знакомого парня. Кроме того, пастор поставил условие – получить благословение родителей.

В письме домой Бергман подробно и с энтузиазмом расписал, как пройдет эта поездка: 24 июня в 7 утра он вместе с господином Хайдом отправится поездом из Айзенаха в Эрфурт, а оттуда они поедут в Мюнхен, куда прибудут в 16.00. Пастор обещал показать юноше город. В Мюнхене они заночуют, а наутро, в 8.51, господин Хайд посадит своего подопечного на поезд до Констанца, куда тот доберется в 15.20. Хозяева Эльсы прислали ему на дорогу 50 немецких марок, так что “все улажено”. Недостает лишь формальной поддержки матери, Карин. Он попросил ее написать как можно скорее и закончил так:

> Теперь побегу на почту с этим письмом и с еще одним, для Эльсы, где рассказываю, что она стала мальчишкой. Вообще-то Эльсу сейчас очень жалко. Ее родители явно крепко рассорились. А Германия чертовски замечательная страна. Хайль Гитлер. Обнимаю. Малец *[sic!]*.

В следующем письме он пишет, как усложнилась ситуация с Эльсой Сундблад и его задумкой съездить в Констанц:

> Дорогая мама! У меня опять ужасно много сообщений. Жизнь в Германии действительно не пустяк. Сегодня я был в Айзенахе с *der Pfarrer* и его сестрой – она медсестра – на их собственной машине. В этом городе мы целый день шатались по улицам, осматривали тамошние достопримечательности. Потом поднялись на Вартбург, осмотрели Певческий зал и кляксу от Лютеровых чернил, которая на самом деле вовсе не чернильная. Потом прошли через драконову пещеру, зрелище из числа самых жутких и самых притягательных, какие мне вообще довелось видеть. Потом пили кофе (вовсе не кофе) у какой-то пасторской вдовы. Масса покупок и возвращение домой. Заодно я кое-что разузнал. Мораль этой семьи превыше всякой критики, и я ОБМАНЩИК. Семейству Хайд понадобилось много времени, чтобы уразуметь историю с Констанцем. Когда же я второй раз на своем, увы, скверном немецком (по Юсандеру и Альбергу) объяснил ситуацию, все воззрились на меня, а затем начался допрос третьей степени: что же это за персона, к которой я собираюсь поехать. Мне даже пришлось рассказать об Эльсиных прискорбно неприятных семейных обстоятельствах, и

семья Хайд слушала меня с неодобрительным видом. Но теперь самое ужасное. Жуть!!! Они не поняли, что Эльса девчонка, для них такое вообще было бы непостижимо. Они думали, она мальчишка. Ехать в Констанц навестить мальчишку еще куда ни шло, но девчонку!!! Я пытался объяснить отцу Хайду, в чем дело, но он немедля застыл в полном непонимании, из чего я сделал вывод, что лучше пусть Эльса останется мальчишкой, по имени Эрик. Отсюда вам, мама, ясно, какой ОБМАНЩИК ваш сын!! Хайль Гитлер (как здесь говорят). Малец. Напишите скорее. Передайте привет отцу.

Время в Германии стало первой встречей Бергмана с реальной нацистской эстетикой, иерархией, пропагандой и массовыми сборищами. До сих пор все это существовало в теории, в рассуждениях отца, брата и их друзей, теперь же стало настолько очевидным фактом, что он спросил Зигфрида Хайда, можно ли ему вскидывать руку и говорить “хайль Гитлер”, как все остальные. Господин Хайд ответил, что этот вежливый жест безусловно будет оценен, и Берман вскидывал руку, произносил печально знаменитые слова и считал, что это очень “весело”.

Бергман побывал с Ханнесом Хайдом в школе, послушал, как учитель, у которого на кафедре лежал “Майн кампф”, читал заметки из пропагандистского “Штюрмера”; особый его интерес привлекло то, что учитель снова и снова повторял: *von den Juden vergiftet*[7]. Он спросил Ханнеса, о чем идет речь, но тот ответил, что иностранцев это не касается.

В один из воскресных дней Ингмар Бергман посетил и литургию, слушал проповедь господина Хайда, основанную не на Евангелии, а на автобиографии Гитлера и его политических манифестах. После церковной службы, когда пили кофе, Бергман оказался в окружении прихожан, одетых в форму, и имел возможность не раз поздороваться гитлеровским жестом.

Все дети Хайд состояли в нацистских молодежных организациях, сыновья – в гитлерюгенде, дочь – в Союзе немецких девушек. Занимались военным делом и спортом, пели, танцевали, слушали лекции с показом фильмов.

Приближалось большое событие – нацистский партийный съезд в Веймаре 3–5 июля. Последний раз он проходил здесь десять лет назад и потому теперь отмечался особенно торжественно. В пасторском доме стирали и гладили рубашки, драили сапоги и ремни. В Веймаре царила праздничная горячка. Люди сплошь принаряжены или в форме, играли оркестры, дома украшены цветочными гирляндами и транспарантами, звонили

церковные колокола, на старинной площади – балаганы с аттракционами. В Опере давали “Риенци” Вагнера, готовился вечерний фейерверк. Напечатали памятную открытку, припасли почтовый штемпель с текстом *Deutschland erwache*[8], а также бронзовый значок.

Ингмар Бергман переживал разом два поворотных этапа своей молодой жизни. Второго июля он отправил письмо матери, написав на конверте “фрау Бергман” и адресовав его на дачу в Смодаларё (письмо доставят пароходом), и второе письмо – отцу. “Милой маме” он, с одной стороны, писал о том, что начал сомневаться в религии, а с другой – об отношении к девушке с Боденского озера:

> Первое и самое важное: я сам начинаю понимать, как до глупости наивен был касательно веры в Бога. Фактически я не знаю, что на меня нашло. Я стал сомневаться в своих прежних теориях и размышлениях. Прочитал Ницше и обнаружил, что, отрицая существование высшей силы, он попросту умышленно спорит сам с собой. Стриндберг был большим актером. По-моему, я это заметил. Не хочу сказать, что пришел к совершенно иному выводу, но начал осознавать шаткость моей прежней веры. А это так или иначе шаг, только не знаю пока, в правильном ли направлении. Причины я сейчас объяснить не могу. Возможно, сумею как-нибудь в другой раз. Прости, что не пишу подробно о таком деле, но мне кажется глупым видеть на бумаге свои мысли об этом. Во-вторых, я полностью порвал знакомство с Эльсой Лундблад. И вот почему: Эльса говорит, что она не просто товарищ. Не может им быть. А я все же ни в коем случае не хочу ввязываться в подобные истории и во избежание соблазна предпочитаю вообще порвать все “дружеские отношения”. До сих пор Эльса была хорошим товарищем. Но раз она больше не может им оставаться, тогда до свидания. Наверно, это очень бессовестно и жестоко, однако я должен в первую очередь думать о моей работе. Пожалуйста, мама, поймите меня правильно.

Наверно, сыну легче было признаться в пошатнувшейся вере матери, а не суровому пастору, потому что в письме к Эрику Бергману речь шла о совсем других, менее эмоционально деликатных вещах:

> Дорогой отец! Спасибо за письмо и простите, что я

не написал раньше. Дело в том, что я все время был в разъездах. Немножко огляделся, познакомился с довольно многими шведами, и мы весело проводили время. Приближается большое событие, а именно: мы, шведы, и еще кое-кто из немцев в воскресенье вместе поедем в Веймар. Там мы увидим огромный марш “с-ев” [5гс/] со всей Германии. Даже сам Гитлер приедет и выступит с речью. Вся Германия в напряженном ожидании этого торжества. Нам, шведам, забронируют особое место, чтобы мы могли как следует видеть фюрера. Ну разве немцы не предупредительны! Возможно, еще съездим в Кобург. Нас пригласила бабушка принцессы Сибиллы то ли по матери, то ли по отцу (не знаю толком, о которой идет речь, по немецки-то просто *Grofimutter)* с однодневным визитом. Жаль только, сейчас я очень редко вижу Ханнеса. Он всей душой с партией, а марширует в десять раз хуже Нильссона. Я побывал в немецкой школе, прослушал несколько уроков, в том числе урок религии, где вместо Библии использовался “Майн кампф” (автобиография Гитлера), и бедным ученикам приходилось заучивать некоторые отрывки наизусть, как мы учим Символ веры и “Отче наш”.

В Веймар компания приехала в воскресенье 5 июля, в обеденное время, за три часа до выступления Гитлера. Диктатор и его свита заказали номера в гостинице “Элефант” на Рыночной площади. Из окон и с балконов гостиницы свисали красно-бело-черные флаги с германским орлом, сжимающим в когтях свастику, стяги со свастикой окаймляли вход.

Семье Хайд действительно предоставили хорошие места недалеко от почетной трибуны. На солнце было жарко, но надвигалась гроза, и меж тем как на небе громоздились грозовые тучи, они ждали, прихлебывая пиво и закусывая бутербродами.

Бергмановское описание прибытия Гитлера в “Волшебном фонаре” выдержано во взволнованном тоне, и понятно, насколько сильное впечатление произвел на него тот день в Веймаре:

> Ровно в три послышалось что-то похожее на приближающийся ураган. Глухой пугающий звук разносился по улицам и бился о стены домов. С дальнего конца площади медленно выползал кортеж открытых черных автомобилей. Гул нарастал, перекрывая грянувшую грозу, дождь падал точно прозрачный занавес, гром рокотал над праздничной площадью. На

погоду никто внимания не обращал, все внимание и восторг, все благоговение сосредоточились на одной-единственной фигуре. Он неподвижно стоял в огромной черной машине, которая неторопливо выехала на площадь. Тут он обернулся и посмотрел на ревущую, плачущую, одержимую толпу людей. Дождь заливал ему лицо, мундир потемнел от воды. Затем он медленно шагнул на красную ковровую дорожку и в одиночестве направился к почетной трибуне. Свита держалась на расстоянии. Внезапно наступила тишина, только дождь стучал по мостовой и балюстрадам. Фюрер заговорил. Речь была краткая, я понял не много, но голос был то громкий, то насмешливый, жесты согласованные, рассчитанные. По окончании речи все закричали “хайль”, гроза кончилась, и горячий свет хлынул в разрывы иссиня-черных туч. Заиграл огромный оркестр, и шествие выплеснулось из боковых улиц на площадь вокруг почетной трибуны и дальше, мимо театра и собора.

Ингмар Бергман был совершенно покорён. Никогда он не видел и не слышал ничего подобного этому могучему всплеску. Проповеди священников, какие ему доводилось слышать, не шли ни в какое сравнение. Это была иная религиозность, более опасная, более увлекательная и экстатическая, а потому, пожалуй, более притягательная. Бергман кричал вместе со всеми, вскидывал руку в гитлеровском приветствии, как все. Харизма Гитлера электризовала публику, и Бергман не стал исключением.

Чтобы Ингмар Бергман лучше понял настроение в Германии, Ханнес Хайд объяснил ему, что евреи эксплуатировали немецкий народ и что он и его товарищи по партии строили оплот против коммунизма, евреи же постоянно саботировали этот оплот и ныне они, немцы, просто защищаются от их заговора. Семья Хайд подарила ему на день рождения фото Гитлера, и Ханнес повесил этот портрет над его кроватью, чтобы фюрер всегда был у него перед глазами.

Подарок, как и все пребывание в Германии, возымел задуманный эффект, тот самый, какого хотели достичь создатели немецкой программы обмена. Бергман полюбил Гитлера точно так же, как пасторская семья из Хайны, и много лет держал сторону фюрера, радовался его успехам и огорчался поражениям. В “Волшебном фонаре” он пишет, что как *Austauschkind*[9], неподготовленный и уязвимый, угодил в реальность, сияющую идеальностью и культом героев, и оказался целиком во власти

агрессивности, которая во многом перекликалась с его собственной.

Итак, Ингмар Бергман пока что с легкостью сделался услужливым посланцем гитлеровской Германии. Изощренная и замаскированная нацистская пропаганда пустила корни в молодом пасторском сынке, который, видимо, полностью ей поддался. Позднее, по возвращении в невинный Эстермальм, никто даже не пытался переубедить его и вывести из заблуждений. И в его восхищении Гитлером и нацизмом не было ничего из ряда вон выходящего. Бергмановский школьный учитель истории поддался соблазну новой Германии и ее лидера и, подобно Ингмару, слушал любимого композитора Гитлера, Рихарда Вагнера. Бергман даже написал сочинение о Вагнере.

Лишь много позже, узнав об ужасах концлагерей, он начал кое-что понимать – и то не сразу, сперва он вместе с многими другими отвергал кошмарные свидетельства как дезинформацию. “Внешний блеск ослепил меня. Я не видел мрака”.

Торжества в Веймаре продолжались весь вечер и всю ночь, и Зигфрид Хайд отвез Ингмара Бергмана к приятельнице “невероятно богатой” тетушки Анны, с которой семья Бергман общалась в Стокгольме. Приятельница эта была женой банкира и жила в окруженном парком особняке стиля модерн. Там Бергман познакомился с хозяйской дочерью Кларой и ее братьями, там молодые люди посвятили его в свои тайные сходки, происходившие в башенной комнате, которой никто не пользовался. Они курили турецкие сигареты, потягивали коньяк, слушали Брехтову “Трехгрошовую оперу” и джаз – Дюка Эллингтона, Фэтса Уоллера и Луи Армстронга.

Девятого июля он вместе с пасторским семейством покинул Веймар, а спустя двадцать семь часов утомительной дороги все они наконец добрались до Хайны, “совершенно обессилевшие и полумертвые”, как писал Бергман отцу. Близилось и время возвращения в Швецию, снова через Берлин, но на сей раз в компании Ханнеса. Ханнес пробыл у Бергманов столько же времени, сколько Ингмар пробыл в Хайне, но чем они занимались, что Эрик и Карин Бергман или их старший сын-нацист думали о своем госте, установить трудно. В своих мемуарах Ингмар Бергман об этом не упоминает, а в дневниках Карин Бергман и вообще в ее архиве нет ни слова ни о поездке Ингмара Бергмана в Германию, ни о гитлеровских приветствиях, ни о пребывании его товарища в Стокгольме.

В день рождения Ингмара Бергмана 14 июля 1936 года Зигфрид Хайд писал в письме Эрику Бергману:

Дорогой коллега!

Итак, Ваш Ингмар вернулся домой, а одновременно к Вам приехал мой сын. Сегодня он сообщил о приезде и о том, что приняли его радушно. Сердечно благодарим Вас за это. Ваше письмо, за которое Вам отдельное спасибо, добралось до меня, увы, только в Мюнхене, так что я не смог учесть Ваши пожелания. Конечно же я бы взял Ингмара с собой в Мюнхен, если бы он захотел, хотя и не смог бы уделить ему там достаточно много внимания. Однако все сложилось иначе. Мы искренне надеемся, что проведенное здесь время пошло на пользу Вашему сыну, пусть даже не все было так, как он ожидал. Искренне надеемся также, что Иоханнес будет предупредителен и благодарен.

Сердечный привет Вам и Вашему милому семейству от меня, а также от моей жены и детей!

По иронии судьбы, трое сыновей Хайда погибли на фронтах Второй мировой. Ханнес служил пилотом в люфтваффе и, по некоторым сведениям, был сбит над Лондоном, предположительно во время блица [10]. Однако, согласно другим, более надежным источникам, лейтенант Ханнес Хайд был сбит и погиб вместе со всем своим экипажем под Хеллефутслёйсом в Голландии 27 ноября 1940 года.

Зигфрид Хайд, большой патриот, сильно переживал, видя, как Германия страдает от суровых условий Версальского мира. Демократический строй Веймарской республики 1919–1933 годов он, видимо, презирал и потому приветствовал приход нацистов к власти. Во время войны он как деревенский священник должен был извещать семьи о гибели их сыновей на фронте. Вот и ему самому тоже выпало получать похоронки одну за другой. Когда пришло известие, что самолет Ханнеса сбит, и местный руководитель НСДАП пришел сообщить об этом семье, пастор Хайд лично отслужил панихиду; точно так же он поступил, получив известие о гибели второго сына. Когда же руководитель НСДАП явился в третий раз, пастор выставил нациста за дверь, совершенно сломленный потерей троих сыновей. Четвертый, Бертольд, не сумел окончить школу-интернат, куда его послали, выучился на электрика и, к безутешному отчаянию родителей, в 1956 году эмигрировал в США, где и скончался в 2009-м. Сестра Эмилия стала сестрой милосердия и ухаживала за отцом вплоть до его кончины в 1959 году. Жена Клара умерла от рака.

Медовый месяц Ингмара Бергмана с нацизмом подходил к концу. В итоге он все-таки осознал ужасы концлагерей и повинился, а дома на Стургатан его отец Эрик, рассуждая за ужином о политике, оставался закоренелым консерватором. Пускался в популистские разглагольствования по поводу ситуации в парламенте и твердил, что премьер-министра Пера Альбина Ханссона да и весь социалистический сброд следовало бы расстрелять, вспоминает Ингмар Бергман в “Волшебном фонаре”. Страной, говорил пастор, слегка навеселе от пива и шнапса, правят чернь и бандиты. Подобные заявления отнюдь не способствовали истреблению в молодом человеке идей и практик, внушенных ему нацистской пропагандой в Германии.

Рыжая

Приближались выпускные экзамены, в том числе по родному языку. Ингмар Бергман обладал бойким пером и уже проявил свои способности в искусстве письменного выражения. Одно из предыдущих сочинений о молодом человеке, посещающем проститутку, шокированный учитель все же забраковал, полагая, что Бергман писал на основе собственного опыта. На сей раз он выбрал менее спорную тему – “Некоторые из главных черт творчества Сельмы Лагерлёф”. Это хорошо сформулированный анализ с немногочисленными злобно-красными поправками экзаменатора Артура Юнсона, который выставил в аттестате малое “а”, что в ту пору означало “хорошо с плюсом”.

Карин Бергман начала ежедневно писать о происходящем в семье, а в июне напряженность в пасторском доме была высока. “Тревожные дни с Ингмаром”, утомительные и во многих других отношениях, писала она, не уточняя. Она принимала снотворное и все равно спала плохо. Трое из школьных товарищей сына провалили экзамен, а на другой день, 12 июня 1937 года, пришла пора Ингмару продемонстрировать, что он не небрежничал в учебе.

> Только бы у него хватило сил сохранить спокойствие и здравый смысл, ведь от этого зависит бесконечно много. Если у него не получится, то спокойствие и здравый смысл необходимо проявить нам, чтобы помочь ему в трудное время.

В аттестате было четыре “а”, остальное – “хорошо с минусом” и “хорошо”, а в целом означало благополучный выпуск из Пальмгреновской смешанной школы, в семье появилась белая фуражка, тогда как те, что провалились на выпускных экзаменах, ушли, как говорится, через черный ход, с непокрытой головой и поджав хвост.

Ахиллесовой пятой у Ингмара была латынь. Он засыпался, что не удивительно, если учесть, как он позднее в сценарии фильма “Травля” изображает латиниста Калигулу. По мнению Марианны Хёк, причиной неудачи, по всей видимости, послужило то, что накануне экзамена по латыни Бергману пришлось присутствовать на похоронах одного из отцовых коллег, и это так на него подействовало, что он прямо-таки заболел и написал работу неудовлетворительно.

В годовом школьном отчете отмечено, что Бергман планирует

пойти в Стокгольмскую высшую школу, где намерен заняться изучением литературы, прежде всего драматургии Стриндберга, под руководством профессора Мартина Ламма.

День выпуска выдался лучезарно-яркий, после ночной грозы воздух дышал свежестью. Со школьного двора Ингмар Бергман уехал в экипаже, запряженном двумя белыми лошадьми. На Стургатан, 7, его встретили песнями, тостами и криками “ура”. Наконец-то в пасторском доме был праздник.

Через три дня состоялся ужин для выпускников. В салоне на третьем этаже поставили длинные столы, декорированные васильками, нивяником, маленькими студенческими фуражками и свечами. Настроение царило радостное, веселое. Классный наставник, магистр Бредберг, произнес речь. Все казались счастливыми, девочки выглядели очаровательно и элегантно. “По-моему, все остались довольны”, – записала в дневнике Карин Бергман.

В конце июля она с двумя подругами уехала на месяц в Италию. В Южном Тироле они сделали остановку, и международная почта сумела благополучно переправить матери длинное письмо Ингмара Бергмана – в гостиницу “Торре” городка Гудон в итальянской общине Кьюза-д’Изарко, в двух десятках километров к северо-востоку от Больцано. Сам он проводил каникулы в Даларне, в Воромсе, на дувнесской даче, совершая оттуда велоэкскурсии.

С деньгами обстояло не лучшим образом. Трехразовое дневное питание обходилось в 3 кроны 25 эре, койка на турбазе – 50 эре, а завтрак навынос (хлеб, масло и термос с шоколадом) – еще 50 эре. Так что Ингмар Бергман взял в привычку есть дважды в день: завтрак в 9 часов и ужин около шести. Но жилось ему неплохо. Вскоре, писал он домой, объездит на велике всю округу. Он загорел, а временами лил такой дождь, что и купаться было незачем. Даларна показывала себя с худшей стороны, так он считал, но тем не менее признавал, что места здесь на редкость красивые. Родился девятнадцатилетний романтичный поклонник природы, и сообщения его полны восторга. Ему хотелось рассказать о своих открытиях, и почему-то все, что он считал важным, было предназначено исключительно для матери:

> Путешествуя в этих краях, я, оказывается, кое-что для себя нашел. Этот могучий ландшафт с длинными холмами и дремучими лесами в каком-то смысле отвечает моему образу мыслей и чувств. Когда я вижу в зеленом лесном освещении огромный странный валун и слышу, будто он поворачивается под звон колоколов

фалунских церквей, эта мысль завораживает меня. Я представляю себе, что в камне живет тролль, который, заслышав церковный благовест, мучится кошмарами. Ворочается в своем камне, и тот двигается. Однажды вечером иду один в лес, сажусь возле огромной гнилой сосны, чьи вывернутые корни тянутся в воздух. Смотрю прямо перед собой и совершенно уверен, что, если обернусь, увижу лесовичку – зеленоглазое существо с диким взором, рыжими волосами и оскаленными зубами, украдкой глядящее на меня. Фантазия, убаюканная фильмами, театром и большим городом, здесь, в лесах, просыпается и действует. Я чувствую себя абсолютно гармоничным, абсолютно счастливым и радостным. Я знаю, с человеком так бывает редко, знаю, что надо спрятать это в термос и сохранить. […] Порой просто необходимо пожить вот так. Без правил, без предписаний, когда ты сам себе хозяин, а не чей-то раб или господин. Мама ведь и сама видит, как здесь замечательно. Но я вовсе не хотел бы поехать в *“la bella Italia”*[11]. Отныне Даларна станет моим краем *par preference*[12]. Я правда думаю, что нашел здесь частицу себя самого. Надеюсь, это не химера, а реальность. Если так, то, пожалуй, мы с вами, мама, сумеем отныне лучше понимать друг друга. Да, это самое мое длинное письмо за все годы, таким говорливым я никогда раньше не бывал. Но мне хотелось, чтобы вы знали. Только это конфиденциально, строго между нами. Ваш Малец.

Вернувшись из Италии, Карин Бергман встретилась с младшим сыном в Смодаларё. Дневниковые записи свидетельствуют о гармоничных днях. “Ингмар и я! Сегодня мы погуляли побольше, а вечером я вышла на воздух одна. Мы говорили о том, что хорошо бы иметь желтенькую усадебку с белыми углами. […] Ингмар сегодня играет на органе. […] Мы с Ингмаром опять ходили на прогулку. У нас свои будничные привычки, и это так приятно. Только бы мне остаться такой в городе, тогда бы я сохранила его”.

Есть множество возможных объяснений тому, что эмоциональная жизнь Ингмара Бергмана кипела ключом. Одно из них – он встретил девушку. Вернее, он знал ее по школе и начал ухаживать за ней сразу после выпуска, когда прекратил контакты с Анной Линдберг, о которой недолгое время с ужасом думал, что она ждет от него ребенка.

Марианна фон Шанц (“Сесилия фон Готтхард”, как она

зовется в “Волшебном фонаре”) была рыжеволосая, остроумная, находчивая и значительно более зрелая, чем он сам, пишет Бергман в своих мемуарах. Задним числом он не понимает, почему из всех кавалеров она выбрала именно его. Он считал себя скверным любовником и еще более скверным танцором, который вдобавок непрерывно говорил о себе.

Марианна фон Шанц жила с родителями в помпезной, однако унылой квартире в Эстермальме, пока ее отец однажды не угодил в психиатрическую лечебницу, сделал там ребенка одной из медсестер, а затем сбежал в провинцию, подальше от столицы. Мать после скандала заперлась в квартире, выходила редко и выказывала признаки душевной болезни.

Пока Карин Бергман находилась в Италии, сын прислал ей еще одно длинное письмо. После “несколько кургузого” путешествия по Даларне он очутился в Смодаларё. Почему путешествие вдруг было прервано, неясно, но так или иначе теперь он сидел с отцом на семейной даче в шхерах, и отношения у них были, мягко говоря, прохладными:

> Когда я свалился отцу как снег на голову, он решил, что я замыслил какую-то каверзу, а потому разозлился и принялся докапываться, в какой мере я потчую его небылицами. К тому же он считал, что я вполне мог закончить путешествие в одиночку, вместо того чтобы являться вот так домой и мешать его душевному спокойствию. Я что, обидел его?.. *Der einmal lügt, dem glaubt man me*[13]. Да-да. Что ни говори. Приехал Даг, а папа с сестрой уехали. Я махнул в Грипсхольм и обратно. Мама, вы же знаете, преступникам положено отмечаться в полиции – иногда раз в день. Мне пришлось каждый день писать отцу коротенькое письмецо, докладывать, что я делал. Ах, сколь доверительные отношения между отцом и сыном! – воскликнула Курц-Малер [Хедвиг, немецкая писательница. – *Авт.*]!!

Бергман писал, что ел, спал, купался – и снова ел. Потом перешел к делу:

> Временами я просто становлюсь слегка романтичным. Сижу в одиночестве и немножко тоскую по девушке с рыжими волосами. Вообще-то совсем на меня не похоже. Хотя и проходит очень быстро. Кстати, по-моему, она замечательная, несмотря на то что отец в людях никогда не разбирался. Но чтобы не ухудшать положение, я опять твержу, что виноват я и только я. Его

ровная вежливость к Марианне и мелочная недоверчивость ко мне, по части которой у меня есть новый восхитительный пример, порой злят меня до крайности. Но я молчу, тихонько сижу в кресле. Но не ради себя. В целом все хорошо, и никакого “вооруженного нейтралитета” между нами нет. Наверно, отец нипочем не откажется от убеждения, что Марианна сделала меня первым лгуном в классе. Впрочем, что значит его мнение? Легкое ощущение недовольства.

Письмо написано 9 августа 1937 года, и в заключение Ингмар Бергман, гостивший прошлым летом в нацистской Германии, выражает свое отвращение к коммунизму, что его отец, вероятно, высоко ценил. Однако именно матери Бергман высказал свое возмущение норвежским журналистом, писателем, драматургом и марксистом Нурдалом Григом и его пьесой 1935 года “Наша честь и наше могущество”, которая весной была поставлена в стокгольмском Драматическом театре, с Иваром Коге, Георгом Рюдебергом и Сигне Хассо в главных ролях. Хотя действие пьесы происходит в годы Первой мировой войны и показывает круги тех, кто наживался на войне, она, собственно говоря, была вполне современна. Драматургия Грига в ту пору отличалась острой критикой нацизма и недееспособности западных держав, и он призывал поддерживать Советы как оплот против германского канцлера.

Я дочитал “Нашу честь и наше могущество”. И сейчас воспринимаю ее совершенно иначе, чем до поездки. Удивляюсь только, как я не видел этого раньше. О чем бы ни зашла речь, Нурдал Григ знай кричит, бранится да брызжет самым что ни на есть красным социализмом. Он бьет в барабан, грохочущий как гром, но от всего концерта остается лишь пустой звук. В техническом мастерстве ему не откажешь, однако не в театральном, а в киношном. Возникает впечатление, будто он догорланился до такой степени, что вывихнул себе челюсть. И красный, сплошняком красный. И вот это шло в шведском Королевском драматическом театре. Чистейший скандал, разве нет? Агитатора, конечно, постарались закатать в смирительную рубашку, но все равно осталось достаточно многозначительных подмигиваний в сторону востока и кулачных угроз в сторону юга. Совершенно свободная пресса имеет свою изнанку. […] Норвежцу все ж таки не мешало бы остерегаться чересчур дружелюбного виляния хвостом

перед дядюшкой Сталиным.

Он поэтично вспоминал лето в Германии, писал о том, как континентальный поезд отходит от Центрального вокзала в Стокгольме, а утверждая, что ему предстоит “нырнуть в ведьмин котел Берлина”, выглядит более сведущим, чем было на самом деле. Самоуверенность у него типично отроческая, и заявление, что Советский Союз станет величайшей угрозой, прекрасно иллюстрирует юношеский максимализм, в особенности если учесть, что через три года именно Гитлер, а не Сталин вторгся в Норвегию, оккупировал и пять лет терроризировал страну.

Юноша Ингмар Бергман прямо не желал смерти норвежцу, однако в декабре 1943 года мир потерял марксиста-драматурга – британский бомбардировщик, на борту которого Нурдал Григ находился как наблюдатель, был сбит над Берлином.

О чем Ингмар лгал и почему Эрик Бергман как будто бы не одобрял предмет его пылких чувств, непонятно. Вероятно, ничего особенного здесь нет, просто послушный ребенок повзрослел и начал освобождаться от отцовского контроля, а в конце концов избавится от него полностью. Позднее, осенью и зимой 1937-го, дневниковые записи Карин Бергман о младшем сыне тоже приобретают несколько иной характер. В октябре: “Сегодня вечером Ингмар снова очень меня огорчил, и ведь я ни с кем не могу об этом поговорить. Как сложится его жизнь?” И в декабре: “У Ингмара опять приступ депрессии. Иной раз я прихожу в отчаяние от всей этой нервозности у нас в семье. […] Эрик и не догадывается, каково мне с Ингмаром”.

Летом 1938 года Ингмар Бергман прибыл для прохождения службы в Королевский Сёдерманландский полк, дислоцированный на озере Меларен, в Стренгнесе, небольшом городе со средневековыми кварталами вокруг внушительного собора, который был свидетелем тому, как риксдаг 1523 года избрал королем Густава Васу.

Гарнизонный комплекс – классические казармы из красного кирпича и песочного цвета штукатурки, а также внушительное здание канцелярии с офицерской столовой – расположен на самом берегу озера. В августе 1719 года этот полк отличился в сражении при Стэкете, когда шведы отбили атаки царского флота на море и на суше и не допустили, чтобы Стокгольм, а значит, и вся Швеция попали в руки русских.

К собственному удивлению, Бергман оказался вполне дельным рекрутом. Подобно многим другим, он считал армейскую службу весьма неприятной обязанностью –

неустроенная жизнь в казармах и в походе, ночные учения под проливным дождем, которые ротный устраивал с особым удовольствием. “Об этом я не говорю. Меня бы, возможно, тоже позабавило, если б я мог ночью поднять на ноги две сотни людей и двадцать шесть лошадей и несколько часов муштровать их в грязи и кромешной темноте. Лучше всего прилепить свечку Гуляке промеж ушей и припрятать под курткой немного коньяку, не то до смерти закоченеешь, а так оно и повеселее”. Но он получил медаль за меткую стрельбу, стал ефрейтором и имел под началом шестерых рядовых, повозку и упряжного коня, Гуляку.

В роте Бергман числился одним из лучших пулеметчиков, чего он от себя вообще не ожидал, так он писал матери.

Один из солдат заработал нагноение стопы, еще одного лягнул Гуляка. Их посылали в ночные марши, придуманные некой персоной с “рогами и хвостом”, как шутливо писал он. “А что мы с Гулякой перебрались через топи, болота и лесные дебри и не умерли с голоду, целиком и полностью заслуга Гуляки. Но на следующий день мне все же пришлось его побить, когда он подрался и другим жеребцом и едва не залягал его до смерти”.

В увольнительных он встречался с “владычицей своего сердца” Марианной фон Шанц. И был настолько увлечен ею, что писал матери нерегулярно, а это мучило его и без того уже нечистую совесть. “Каждое утро собирался написать, но затем, как обычно, так и не писал ни строчки. В основном из-за Марианниных каникул. Всегда хорошо, когда есть на что сослаться”, – писал он і августа.

Всеми правдами и неправдами он устраивал себе увольнительные, чтобы побыть с фон Шанц, и профилонил День полка. Ездил в Стокгольм, ходил с Марианной в кино (“фильм был трагический”), выезжал на природу, на “сибаритский пикник”, танцевал в ресторане “Гондола”, что выше Шлюза.

К матери он обратился с двумя просьбами. Во-первых, насчет денег, и поскорее, иначе он не сможет приехать в Смодаларё. “Богачом я никогда не был, но теперь вконец обнищал”. А во-вторых, насчет того, нельзя ли фон Шанц погостить осенью недельку в Дувнесе. “Это сложно или странно? Вы ведь понимаете, мама, как было бы замечательно показать ей Дувнес. Да, конечно, просьба дерзкая. Но было бы весело. Чертовски весело”.

Ингмар Бергман с нетерпением ждал окончания срока службы и буквально считал дни. Он планировал возобновить изучение истории литературы в Стокгольмской высшей школе, но все пока висело в воздухе. В марте Германия присоединила Австрию; Великобритания и Франция заключили оборонительный

союз; шведский риксдаг утвердил резкое увеличение ассигнований на армию; в Швеции ввели учения ПВО, во время которых в Стокгольме царило полное затемнение. Советы укрепляли Ленинградскую область. Мир стоял на грани полномасштабной войны, и шведы усиливали свою боеготовность, отменив демобилизацию четвертой части молодых мужчин, проходивших тем летом военную службу.

В конце сентября Германия, Италия, Великобритания и Франция подписали так называемое Мюнхенское соглашение, вынуждающее Чехословакию уступить Германии Судетскую область (Богемию, Моравию и Силезию), которая с исторической точки зрения была этнически немецкой, но с 1919 года принадлежала Чехословакии.

По возвращении в Лондон премьер-министр Невилл Чемберлен сделал ошибочный и роковой вывод, что приехал домой с обещанием “мира в наше время”.

Эрик и Карин Бергман с растущей тревогой следили за развитием событий, в пасторском доме начали понимать, каков германский канцлер на самом деле.

> Ситуация в мире скверная. Возможно, надежда еще есть. Огромная ответственность лежит на Германии и Гитлере. В Эстонии боятся русских, которые хлынут на них, если начнется война. Вечером в понедельник я слышал по радио речь Гитлера – сущий рык дикого зверя под аккомпанемент рева толпы. […] Теперь Гитлер получил все, чего жаждал в Берхтесгадене. Западные державы и Прага пошли ему навстречу. Если начнет сейчас, он обречен. Нынче как будто бы чуть посветлело. Но до чего кошмарное напряжение! Интересно, как Малыш относится к задержке демобилизации. Судя по газетам, их все-таки вскоре отпустят, —

писал жене Эрик Бергман, а Карин Бергман отметила в дневнике:

> До сих пор не знаю, демобилизуют ли ребят 27-го. Многих призывников оставляют в армии. […] Сегодня вечером мы с Эллен сидели у садовника, слушали по радио речь Гитлера. Звучит резко, исступленно. Чувствует ли этот человек свою ужасную ответственность в эти дни? Ах, если б великие державы вняли мольбам Рузвельта о Мире. Или мы созрели, чтобы нас скосили гибель и тлен. […] Встреча Гитлера, Чемберлена, Муссолини и Даладье прошла удачно, и мир в Европе

как будто бы спасен.

Карин Бергман, возможно к удивлению Ингмара, согласилась на приезд Марианны фон Шанц в Дувнес. Он в самом деле очень этого ждал. Сознавал, что, наверно, это нечто необычное, в частности для самой подруги, но полагал, что они и “в домашних условиях” вполне справятся.

Приехали они туда в начале октября, и визит оказался отнюдь не лишен трений. Карин Бергман видела, что любовь к фон Шанц сыну на пользу, ведь он “весь прямо светится”, но они поссорились. “Ингмар меня поразил. Он защищает Марианну, не терпит ни одного критического слова по ее адресу. Он способен любить другого больше, чем себя. Дай Бог, чтобы он не лишился этого дара. В остальном здесь то и дело происходит нешуточная борьба. Мой малыш Ингмар!”

Несмотря ни на что, Бергман и фон Шанц обручились, она была принята в семью и позировала для снимков в фотоальбомах. Карин Бергман видела, как они смеялись, казалось, им было весело вместе, но она не могла разобраться в будущей невестке. Что-то между ними было не так. Она оказалась совершенно права. Оба они изменяли друг другу.

Бергман был юноша красивый, с обаятельной улыбкой, которую безусловно можно счесть весьма самоуверенной. Летом 1938 года он познакомился с Барбру Юрт ав Урнес, которая, как он выразился в письме к матери, его “осчастливила”. Их первая встреча словно списана с тогдашнего простенького комедийного фильма. Бергман случайно проходил мимо юрт-ав-урнесского дома в Смодаларё, заметил на улице стул, с виду удобный, и сел на него. Не знал, что стул недавно покрасили и краска еще не высохла. Потом появились Барбру Юрт ав Урнес и ее мама, увидали его на стуле, посмеялись, но – костюм надо спасать, а стул красить заново.

Эта встреча положила начало бергмановским ухаживаниям, продолжавшимся все лето. Девушка, тремя годами моложе его, выказывала весьма умеренный интерес, ей первым делом бросился в глаза его крупноватый нос, но от нее не укрылось, что он, похоже, в нее влюбился.

Ингмару Бергману, как и многим молодым людям, требовалось подтверждение собственной привлекательности, и он, вероятно, путал, кто в кого влюбился. Позднее тем же летом, перед какой-то вечеринкой в семействе Юрт ав Урнес, он писал Карин Бергман, что Барбру и ее родители не могут рассчитывать, что он женится на ней.

Они были ужасно гостеприимны и милы ко мне,

бедному бездомному рекруту. Не счесть, сколько раз я уплетал ужины в этой семье. Надо выказать благодарность. Но как? Я же не собираюсь жениться на их младшей дочери. Так далеко моя благодарность не простирается. Хотя она очаровательная, славная и чуточку влюблена. Но какая женщина устоит перед моим обаянием? Ах да. Хорош фрукт, в чьи когти угодила бедняжка Марианна. Я вправду с нетерпением жду осени. Все пока шло хорошо, так что может случиться теперь? Ведь не может же все и всегда быть одинаково великолепно?

Конечно, не может, и в итоге фон Шанц сама расторгла помолвку “под тем предлогом, что из меня никогда ничего не выйдет, а эту оценку она разделяла с моими родителями, мной самим и остальным моим окружением”, пишет Бергман в “Волшебном фонаре”.

Конец 30-х – начало 40-х годов вообще были для Ингмара Бергмана бурными. Всерьез начиналась взрослая жизнь. Он шагнул в театр, физически сцепился с отцом, в ярости ушел из дома и встретил новую женщину. На многих фронтах семью раздирали конфликты, страх и тревога. Давний, преувеличенно сердечный тон корреспонденции между Ингмаром Бергманом и его родителями типичен для того времени, но доброжелательность выглядит вымученной, если учесть напряженности в семье. Как сам Бергман выразился в письме к матери: “Ведь мы, Бергманы, не всегда столь очаровательны, как когда пишем письма, а семья в сотне километров. Да! Именно так! Вот над этим моей почтенной и любимой маме не мешало бы хорошенько поразмыслить”.

Более колоритного места для начала театральной карьеры Ингмар Бергман выбрать не мог. Старый город в Стокгольме был отдельным мирком внутри общества, которое в ту пору отличалось скверным жильем, скученностью, домами, похожими на трущобы. Отопление угольное и дровяное. Уборная без водопровода, холодная вода над раковинои и маленький цинковый столик для мытья посуды. Холодно и неудобно. Холостяцкие общежития без каких-либо санитарных норм. Торговля из-под полы и контрабанда. Пивные, где толпились алкоголики и безработные матросы. Освещение тусклое, грязища. Безработица запредельная.

И среди этого развала и нищеты Бергман получил место режиссера в маленьком театре, Местер-Улофсгордене, который

действовал под эгидой Собора в сотрудничестве со стокгольмским Союзом студентов-христиан. Ангажировал его старый друг семьи, Свен Ханссон. В свое время Ханссон работал в книжном магазине Сандберга, принадлежавшем отцу Эрланда Юсефсона, Гуннару, а Бергман был там завсегдатаем и ценимым собеседником, который часто дискутировал о театре.

В следующие годы Ингмар Бергман в быстром темпе поставил в Местер-Улофсгордене целый ряд пьес, где многие роли играла его давняя пассия Барбру Юрт ав Урнес, а одновременно был ангажирован Стокгольмским студенческим театром и театром “Сказка” в Общественном доме.

Жил он у Свена Ханссона, переехал к нему после бурной ссоры с отцом в сентябре 1939 года, оставившей глубокий след в его отношении к родителям. В “Волшебном фонаре” он описывает, что тогда произошло. Родители обнаружили, что он не ночевал дома, что историей литературы занимался в Стокгольмской высшей школе главным образом для проформы – хотя и мог там сосредоточиться на своем кумире Стриндберге – и что все время, какое не посвящал новой возлюбленной, отдавал театру.

Узнав о “двойной жизни” сына, родители призвали его к ответу. Он воспринял ситуацию по меньшей мере как угрожающую и предостерег отца от применения насилия. Но Эрик Бергман ударил его, и Ингмар Бергман дал сдачи.

Пастор пошатнулся и сел на пол. Карин Бергман расплакалась, умоляя драчунов образумиться.

Пятьдесят три года спустя Маргарета Бергман вспоминала этот день в разговоре с Биргит Линтон-Мальмфорс, которая работала с дневниками Карин Бергман. В ту пору Маргарете было семнадцать, и она еще училась в школе. На большой перемене она пришла домой и застала там смятение: брат ушел из дома. На полу в его комнате валялась Библия, что в семье считалось серьезным проступком, чуть ли не святотатством. На глазах у Маргареты Карин Бергман, видимо одурманенная снотворным, едва не опрокинула швейную машинку и бегом устремилась через залу к открытому окну, чтобы выброситься на Стургатан прямо перед церковью Хедвиг-Элеоноры. Но Даг Бергман, приехавший погостить домой из Упсалы, сумел остановить мать.

Карин Бергман пришла в себя и вечером записала в дневнике:

> Один из тяжелейших дней в нашей жизни, так как Ингмар, давно уже перевозбужденный, нервный и трудный в общении, попросту ушел из дома. Утром, когда Майт [прислуга. – *Авт.]* вошла в его комнату, на

> столе лежало адресованное Эрику письмо, где он сообщал о своем решении, потому что дома больше выдержать не может. Как-то раз Даг тоже уходил из дома, чтобы обрести равновесие, но тогда было совсем иначе. Когда-нибудь эта рана зарастет?

Да, но как ее залечишь? Наверно, она не зарастет никогда. В дальнейшем настрой отношений между Ингмаром и Эриком Бергманами колебался от попыток примирения до новых вспышек. Сын наведывался к отцу в пасторскую контору, нервный и настороженный. Карин Бергман гадала, вернется ли он к ним когда-нибудь. Порой напряжение между отцом и сыном отпускало, и, по впечатлению Карин Бергман, они вполне ладили. Она была мастерица находить виноватого и писала: “Как же мало ребенок догадывается, сколько боли, унижений и страданий пережили и переживают его родители”. Ее муж все глубже погружался в уныние из-за сына, одновременно сокрушаясь по поводу войны.

> Словно бы грянуло землетрясение и унесло с собой что-то очень дорогое. Ведь, несмотря на все трудности, мы с Ингмаром были близкими людьми, порой он бывал обаятелен, и вообще я люблю его. […] Ингмар ужасно ранит наши сердца, —

писала она, надеясь, что добрый друг Свен Ханссон поможет сыну стать на ноги.

> Он искренне хочет помочь Ингмару. Хорошо бы, ему удалось, хотя мне кажется, чуть больше строгости не помешало бы. […] Иногда все черным-черно, но Свен Ханссон надеется, молится и верит. Пожалуй, он сумеет помочь. Свен Ханссон христианин, настоящий христианин, и я благодарна, что Ингмар у него. […] Бедный мой малыш Ингмар!

Но малышу Ингмару жилось вполне неплохо. Он пробовал стать на крыло, причем совершенно по-своему.

Шпионка

Она как будто сошла со страниц шпионского романа, но много ли из ее прямо-таки невероятного прошлого было, собственно говоря, известно Ингмару Бергману? Его рассказ об их романе краток, и, перечисляя ее отличительные черты, он по обыкновению останавливается на чисто внешних. Крепкое невысокое тело, покатые плечи, высокая грудь, сильные ляжки и бедра, широкий лоб, плоское лицо. Волосы тонкие, ярко-рыжего цвета.

Портрет не очень привлекательный, но Бергман упоминает также длинный красивой формы нос, выразительные синие глаза, узкий рот и капризно опущенные уголки губ. Пожалуй, эти последние его и заводят. Внешне она напоминала молодую Ингу Ландгре, с примесью черт Греты Гарбо, а характером – Мату Хари и Джейн Хорни.

Любовью они занимались страстно и часто. Карин Ланнбю, пишет он в “Волшебном фонаре”, решила разобраться с его сексуальным голодом, отперла решетку и выпустила безумца, стала паяльной лампой для его интеллектуальной лени, духовной небрежности и путаной сентиментальности. Она издала сборник стихов, удостоившийся похвалы самого Артура Лундквиста. Вечера проводила в компании за столиком в кафе “Корхус”, пила коньяк наравне с мужчинами, а в капризном уголке рта у нее всегда была американская сигарета, “Голдфлейк”.

Но кто она – за фасадом и вечной дымовой завесой? В своей книге Бергман называет ее Марией, и это действительно одно из ее имен. Он вспоминает, что сигареты ее хранились в темно-желтом металлическом портсигаре с багрово-красной эмблемой. Его чутье к деталям уникально, он знает, что они создают эффект присутствия. А как в остальном?

Ключ к загадке Ланнбю находится, в частности, в ранее засекреченных архивных документах шведских и американских спецслужб, а также в департаменте французской полиции по делам иностранцев, который держал Ланнбю под наблюдением с тех пор, как по приезде в Париж в 1937 году ее взяли на железнодорожном вокзале с таблетками снотворного в сумочке. В служебной записке означенного департамента она описана так (текст воспроизведен в книге журналиста Андерса Тунберга “Карин Ланнбю. Мата Хари Ингмара Бергмана”):

> Молодая шведка, умная, образованная, поэтесса и журналистка, со склонностью к паранойе,

усугубляющейся беспорядочным образом жизни. Крайне аффектированна и честолюбива, не способна поддерживать спокойные отношения и эмоционально сосуществовать с мужчинами. От родной страны резко дистанцируется. Журналистские поездки в Испанию и Францию. Крайне радикальные политические взгляды. Мужчины раздражают ее своим поведением и манерами, хотя она сама сначала выказывает уступчивость и поощряет их. Накоплений и неоплаченных гостиничных счетов не имеет, близка к разорению.

Возможно, прибегает к наркотикам: была выслана из департамента Нижние Пиренеи, где в присутствии официанта спрашивала в ресторане насчет кокаина. Работала ночным аниматором в танцевальном заведении, за питание. Как говорят, в Париже принимала успокоительное (io таблеток, случайно?), позднее отрицала это.

Хронология, основанная на данных документации Шведской госбезопасности 1940 года касательно студентки-филолога Карин Теклы Марии Ланнбю:

Родилась 13 апреля 1916 года, жила в Ольстене к северу от Стокгольма, с матерью и братом. Сотрудничала в ряде коммунистических изданий. Неоднократно участвовала в соревнованиях по плаванию, организованных коммунистическими клубами. В 1934 году задержана возле Лугордстраппан, где раздавала коммунистические листовки немецким матросам. В 1936-м вице-председатель группы “Кларте”. Сопровождала шведско-норвежскую бригаду “Скорой помощи” в воюющую Испанию, а в 1937-м служила там переводчиком. Год спустя лечилась в Лонгбруской психиатрической лечебнице, откуда сбежала, но была найдена в Копенгагене и препровождена обратно в Лонгбру. С 1939 года работала в Главном штабе ВС и имела положительную характеристику. Переводила свободно с немецкого, английского, французского, испанского, каталанского, датского и норвежского, а также на указанные языки, в том числе с одного на другой. Немного знала русский и сербскохорватский. Образование: шведская гимназия, учеба в Стокгольмской высшей школе, в течение трех лет изучение языков в Германии, Франции, Испании, Италии, Венгрии и Югославии вкупе с “богатой практикой на всех этих

языках здесь, с раннего детства”.

В архиве американского *Office of Strategic Services*[14], предшественника ЦРУ, приводится следующая информация 1944 года о Ланнбю (шведский перевод в книге Тунберга):

> По профессии актриса. Урожденная шведка. Мать проживает в Ольстене по ул. Бьёркрисвеген, 15 (тел. 22-33-84). С минувшей весны (1943) Карин Ланнбю переезжала с места на место и сейчас живет на Фурусундсгатан (Йердет). Бегло говорит по-немецки, хорошо – по-английски и по-испански, вполне приемлемо – по-французски. Ведет богемную жизнь и, по всей видимости, особенно интересуется иностранцами. Располагает чрезвычайно обширными сведениями о разных военных представителях Германии, особенно о морских офицерах. На первый взгляд не производит впечатления особенно умного человека, но нельзя не признать, что обладает блеском и притягательной красотой. За время войны посещала Германию и Испанию и очень интересуется беженцами всех мастей. Особенно интенсивно общается, судя по всему, с богатыми евреями. Во многих кругах более чем подозревают, что она агент гестапо.

В архиве УСС есть и другие документы, которые, по Тунбергу, свидетельствуют, что Ланнбю была свободной журналисткой, училась в Барселоне и Париже, во время гражданской войны в Испании работала секретарем и переводчицей в госпитале на стороне республиканцев. Согласно данным УСС, помимо богемной жизни она была наркозависима, играла на театральной сцене, и немцы предположительно очень ее ценили.

Важен также опыт, какой Ланнбю приобрела во Франции, когда знаменитый кинорежиссер Луис Бунюэль завербовал ее как агента для работы на границе с Испанией. Однако задание проникнуть во франкистские войска ей выполнить не удалось, и она впала в немилость коммунистического движения.

Под кличкой “Аннетта” Карин Ланнбю стала осведомителем шведского Главного штаба ВС. В ту пору Стокгольм, как пишет Андерс Тунберг в книге о Ланнбю, был “северной Касабланкой”, кишащей беженцами, проезжими дельцами и дипломатами. “Шла скрытая игра с высокими личными ставками”, – пишет он и цитирует “Европу в революции” журналиста из “Тайма” Джона Скотта: “Все великие державы имели в Стокгольме шпионов и агентов, и все они, казалось, развивали бурную деятельность,

независимо от ее конечных результатов. Большинство шпионов проводили время, шпионя за другими шпионами и сообщая, что чужие шпионы докладывали о шпионах своей собственной или какой-либо третьей страны".

Окружение в самый раз для авантюристки Карин Ланнбю. Ее мать, Лилли Ланнбю, возглавляла шведское агентство американской кинокомпании "Метро-Голдвин-Майер" и владела паем в гостинице "Карлтон", что наверняка позволяло ей непринужденно вращаться в этом мире. Лилли Ланнбю вела изысканно-светскую жизнь, и дочь, судя по всему, от нее не отставала.

Шла война, и перед Карин Ланнбю, которая располагала ценным опытом и сетью международных контактов среди дипломатов и светского общества, поставили задачу проникнуть в немецкие, японские и русские круги Стокгольма. И она с увлечением принялась вынюхивать в столичной галерее ярких персонажей разного происхождения, окраски и лояльности. Она и раньше проявляла склонность замечать подозрительное поведение и докладывать о нем. Например, в годы своей активной коммунистической деятельности сообщила об одном товарище в организации Международной Красной помощи[15], которая оказывала поддержку беженцам из тоталитарных обществ – Германии и Италии. Этот человек, некий Генрих Рау, как полагала Ланнбю, действовал "не по-товарищески" – украл билеты денежной лотереи из дома одного из беженских связных и функционера шведской компартии.

Штабное досье "Аннетты" становилось все толще от множества ее донесений, в то же время росла и параллельная документация, где скапливались наблюдения полиции и агентов разведки за нею самой. Она была не настолько глупа, чтобы не заметить слежку. "За мной уже несколько дней следят, что меня раздражает. Это полиция или англичане?" – спрашивала она в одном из донесений Главному штабу в марте 1940 года.

Йоахим Фридрих Франц Лёш (бывший германский подданный, ныне без гражданства) заявил на нее в полицию за вымогательство; венгерский пресс-атташе Жигмонд фон Морваи – за попытку шантажа и нарушение неприкосновенности жилища; сотрудница Королевского почтового ведомства Энна Стекзен доносила, что Ланнбю неоднократно отправляла срочные письма, адресованные в Главный штаб (вполне логично ввиду ее заданий); телефонист-ремонтник Брур Руно Хильдинг Ульссон сообщал, что во время его визита она выказала подозрительный интерес к телефонной прослушке; госпожа Мод Аурелль сообщала, что ее восемнадцатилетняя дочь сбежала из дома после знакомства с

Ланнбю, которая оказывала на нее очень дурное влияние, и что она, госпожа Аурелль, слышала недавно намеки, будто актриса за деньги шпионила в пользу чужих держав.

Так продолжается год за годом. Читать ее собственные донесения контактным лицам в Главном штабе не менее любопытно и увлекательно, особенно с учетом обстоятельств, в каких они писались. Все это, безусловно, смахивает на гибрид Осы-Ниссе с Джоном Ле Карре.

В 1939 году Ланнбю докладывала, что один из ее объектов, некто Ваннис, к сожалению, предпочитает женщин не в ее стиле:

> Они должны быть курносыми, пухленькими, с морковными волосами и бодрым видом. Прошлый раз с ним была точь-в-точь такая. Вопрос: можно ли мне позвонить ему и попросить о встрече для получения литературных советов по теме фашистского влияния на сюрреалистическую литературу через футуризм, ведь именно эта тема интересует меня уже несколько лет? Я могу вполне правдоподобно намекнуть, хотя он конечно же не поймет, что звонок вызван, скажем, и его мужским обаянием.

О другом объекте, неком Алексе Саломоне, она писала:

> …признался, что он еврей. Стало быть, имя и фамилия могут быть подлинными, он танцевал со мной и просил прощения, что не приходил. Позднее вечером мы вместе пошли развлекаться. 29 лет. […] Работает в здешней французской контрразведке против немцев. Официально закупает меха для французско-английской фирмы, которая, возможно, создана специально с целью шпионажа.

Карин Ланнбю бойко выстраивала домыслы, и в те годы она разобрала по косточкам жизнь многих людей и доложила разведке, причем порой четко просматривается характер ее политической заинтересованности: “Любовницу Фредрикссона[16] (тощую блондинку) зовут Мириам Хольмлин, она имеет постоянную работу в почтовом сбербанке. Часто ездит во Францию. Ф. и ее якобы видели в Париже. Ф. утверждает, что у нее есть “бабки”, но Юнссон этому не верит. И я тоже. Она – типичная девушка из рабочего класса, которой посчастливилось стать содержанкой представителя среднего класса”.

Ланнбю рыскала у людей в телефонных и адресных книжках, в их записях и сообщала имена, адреса, контактные сферы,

политические и сексуальные предпочтения и привычки. Колесила по столичным ресторанчикам и докладывала обо всем, что казалось ей подозрительным. В читальне “Гранд-отеля” она несколько раз видела молодую шведку с итальянской внешностью; “очень смуглая, одета плохо, на даму совершенно не похожа, не уродина, слишком накрашена, говорит по меньшей мере на трех языках, а туда приходит завязывать знакомства. Проявляет особый интерес к моим разговорам с иностранцами. Если она не работает на вас, сообщите мне, потому что в таком случае она, вероятно, шпионка. Тогда я с ней познакомлюсь”. Другая девушка, Вера Фюрт, “по-прежнему встречается с разными сомнительными типами”.

В ее донесениях проходит целый ряд известных имен. Поэту Нильсу Ферлину, по мнению Ланнбю единственному настоящему богемному скальду в Швеции, политика не нравилась:

> Совершенно исключено, чтобы он занимался шпионажем. Интересуется только вином и своими стихами. Именно он учредил Артистическое кафе и объединение “Свободное искусство”. Он – король со свитой почитателей, среди которых, увы, есть весьма темные личности. Нацисты, немецкие полушпионы, полукриминальные типы и шпионы неизбежно присутствуют во всех богемных кругах. “НДА” [“Нюа даглит аллеханда”. – *Авт.]* от 29 июля 1938 года напечатала статью с его фотографией; кроме того, вы можете взять его фото в любом журнале или газете. Поэтому внешность его описывать не стану. Ростом он очень высок и очень худ.

Она видела, как Гудрун Брост, впоследствии одна из актрис Ингмара Бергмана, флиртует с немцем в ресторане “Беккахестен”. Потом он заговаривал с Брост на улице. “Возьму ее под пристальное наблюдение. Ей 24 года, очень привлекательная, тип чувственной блондинки, хорошая актриса. […] Говорит по-английски, по-немецки, по-французски, довольно умна, довольно хорошо одета, но не элегантна, сконский акцент”.

В шпионаже и двойной игре Ланнбю есть и более серьезные компоненты. Остзейский немец барон Борис Стакельберг поручил ей разузнать, сколько в Швеции военных аэродромов и где они расположены, сколько в Швеции военных радиостанций и где они расположены.

> В этом плане самое важное – сведения о радиостанциях на базах ВМФ, а затем о радиостанциях

на базах ВВС. Далее Ст. хочет знать, располагают ли достаточно крупные армейские части военными радиостанциями и какими именно. Я взялась за эту задачу и прошу о соответствующих фальшивых данных, чтобы предотвратить получение правдивой информации из иных источников (самому Ст. задача не по плечу, так что, полагаю, ему придется довольствоваться моими сведениями, не проверяя их).

В 1940-м Стакельберг выезжал в Германию, чтобы изучить возможности экспорта продовольствия и дамского нижнего белья. И в связи с этим поручил Карин Ланнбю обеспечить хорошие фотографии шведских девушек и женщин разного возраста и общественного положения. “По его словам, они нужны для шпионской школы, чтобы научить 1) учениц, как шведки одеваются, красятся и т. д., а 2) всех учащихся распознавать шведок за рубежом. Принять ли мне его предложение?” – спрашивала она.

В знакомстве Ингмара Бергмана и Карин Ланнбю ничего особенного нет. Он был театральным режиссером, она мечтала о сцене, а Стокгольм невелик, и их пути не могли не пересечься. Сбежав из психиатрической лечебницы Лонгбру, она планировала устроиться стажеркой в какой-нибудь немецкий театр. Ну а теперь нацелилась на Студенческий театр. Один из ее близких друзей, Гуннар Бесков, геолог, работавший в Стокгольмской высшей школе, а кроме того, поэт, литератор и вообще человек широкообразованный, сотрудничал с маленькой театральной труппой, которая обреталась в буфетной Дома землячеств Стокгольмской высшей школы на Холлендаргатан. Там как раз собирались ставить его пьесу “Действо о Фаусте”, и Карин Ланнбю претендовала на роль хозяйки трактира.

В Высшей школе существовала также интеллектуально-культурная дискуссионная группа “Согласные звуки”. Один из ее участников, Клас Хоогланд, был редактором журнала “40-е”, а кроме того, председателем Студенческого театра. Он видел постановку Ингмара Бергмана “Макбет” в Местер-Улофсгордене и пригласил его выступить на тему деятельности театров в Старом городе. Именно здесь, среди этой образованной элиты, Бергман и познакомился с Карин Ланнбю. Она присутствовала там как поклонница театра, но попутно доносила секретной службе обо всем, что видела и слышала. Порой ей даже удавалось возместить расходы на веселые вечеринки, которые “Согласные звуки” устраивали в Старом городе, в ресторане “Катлен”, когда

позволяли финансы.

Много лет спустя Ингмар Бергман рассказывал Марианне Хёк, что у Ланнбю “случались опасные приступы жестокости, истерии и эротомании”, хотя она была женщина очень интеллигентная, а вдобавок недавно опубликовала книгу стихов “Cante Jondo”, что в этих кругах создавало невероятный престиж. Написанная в Испании, эта книга вышла в издательстве “Нурштедт” год-другой назад.

“Ты такая же сумасшедшая, как я!” – так Ингмар Бергман объяснился ей в любви при первой встрече. И не отстал от нее. Он же не мог знать, что всего через год он и его семья попадут в ее донесения Главному штабу.

Когда они познакомились, Бергман был еще помолвлен с Марианной фон Шанц, но это не помешало ему броситься в объятия Ланнбю. Временами он жил у шпионки в ее квартире на сёдермальмской Бастугатан. И мотался как неприкаянный меж тремя жилищами – родительским домом на Стургатан, квартирами Свена Ханссона и Карин Ланнбю. Сам, видимо, толком не понимал, где его дом, и настроения у него резко менялись.

В дневниках Карин Бергман сквозит печаль по поводу фон Шанц. “Трудно ей, бедняжке. Никогда я не сочувствовала ей так, как сейчас”. Разговор с классной наставницей в Социально-педагогической семинарии: “Она все поняла и хочет помочь. Дай-то бог!” Марианна, якобы так сказал ей Ингмар, восприняла разрыв помолвки “великодушно”, что противоречит описанию ситуации, какое дает сам Бергман в “Волшебном фонаре”: он-то утверждает, что помолвку расторгла фон Шанц.

Карин Бергман пишет также о занятиях сына и его тогдашних настроениях. Уже зарокотали пушки мировой войны, и дневниковые записи перемежаются сводками из Европы.

На новообретенных театральных подмостках Ингмар Бергман в темпе поставил целый ряд пьес. К трудовой дисциплине и сотрудникам он относился чуть ли не с маниакальной серьезностью. Установил строгие правила касательно выступлений труппы. Говорил о важности и целеустремленности даже в небольших задачах, о самодисциплине, уважении, пунктуальности, недопустимости споров во время работы, все жалобы и частные мнения обсуждаются после репетиции и лично с режиссером, неявка на репетицию может быть оправдана лишь очень вескими причинами, и о ней следует предупреждать заблаговременно, а кроме того, все должны приходить на репетиции хорошо подготовленными.

Анкетирование, проведенное среди сотрудников Местер-Улофсгордена, показало, что, пока говорил Ингмар Бергман, нельзя было рта открыть и атмосферу переполняли горькие замечания. К дополнительным ангажементам или обязательствам за пределами театра режиссер относился неблагосклонно.

Карин Бергман следила за успехами сына, смотрела, по возможности, все его спектакли и рецензировала их в дневнике. “Тонко и глубоко”, – записала она о “Человеке, который прожил жизнь заново” Пера Лагерквиста. “Черная перчатка” просто замечательна, впечатление от вечера “сильное”, а Ингмар Бергман “сиял”.

Карин Бергман была покорена “Макбетом” и считала, что у сына большой талант, из которого, возможно, “что-то выйдет”. Она радовалась с ним и молила Бога помочь ему идти верным путем.

Премьера “Белоснежки” в Местер-Улофсгордене ознаменовалась волнующим событием: среди публики присутствовала третья и последняя жена Стриндберга – Харриет Боссе. После спектакля она с теплотой говорила о подлинном вживании в драму и лично поблагодарила режиссера. “Что этот мальчик способен еще создать!” – восторженно записала в дневнике Карин Бергман.

Такова светлая сторона. Параллельно все время существовала и темная. Три вечера в неделю Ингмар Бергман играл со своим клубом, так Карин называла работу в Местер-Улофсгордене. На чувствительную натуру сестры Маргареты его беспокойный дух воздействовал негативно. Он был как чужой. Временами заходил в гости, но Карин всегда казался совершенно неприступным. После его ухода она зачастую оставалась без сил.

Весной она услышала, какие кошмары творятся в Германии, а в апреле немцы оккупировали Данию и Норвегию. Ночью пришла весть, что Германия напала на Голландию и Бельгию, и их “сердца наполнились ужасом”.

В мае в пасторском доме возникло с сыном новое “интермеццо”, от которого Карин Бергман едва не отдала Богу душу, но разрешилось все лучше, чем она могла надеяться.

В июне немцы вошли в Париж, и Карин Бергман тревожилась о судьбах мира и боялась за младшего сына.

Одно из тогдашних писем Ингмара Бергмана дает хорошее представление о том, как он смотрел на свою жизнь. Написано оно 21 августа 1940 года в Стокгольме и адресовано Карин Бергман в Дувнес:

Дорогая мама! Вчера звонила тетя Грета, по делу, и

тут я вспомнил, что начисто запамятовал одну вещь. А ведь торжественно обещал почтенному папеньке это сделать. Речь о том, что я должен был подтвердить получение 185 крон. Эта сумма будет использована именно так, как вы хотели, мама. Денег на питание хватит ровно на 30 дней. Считая с воскресенья 28 июля, когда я приезжал домой. На более долгий срок их не растянуть, потому что последнюю неделю мне пришлось соблюдать строжайшую диету. У меня явно случился приступ осенних желудочных колик. И ведь ничего из ряда вон выходящего я не ел. Но ни с того ни с сего вдруг расстроился желудок, разболелась голова и слегка поднялась температура. Сейчас все уже прошло, работаю как обычно. Занимаюсь театром, и пока что обе мои работы вполне ладят. Страстно мечтаю только об одном – вырваться в Даларну на недельку или дней на десять. Надеюсь, что за это время сумею написать факультетскую работу [по литературоведению. – *Авт.]* – больше откладывать нельзя. Да мне и не хочется тянуть дальше. Пусть даже получится неудачно. Можно мне приехать между седьмым и четырнадцатым? Ведь пятнадцатого начинаются курсы молодежных руководителей г. Стокгольма, и тогда мне опять придется сидеть в городе. Но было бы чудесно провести несколько осенних деньков в Воромсе. Как у вас дела? В непомерной графомании вас не обвинишь, хотя, пожалуй, тут я сам виноват. Правда, у меня тоже масса дел. Ок. шести часов уходит на учебу. Занимаюсь кое с кем из бедняг, которые будут пробоваться в Драматический (80 кандидатов – примут пятерых), вдобавок театр. Рабочий день продолжается с 9 до 12. Но фактически я никогда не чувствовал себя так хорошо, как сейчас. Я необычайно доволен собой и жизнью. Бываешь либо счастлив, либо нет. Никак не могу сказать, что я несчастлив.

Вполне оптимистичный тон письма не соответствовал эмоциональному состоянию матери. Той осенью, находясь в Даларне, она писала в дневнике, что сердце ее гнетет печаль. Ингмар полон беспокойства и задерган. Эрик ни о чем не подозревает, с головой ушел в работу, и его необходимо щадить. Так что справляться надо самой, в одиночку.

Письмо от Ингмара раскрывало многое – что именно, неясно, – и она написала ответ, который, как она надеялась, будет

полезен ввиду предстоящего недельного визита сына в Дувнес. Она с ужасом вспоминала его бурный уход из пасторского дома годом раньше и теперь была довольна, что поддерживает с ним личный контакт и что он, невзирая ни на что, достижим. “Дай бог, чтобы я смогла узнать его поглубже, когда он сюда приедет. Завтра вечером Ингмар будет здесь? Каким он окажется?” Оказалось, что сын приехал в “солнечном настроении”. Но уже на следующий день она заметила давние черты: “Огромная бесцеремонность”, “…мучаешься, думая о жизни Ингмара. Куда его заведет резкий, необузданный темперамент?”, “Ему вроде бы хорошо с нами, хотя он и отпускает высокомерные замечания”.

Ингмар совершал долгие прогулки с сестрой Маргаретой, Нитти, и это как будто бы шло ему на пользу. Когда, проведя целый день в Бурленге, Карин с дочерью вернулись в Дувнес, Ингмар опять был в дурном настроении, но повеселел, когда растопили камин и попросили его почитать вслух отрывки из пьесы.

В последний его воромсский день Карин температурила и кашляла, но все-таки была на ногах. Поведение сына становилось для нее все более необъяснимо, и он довольно неуверенно говорил о минувшей неделе и о том, как много значит для него дувнесский дом. “Утром Ингмар уезжает, радостно предвкушая все, что ждет его в Стокгольме”.

В ноябре случился новый взрыв, и он опять ушел из дома. Карин не понимала, что творится с парнем. “Мы фактически ничего не можем с ним поделать. Ужасно думать, что это наш малыш Ингмар. Откуда взялась эта непомерная наглость? Нитти вправду измучена и слаба. Как ей выдержать? Но хочешь не хочешь, придется жить дальше и надеяться на милосердие Господа”.

Однажды вечером с визитом приехали добрые друзья. Турстен Булин, епископ Хернёсандский и Эриков однокашник по упсальским временам, рассуждал на тему “Домашний кризис”, второй гость – о “Страшном суде”, обе темы были весьма близки представлениям Карин Бергман о собственной семейной жизни. В декабре Ингмар лежал больной у Свена Ханссона, и Карин навестила его там. “…давно он не был непримиримее, упрямее и неуравновешеннее”. Через несколько дней ему полегчало, но Карин “в глубине души смертельно устала после этой последней стычки”. Сын был измотан и слаб. “Нелегко строить семейную жизнь, когда все законченные индивидуалисты. Но уже вечер. Да поможет мне Бог”, – записала она в дневнике рождественским вечером.

Первой пьесой, которую Ингмар Бергман поставил в Студенческом театре, был “Пеликан” Августа Стриндберга. Название отсылает к мифу о матери-пеликанше, которая отдает своим птенцам все, даже собственную кровь. Стриндберг перевернул этот образ и сделал ее кровопийцей, которая пренебрегает своими детьми, поедает на кухне лучшие куски, топит на своей половине, но не в комнатах детей, томится по зятю и доводит мужа до грани разорения. Пьеса считается натуралистической, экспрессионистской и абсурдной, и, возможно, Бергман, остановив выбор именно на ней, держал в голове худшие стороны своей матери.

В списке действующих лиц и исполнителей фигурировали две женщины, с которыми его связывали весьма особенные отношения. Барбру Юрт ав Урнес играла дочь, Карин Ланнбю – мать. Ланнбю играла роль матери и в другой бергмановской постановке, в “Красной Шапочке” в театре “Сказка” в Общественном доме, согласно одной из рецензий, “тепло и задушевно, что весьма способствовало сказочной атмосфере, царившей на маленькой сцене”. В “Пеликане” же рецензенты хвалили прежде всего Юрт ав Урнес, а постановку оценивали как “мрачно верную стилистически” и проработанную. “Свенска дагбладет” превозносила Бергмана за амбициозную и похвальную работу.

Сексуальная Ланнбю, возможно под влиянием более свободных кругов на континенте, на одной из репетиций ошарашила заснувшую на диване партнершу поцелуем в губы. Юрт ав Урнес, мягко говоря, удивилась, и неожиданная интимность отнюдь не изменила ее скептического отношения к Ланнбю. Этой особе ничего рассказывать не стоит – может достичь чужих ушей. В общем, Юрт ав Урнес считала Ланнбю ненадежной.

Однако Карин Ланнбю стала ближайшей сотрудницей Бергмана в обоих театрах, не как актриса, а как администратор, искательница талантов и финансирования. Она использовала все свои ухищрения. Одним из молодых дарований, завербованных ею в театр “Сказка”, стал актер Петер Линдгрен, о котором она тоже доложила в Главный штаб, вероятно потому, что отец Линдгрена работал инженером в компании АСЕА в Москве и в 1930-е годы сын там учился. Вдобавок в Стокгольме отец был консультантом по “русским вопросам”. Тогда-то и очутился в досье “Аннетты” в Главном штабе ВС.

Один из ее телефонных разговоров, когда она из театра звонила некоему мистеру Ивенсу из британской миссии,

подслушала полиция:

> Ланнбю. Это мисс Ланнбю из театра “Сказка”. Вы там были?
>
> Ивенс. Да, был, но не имел времени задержаться. Мне казалось, вы говорили, что одного часа будет достаточно.
>
> Л. Вам понравилось?
>
> И. Очень. Был бы рад повидать актеров и поздравить их. Вы живете в Сёдермальме?
>
> Л. Нет, но я почти целыми днями в театре.
>
> И. Тогда мы могли бы пообедать в погребке “Гёта”, скажем в следующий вторник, двадцать второго, в час пятнадцать?
>
> Л. Согласна.
>
> И. Я буду в темном костюме и могу добавить, что выгляжу весьма “по-английски”. Думаю, вы меня узнаете.
>
> Л. А я надену большую черную шляпу и, кстати, буду в черном или в розовом.

Звучит драматичнее, чем обстояло на самом деле. Речь шла не о передаче секретных сведений, а о сущем пустяке: “Аннетта” хотела арендовать у британской миссии шкаф-витрину для театра “Сказка”. Мистер Ивенс воспринял просьбу с полным пониманием. И был готов не только предоставить витрину, но и оплачивать ее аренду – 30 крон в месяц. Однако за обедом они говорили не только о витрине. Мистер Ивенс интересовался фирмой “Бельго-Балтик”, исполнительный директор которой был известен полиции своими пронацистскими симпатиями. Мистер Ивенс не сомневался, что вся фирма – просто камуфляж для германского разведывательно-пропагандистского центра. Он утверждал также, что рекламная фирма на Свеавеген, “Паблисити”, на самом деле представляет собой британский пропагандистский центр. К своему донесению об этом обеде Ланнбю присовокупила образец его почерка.

Ингмар Бергман и Карин Ланнбю стали парой, что ни для кого не явилось неожиданностью, но это не мешало ей тайком посылать в Главный штаб донесения о любовнике и его семье.

Осенью 1940 года она сообщала:

> Студент-филолог Ингемар *[sic!]* Бергман, сын главного пастора прихода Хедвиг-Элеоноры, молодой человек, не проявляющий интереса [к Главному штабу. – *Авт.*], сообщил, что его брат, канд. философии и юриспруденции, ранее работавший в МИДе, теперь

> сотрудничает в “шведской разведке”. Поскольку мое знакомство с И. Б. весьма поверхностно, следует предостеречь его брата от болтливости.

Ситуация была крайне деликатная. Даг Бергман вместе с многими шведскими добровольцами воевал на стороне Финляндии против Советского Союза, а по возвращении примкнул к “Бюро С.”, секретной военной разведывательной организации, созданной во время войны. Одновременно Даг состоял в крайне пронацистском Шведском национальном союзе, чьи лидеры, в том числе знаменитый путешественник Свен Хедин, осенью и зимой 1940-го носились с мыслью о государственном перевороте. В задачу Бергмана в “Бюро С.” входил допрос беженцев, а добытые им сведения были составной частью разведданных.

Итак, Карин Ланнбю посчитала, что ее любовник, молодой многобещающий театральный режиссер Ингмар Бергман, довольно болтлив по части секретной деятельности брата и что Дага Бергмана необходимо предупредить.

К тому же она солгала о своих отношениях с Ингмаром, утверждая, что они знакомы шапочно.

Еврейский парнишка Макс Гольдштейн, впоследствии Маго, знаменитый художник по костюмам и сотрудник Ингмара Бергмана, приехал в Швецию как беженец. Его кузен Дитер Винтер точно так же спасся от нацистских концлагерей и жил теперь в семье пастора на Стургатан. Как-то раз Винтер послал Гольдштейна на сёдермальмскую квартиру Карин Ланнбю с пакетом еды для Ингмара Бергмана.

> Открыла мне женщина с густыми рыжими, как кетчуп, волосами того оттенка, какой мне в ту пору совершенно не нравился; у нее за спиной мелькнул долговязый бледный молодой человек, который посмотрел на меня с весьма дружелюбным любопытством. Про рыжую я слыхал, что она сочиняет книги, и мне это показалось интересным, —

пишет Маго в своих мемуарах.

Долговязый бледный молодой человек, разумеется, Ингмар Бергман. Квартира была тесная, обставлена по-спартански – книжный шкаф, два стула, письменный стол с настольной лампой и два застланных матраса. Еду готовили в шкафу, пишет Бергман в “Волшебном фонаре”, а в умывальном тазу мыли посуду и стирали. “Мы сидели каждый на своем матрасе и работали. Мария непрерывно курила. Чтобы спастись, я открыл ответный

огонь. И очень скоро стал заядлым курильщиком”.

Как полагает Марианна Хёк, Карин Ланнбю распахнула перед Ингмаром Бергманом горизонты, какие ему, классически образованному пасторскому сыну, и во сне не снились. Она вытащила его из привычного окружения, вспорола защитную оболочку его буржуазного воспитания, вывела из духовной лености и оставила метку на всю жизнь. “Лечение радикальное, но закаляющее”. Здесь Хёк и Бергман более-менее согласны касательно влияния, которое оказала на него Ланнбю, и не удивительно, ведь главным источником информации для журналистки был сам режиссер. Вдобавок, пишет Хёк, Ланнбю первая действительно поняла, что в нем есть нечто особенное, и убедила в этом его самого.

Неоднозначность обстоятельств еще возрастает, когда весной 1941 года Ланнбю докладывает Главному штабу о происходящем в семье любовника. Объектом ее интереса был проживавший там молодой человек:

> У главного пастора Бергмана, Стургатан, 7, уже два года из милосердия проживает немецкий юноша-полуеврей, беженец Дитер Мюллер-Винтер. Отец его – ариец, немецкий полковник-артиллерист, дворянин. Мать – еврейка, приехала сюда позднее, чем сын, сейчас возглавляет беженский приют Иудаистской общины. Эмиграция молодого человека кажется мне странной: он приехал сюда по паспорту с выездной визой, с солидным багажом, в 1939 году (уже в 1938-м даже немцам-арийцам с хорошими национал-социалистическими связями было сложно получить заграничный паспорт), указал, что переночует у Бергманов, а на следующий день уедет в Умео и приступит там к работе. Как выяснилось, это был обман: социальное ведомство заявило, что разрешения на работу не выдавалось и получить его было невозможно. Эмиграцию он мотивировал страхом перед трудовой повинностью, ибо как полуеврей рисковал, что с ним будут обходиться плохо. Он близко общается с немецко-еврейским беженцем по фамилии Филиппи. Изучает немецкий в Высшей школе. Если вам известны и интересны эти два немецких имени, я присмотрюсь к юноше внимательнее.

Ланнбю спрашивала также, не надо ли ей выяснить, имел ли Эрик Бергман в нацистской Германии возможные особые контакты, которые помогли Дитеру Винтеру обойти выездные инструкции. Согласно более позднему донесению, именно доброе

имя пастора и его церковные контакты фактически спасли Дитера, а затем и его мать. Он сумел выправить для юноши шведский паспорт беженца и тем самым уберег его от призыва в вермахт. И опять-таки имя Эрика Бергмана побудило Адольфа Эйхмана, одного из зачинщиков Холокоста, дать добро на выезд в Швецию матери, госпожи Винтер.

Роман сына с Ланнбю отнюдь не радовал Эрика и Карин Бергман. Особенно огорчалась Карин, впрочем, она вообще все чаще огорчалась по поводу отношений сына с женщинами. Можно только гадать, что бы произошло, знай они, что Ланнбю вдобавок сообщала военным и полицейским разведкам щекотливые подробности семейных обстоятельств, в частности насчет Дитера Винтера, к которому Карин и Маргарета относились особым образом. Первую дневниковую запись о нем Карин Бергман сделала в октябре 1938 года: “Письма от Винтеров из Берлина. Она просит что-нибудь сделать для ее сына, Дитера”.

В автобиографической книге “Зеркало, зеркало…” Маргарета Бергман рассказывает предысторию. Вместе с подругой Ингой-Лилль она навестила летом подругиных родственников в австрийском Брегенце на берегу Боденского озера. Инга-Лилль довольно долгое время переписывалась с Дитером Винтером и заочно влюбилась в него. На обратном пути девушки задержались в Берлине и побывали дома у Винтеров, которые прятались у матери в спальне, выходившей во двор. Окна на улицу были разбиты, на полу так и валялись осколки стекол, выбитых шайкой юных нацистов.

Мать Дитера в отчаянии рассказала, что нацисты, зная, что они по-прежнему живут в этой квартире, могут в любую минуту прийти за ними и отправить в концлагерь. Брегенцский дядя Инги-Лилль был убежденным нацистом, и через его жену Инга-Лилль узнала о преследованиях евреев, цыган, коммунистов, инвалидов. Она слышала о пытках, о внезапных ночных арестах. Много лет спустя взрослая Маргарета размышляет о невероятной наивности родителей, пославших дочерей совершенствоваться в немецком языке в тот мир, о котором определенно не знали ничего.

Госпожа Винтер рассказала Маргарете и Инге-Лилль о положении евреев. И в свою очередь попросила рассказать всем в Швеции о том, что творится в Германии. Еще она попросила во имя всего святого спасти ее сына, а он стоял в дверях и слушал. В тот миг, когда Маргарета Бергман увидела тонкое, ранимое лицо юноши и буханку хлеба в его руках, она сразу влюбилась.

Один час в этой комнате взорвал мою

> ограниченность, мой дурацкий кокон, и я всем сердцем постараюсь спасти этих двоих – мать и сына. Каким образом, я пока что не имею представления. Но, отламывая куски черного хлеба для нас и для своей матери, он ломает и мое эгоистичное и наивное “я”, избавляет меня, пусть даже ненадолго, от страха неизвестно перед чем, порожденного безопасностью, в которой я росла.

В марте 1939-го Дитер Винтер прибыл в Стокгольм. “На редкость чистый юноша лет 17–18, с легкой улыбкой, напоминающей улыбку старика, человека, который много видел и много страдал”, – записала в дневнике Карин Бергман. С приездом Винтера и участием в судьбе его семьи Бергманы непосредственно и лично вовлеклись в ход европейских событий. Даже Даг Бергман как будто бы понял, что был ослеплен своим восторгом перед нацизмом. “Неописуемо мрачный настрой витает вокруг, все охвачены полнейшим пессимизмом. Но я поневоле должен признать, что Германию необходимо разбить любой ценой, иначе никому больше не жить в мире и покое”, – писал он домой в одном из августовских писем 1939 года.

Десятого сентября скончался отец Дитера Винтера, и вечером Карин Бергман видела просто одинокого плачущего ребенка, трогательного в своем стремлении не падать духом. Вдобавок он боялся за свою мать, которая тогда еще находилась в Берлине, и в страхе горевал по разбитым иллюзиям, касавшимся едва ли не всего в жизни. Четырнадцатого сентября, когда в Германии хоронили отца Дитера, Эрик Бергман распорядился звонить в колокола церкви Хедвиг-Элеоноры.

Возлюбленный Маргареты Бергман жил с ней под одной крышей, однако зарождавшийся роман очень скоро обернулся ужасным сексуальным переживанием. Она подробно пишет об этом в книге “Зеркало, зеркало…”, где ее брат Ингмар (там его зовут Лео) объясняет, почему Дитер по-прежнему живет в семье Бергман, хотя его мать теперь тоже в Стокгольме.

> Неужели тебе не понятно, что мамаша сама влюблена в парня? Типично для ее возраста! Ей не очень-то хорошо с отцом, и вся ее дьявольская любовная энергия должна, черт побери, найти какой-то выход – пусть платонический, “сублимированный”, как она сама говорит.

О новом увлечении сына Карин Бергман упоминает в дневниковой записи, сделанной в День Люсии[17] в 1940 году.

Она следила за газетными публикациями, и скандальное бегство Карин Ланнбю из психиатрической лечебницы в конце мая 1938 года вряд ли осталось ею незамеченным:

> Стокгольмская полиция объявила в розыск 22-летнюю Карин Ланнбю, которая сбежала в понедельник из Лонгбруской больницы, где проходила лечение. По приметам, беглянка ростом 168 см, крепкого телосложения, с большими голубыми глазами, лицо овальное, щеки полные, зубы крупные, здоровые, волосы каштаново-рыжие, одета в драповое пальто до колен, темно-синюю спортивную юбку с большими черными пуговицами и двумя карманами, бежевые чулки и светлые туфли с белым рантом. В письме к матери она сообщает, что заложила кольцо, браслет и фотоаппарат, а на вырученные деньги купила другую одежду. Есть подозрения, что она намерена покинуть страну. Информацию о беглянке можно сообщить по телефону в дежурную часть полицейского участка.

Побег стал поводом для множества заметок с подробностями исчезновения, и портрет Ланнбю красовался на газетных страницах. Теперь, двумя годами позже, она была агентом Главного штаба, но Карин Бергман знать не знала об этом, когда открывала дверь подруге сына, которая пришла в гости. Вечером она занесла в дневник свои впечатления: “Странный, очень умный, энергичный, но нездоровый [неразборчиво] человек. Но почему-то мне ее ужасно жалко”.

Шпионка вошла в семью Бергман. Ходила на богослужения в церковь Хедвиг-Элеоноры, слушала проповеди Эрика Бергмана, а затем шла со всеми в пасторский дом на Стургатан. Роль Ланнбю в “Пеликане” мало-помалу перекинулась и на ее отношение к Ингмару Бергману. Судя по книге Андерса Тунберга, Карин Ланнбю беспокоилась о его здоровье, умоляла его регулярно питаться, есть полезную пищу и отказаться от венских булочек. Учила его всему, что знала о винах, и ухаживала за ним, когда его желудок бунтовал.

Карин Бергман, как обычно, следила за будничными перипетиями сына – иногда издалека, иногда с близкого расстояния. Радовалась вместе с ним его успехам, с участием воспринимала его неудачи. И прежде всего постоянно испытывала беспокойство. Если оно не находило конкретного выражения, то таилось под поверхностью. В январе 1941 года Ингмар Бергман нервничал, пал духом, и общаться с ним было совершенно невозможно. Карин не знала, куда обратиться за помощью.

В апреле Эрик Бергман был, как никогда, глубоко обижен на сына. С другой же стороны, Ингмар повез Студенческий театр на гастроли в оккупированный Копенгаген, где они играли “Пеликана”, и Карин Бергман тотчас стала гордой матерью:

> Сегодня утром в газетах написали о блестящем успехе Студенческого театра в Копенгагене. Подумать только, что за этим стоит Ингмар. Как он, наверно, счастлив! […] Сегодня он приезжал домой. Сияя от счастья. Он работал за сценой, в старом свитере и сандалиях, когда грянули овации, и не хотел выходить на аплодисменты, но режиссер Мо вытащил его на сцену, прямо в таком вот виде, и ему долго аплодировали. На банкете тот же Мо произнес в честь Ингмара отдельный тост. Я так за него рада. Хорошо бы ему теперь не подкачать и в будничной работе. В Копенгагене было чудесно. Разумеется, насколько это возможно. По возвращении у него в кармане осталось 11 эре.

В мае ее ждала сенсация: Ингмар Бергман узнал, что к осени возглавит маленький театр “Сказка” в Общественном доме (всего 99 кресел), и сказал, что думает “всерьез заняться режиссурой”.

Карин посмотрела его версию стриндберговского “Отца” и сочла постановку “наводящей на размышления и до ужаса трагичной”. “После такого вечера чувствуешь себя измученной”, – записала она.

Лето провели в Дувнесе. Там Карин Бергман нравилось больше всего, тогда как пастор всегда стремился в шхеры, к морю и лодочной жизни. Ингмар Бергман получил от шведско-финского писателя и поэта Ярла Хеммера известие, что осенью может поставить одну из его драм, однако приводил свою мать в отчаяние – “иной раз кажется, будто невозможно удержать голову над водой”, – и они часами сидели и разговаривали.

В июле сын был то спокойным, то капризным, то ласковым, то холодным. Неприступность уживалась в нем с непосредственностью.

> Ко мне он относится очень критично и все же с какой-то странной теплотой, порой чуть ли не с восхищением. Как мало от меня сейчас проку, не могу я быть такой, как надо бы, для всей этой молодежи, что окружает меня. […] Ингмар утихомирился, работает со своим театром, купается, гуляет, отдыхает. Я очень довольна. […] Ингмар теперь такой милый, что трудно с ним расстаться. Помогает с уборкой, носит воду и весь

день бодр и весел.

Судя по дневникам Карин Бергман, теперь она замечает, как любовница забирает Ингмара в свои руки.

> Карин Ланнбю все время держит его мертвой хваткой, я вижу. Бедный малыш Ингмар, сколько суровости ждет его в жизни. […] Не день, а сущее пекло, в двойном смысле. Телеграмма от К. Л. из Стокгольма с ужасными новостями для Ингмара и многочасовой разговор с ним.

О каких ужасных новостях идет речь, неизвестно.

Двенадцатого июля шпионка приехала из раскаленного Стокгольма погостить в Дувнес. Очутилась в святая святых – на даче Воромс, – и Карин Бергман казалось, что она рада. Однако она не знала, что по дороге в Дувнес энергичная Ланнбю успела доложить в Главный штаб о неком Кристере Стрёмхольме, которого встретила на перроне во время остановки в Бурленге. Стокгольмская уголовная полиция посчитала необходимым завести на него досье, его почту контролировали, и Ланнбю уже довольно долго глаз с него не спускала. Молодой человек был ровесником Ингмара Бергмана, родился всего неделей позже. Судьбы этих двух мужчин уже через несколько лет пересекутся совершенно неожиданным образом.

Согласно секретной памятной записке, составленной старшим полицейским Русквистом, Стрёмхольм четырнадцатилетним подростком вступил в 1932 году в Шведскую национал-социалистическую партию, которую возглавлял печально знаменитый Биргер Фуругорд, а затем стал членом руководимой Свеном Улофом Линдхольмом Национал-социалистической рабочей партии и руководителем ее молодежной организации “Скандинавская молодежь”. Однако, получив три месяца исправительных работ за участие в знаменитом налете на стокгольмские помещения социалистического и определенно антинацистского студенческого объединения “Кларте”, был исключен из партии. В 1936 году он создал организацию *Sine prohibitione imus ad finem*[18], куда входили гимназисты из разных учебных заведений, а задачей организации был сбор сведений о деятельности коммунистической и других левых партий.

К тому же по натуре Кристер Стрёмхольм был авантюристом чисто хемингуэевского масштаба. В 1935–1938 годах он как турист и с целью изучения искусства объездил Норвегию, Финляндию, Германию, Бельгию, Италию и Францию. Согласно

одному из полицейских источников, в сентябре 1938-го добровольцем участвовал на стороне правительства в испанской гражданской войне, сражался против русских в Финляндии зимой 1939-го и в Норвегии против немцев весной 1940-го. В полицию поступил целый ряд доносов, что-де Стрёмхольм общался с подозрительными лицами и, возможно, занимается нелегальной политической деятельностью.

Карин Ланнбю выявляла его связи, “гешефты с контрабандой оружия и нацистские делишки” и подозревала, что он отнюдь не столь безобиден, как кажется: “Он изображает мелкого фанатика, а “в сущности, просто милого и невинного парня, совершенно неспособного и т. д.”. Наверняка ему известно весьма много”.

В своих донесениях Ланнбю информирует и о его матери: “Мать Стрёмхольма, раньше имевшая много денег, теперь “как все”. Так или иначе хоть какой-то способ прижать ее, если она вправду работает на Германию и вы решите от нее отделаться”, – писала она в декабре 1939-го, а спустя два года намекала, что мать занималась проституцией: “Паршивая старая карга Класон […] вела и ведет распущенную жизнь, сделав ее источником дохода. Все близкое окружение госпожи К. и ее сына – это нацисты, громилы, женщины легкого поведения и юнцы, нередко в сочетании.

Многих можно обезвредить как “обычных” уголовников или согласно закону о бродяжничестве”.

Теперь же, с остановки на пути в Дувнес к любовнику, она докладывала Штабу:

> В Бурленге поезд стоял долго – на перроне я встретила Кристера Стрёмхольма, ожидавшего поезда на Хедемуру, поблизости от которой, в Дала-Финхюттан, расположена колония художников, куда он хочет заехать по пути в евлеские шхеры, где собирается поездить на велосипеде. Затем он проедет из Мартинсбударна под Идре в Эльвдален, что в 20 км от норвежской границы. До того он уже побывал на Готланде, приехал туда как раз накануне 22/4. Прикрытие: пейзажные эскизы с натуры. Его новая позиция: “Я теперь не нацист, это в прошлом”. Минувшей весной он был призван на сборы в районе Ваксхольма, служил на небольшом катере, контролирующем морские сообщения, “изучил шхеры вдоль и поперек”.

Двадцатитрехлетие Ингмара Бергмана отпраздновали на день раньше, но, как всегда, в воскресенье, и он был трогательно

счастлив по поводу всех сюрпризов. Карин Ланнбю, отметила в дневнике Карин Бергман, весь день казалась спокойной, веселой и скромно счастливой. Тем не менее она очень ей сочувствовала: “Мне от души жаль эту девушку”.

Следующий день прошел спокойно и безмятежно. Карин Бергман с облегчением наблюдала, что влюбленные сумели стряхнуть с себя городскую спешку, тревогу, нервотрепку, неприятные переживания и жили среди природы как счастливые дети. Но болезнь Ланнбю и нервозность сына печалили ее, и она чувствовала свое полное бессилие. Могла разве только постараться относиться к обоим по-доброму. Когда через несколько дней они уехали в Стокгольм, после сына осталась гулкая пустота. “Таким, как сейчас, по-детски славным и добрым, я долго его не увижу. Знаю, что бывает, когда великая битва берет его в тиски”.

День-другой спустя почта доставила два письма. Одно от Карин Ланнбю, которая благодарила за прием, второе – от сына. Язвительное, насыщенное сарказмом, и речь шла, в частности, о том, где ему жить. Пока что он по-прежнему обретался у доброго друга Свена Ханссона, а родители как будто бы хотели, чтобы он вернулся домой или, по крайней мере, питался дома, но у Ингмара Бергмана были совершенно другие планы. В порядке исключения это письмо написано на машинке и оттого кажется более официальным, чем прочие, не слишком разборчивые письма, какие он писал от руки; машинопись словно делала послание более действенным, не позволяла вечно встревоженной матери от него отмахнуться:

> О комнате. Я искренне благодарен, что вы так великодушно заботитесь о спокойствии моей учебы. Но у меня есть другое предложение. Поскольку Ханссоны, кажется, не собираются повышать плату за эту нору, я предпочел бы пока остаться здесь. Что же до завтраков и обедов дома, то затея просто ужасная, вызванная, вероятно, вполне понятным желанием контролировать мои утренние привычки, которые, как я охотно, но без раскаяния соглашусь, ужасны. Все это приведет лишь к бесконечным ссорам, брюзжанию и жалкому вынужденному вранью, поэтому я бы с радостью предпочел уладить дело иным, более разумным способом. Скажу так: лучше буду ходить в старом сером костюме, пока он сам с меня не свалится, чем отираться по утрам среди семейства Бергман. Я рассчитываю, если получится, скооперироваться с приятелем и снять здесь

двухкомнатную квартиру, за 40 крон в месяц с каждого. А тогда очень даже логично использовать оставшиеся деньги на упомянутые завтраки. Десять крон я и сам пожертвую на алтарь домашнего спокойствия. Вот и необходимые 30 крон. Если высокий семейный совет отвергнет этот дружеский план, я буду знать, что деньги на завтрак урезаны не из экономности, а по куда более некрасивым мотивам. Это о жилье. О костюме. Или костюмах. В письме об этом мама просила скромно, поэтому и я отвечу скромно. Я проверил нынешнее состояние серого костюма. Пиджак в порядке. А вот брюки безусловно пора списывать со счетов, они годятся разве что на лоскутное одеяло. Я уверен, что нынешней осенью вполне обойдусь без нового костюма. С финансами у вас, как я слыхал, туго, так что лучше отложить покупку до лучших времен. Короче говоря, я не сочту себя “обманутым”, не получив осенью нового костюма. Приеду в Даларну в брюках гольф, блейзере и высоких башмаках. А так как мне, наверно, придется везти с собой в сумке половину городской библиотеки и всю гуманитарную, я не собираюсь брать что-то еще, по-моему, это совершенно излишне. Черный плащ вполне сгодится, а желтый я поберегу. Это об одежде. О себе рассказывать сейчас особо нечего. Осень для меня всегда самое лучшее, но и самое трудное время года. Сейчас я целиком и полностью занят написанием курсовой. Иногда идет хорошо, и я чувствую себя превосходно, иногда не ладится, и тогда я впадаю в уныние и спрашиваю себя, а стоит ли корпеть над учебой. Вечерами репетирую в театре, утром хожу прогуляться к южным холмам, Шиннарвиксбергу и переулкам Клары. Настроение крайне переменчивое. Но в глубине души я невероятно счастлив, а главное – энергичен. Радуюсь как ребенок поездке в Воромс. Считаю дни и всем сердцем надеюсь, что обойдется без скандалов по поводу денег, жилья и одежды. Иначе сразу уеду. Это не угроза, я просто прошу отнестись терпеливо к мамину преданному Мальцу. P S. Выезжаю поездом в 11.25 седьмого сентября.

Судя по обстоятельствам, в его предложении снять квартиру пополам с “приятелем”, которому тоже негде жить, речь шла о том, что он хотел съехаться с Карин Ланнбю. Карин Бергман не знала, что и думать, и сетовала в дневнике: “Какой уж тут отдых,

я все больше убеждаюсь, что мне отдых заказан”. Она размышляла всю ночь, наутро спозаранку позвонила сыну и сказала “нет”.

Ингмар Бергман все время занимался своими постановками, и Карин Бергман внимательно следила за его работой. В сентябре 1941 года, став свидетельницей транзитной перевозки немецких солдат-отпускников через Швецию по железной дороге (“Немецкие эшелоны в Крюльбу задержали нас”), она посмотрела в театре “Сказка” “Сонату призраков”. Это была первая постановка для взрослой публики, сделанная Ингмаром Бергманом в Общественном доме, и на другой день после премьеры в газетах пестрело его имя, гордо отметила она. Сама пьеса показалась ей причудливой и страшной, однако она понимала, что в подходе сына “есть что-то от подлинного художника”. Хотя мечтала, чтобы он начал ставить пьесы с позитивным содержанием. “Думаю, когда-нибудь он сможет сделать что-нибудь вправду большое”.

За несколько дней до премьеры Карин Бергман пригласили на ужин в новую квартиру Карин Ланнбю, где жил теперь и ее сын. Она отправилась туда со смешанными чувствами, но молодая пара постаралась обеспечить домашний уют, хотя меблировка отличалась спартанским минимализмом. После она записала в дневнике, до чего необычно было видеть Ланнбю в роли хозяйки, а Ингмара – в роли ее фактотума.

Гостья отблагодарила, пригласив Карин Ланнбю отужинать на Стургатан. Эрик Бергман за столом демонстративно молчал, словно подчеркивая, что не одобряет связь сына с этой женщиной. Позднее Ингмар Бергман не преминул поговорить с матерью о невежливом поведении отца, в свою очередь Карин Ланнбю тоже поговорила с госпожой Бергман, правда, скорее посетовала на душевное состояние своего возлюбленного и на запутанные семейные отношения. “Мне от души жаль девушку, но Ингмар не может с нею разобраться”, – записала Карин Бергман в дневнике.

Однако связь начала давать трещину. В семистраничном рукописном рассказе без названия (1942) Ингмар Бергман описывает жизнь в крохотной квартирке, где почти всё, и в первую очередь, пожалуй, сами взаимоотношения, пропитано дымом: “Я устал от тебя и твоей журналистской писанины. Устал от тебя, от запаха духов и еды, от сигарет и окаянной пишмашинки”.

В драматургическом творчестве Бергмана обнаруживается множество женских характеров и сцен, где, по всей вероятности, отразились черты Ланнбю и его бурного романа с ней. В

известном смысле можно рассматривать эти описания как бергмановскую манеру если и не отомстить в искусстве, то хотя бы взять реванш. Давая свою версию отношений, он позволяет себе литературные вольности, и все-таки зачастую впечатление оказывается не в его пользу. Однако рассказ его, вот что важно.

Если перевести означенные сцены в реальность, складывается такая картина: Бергмана терзала ревность, в особенности к прежней жизни подруги, и он глаз с нее не спускал, следил за ней даже на улице. Они ссорились, расходились и опять мирились, перепуганные тем, что причиняли друг другу. Он шпионил у ее квартиры и, подобно легкомысленному мужчине, наведывающемуся в бордель, наведывался к Ланнбю, которая безоговорочно исполняла его желания. Привязанность Бергмана к ней в конце концов стала тяготить обоих. Он сделался этакой собакой на поводке у хозяйки, то есть у Ланнбю, и терпел бесконечные унижения.

В раннем наброске для “Волшебного фонаря”, позднее вычеркнутом, но воспроизведенном в книге Маарет Коскинен “В начале было слово”, Бергман описывает продолжавшийся несколько дней грандиозный скандал, который достиг кульминации, когда голая, избитая Ланнбю норовила ударить его кухонным ножом. Бергман швырнул в нее табуретку и попал. Она выронила нож и упала. Лицо побледнело, тело судорожно задергалось. “Я обнаруживаю, что душу ее, бью головой об пол и что вошел в нее и она хочет, чтобы я убил ее, и я вот-вот исполню ее желание”.

Когда Ингмар Бергман получил приглашение в театральное турне по южной Швеции, он согласился, хотя Ланнбю его отговаривала. Он закончил литературную учебу и порвал с любовницей. Турне потерпело неудачу, и он, пристыженный, вернулся к злорадствующей Ланнбю, которая уже завела нового любовника. В тесную однокомнатную квартирку Бергмана все же впустили, и несколько ночей он мучился в этом *menage a trois* [19].

В итоге его вышвырнули, “с фонарем под глазом и с растяжением большого пальца”. Ланнбю устала от такой ситуации, а соперник оказался посильнее Бергмана.

В октябре в театре снова состоялась премьера. Шекспировский “Сон в летнюю ночь”. Газеты взахлеб писали о “молодом Ингмаре Бергмане”, на которого возлагали большие надежды. Карин с Эриком сочли постановку прелестной, “пожалуй, самой красивой из всего, что он ставил до сих пор. Малыш Ингмар, пусть Господь защитит его во всем и вопреки всему!”

На Рождество 1941 года Карин наблюдала, как сын, опять

переехавший на Стургатан, наслаждается отдыхом и возвращением домой. И не напрасно. Новый год принес большие перемены. Его творческая фантазия буквально била ключом, а за углом ждала новая женщина.

“Благослови Господь Эльсу и Ингмара”

В жизнь Ингмара Бергмана она вошла буквально танцуя. Эльсе Фишер недавно сравнялось двадцать четыре, она слегка напоминала Бетт Дэвис и была на несколько месяцев старше мужчины, который скоро будет принадлежать ей.

Жила она в Стокгольме, вместе с матерью, Эйвор, и сестрой, Ранди, и только-только вернулась из Копенгагена, где целый месяц выступала с комическим сольным номером. Она окончила балетное училище, получила диплом балетного педагога, а в 1939-м участвовала в бельгийском *Concours International de Dance*[20] в Брюсселе, где заняла пятое место с тремя сольными номерами в собственной хореографии. Не помешай Вторая мировая война, успех в Брюсселе мог бы стать началом международной карьеры.

Теперь ей пришлось делать ставку на продвижение в родных краях. Она находила себе эпизодические ангажементы как танцовщица и хореограф и искала помещение, достаточно просторное, чтобы создавать новые балетные номера. В начале марта 1942 года она посетила новопостроенную Роламбсховскулан на Кунгсхольме, известную светлыми залами и большими красивыми росписями лестничных шахт, выполненными Эйнаром Юлином. Фишер надеялась наконец найти то, что ищет.

И там, к своему удивлению, она вдруг увидела, как из директорской канцелярии выходит знакомая фигура. Годом раньше Ингмар Бергман приглашал Фишер в театр “Сказка” для постановки хореографических номеров в “Синей птице” Цакариаса Топелиуса. Рекомендовала ее Карин Ланнбю, игравшая в этом спектакле. Сама того не подозревая, она привела в дом будущую соперницу.

Можно предположить, что встреча стала для обоих приятной неожиданностью. Когда Фишер и директор Роламбсховскулан пошли подбирать подходящий зал для ее хореографических занятий, Бергман двинул следом. Немного погодя она почувствовала, как он кончиком пальца изобразил на спине ее черного мехового жакета вопросительный знак. Много лет спустя в письме к американскому сценаристу и историку кино Фрэнку Гадо она так рассказывала об этой встрече:

> Наверно, он задавался вопросом, нельзя ли привлечь

меня к его майской театральной постановке. Ведь именно этим поинтересовался, когда вечером позвонил мне по телефону. Предложил сделать пантомимную программу для театра “Сказка”. Я ужасно обрадовалась, попросила его зайти и обсудить идеи. “Приглашаю на чай”, – сказала я. “Согласен, а я прихвачу пирожных”, – ответил он.

Это была встреча двух родственных душ. Эльса Фишер рассказала, как они с сестрой Ранди, еще до поступления в частную балетную школу, играли дома в театр. Играли экспромтом, без готового текста, причем одна из пьес насчитывала тринадцать актов. А вот другая пьеса, “Цирковая танцовщица”, по мысли Эльсы Фишер, вполне могла бы подойти для спектакля в “Сказке”. Слушая ее рассказ, Ингмар Бергман, вероятно, невольно вспомнил кукольный театр, в который играл с сестрой, и собственные пьесы.

В мае начались репетиции фишеровской пантомимы, которую назвали “Клоун Беппо”. Фишер часто отождествляла себя с двойственной натурой клоуна, и ей нравилось, что газеты именовали ее единственной клоунессой в Швеции, а ее сольный номер в Брюсселе носил название *Sorrow* [21], ведь глубинная суть клоуна именно печаль. Ингмар Бергман не просто восхищался ею как артисткой. Он в нее влюбился. В “Волшебном фонаре” он пишет, что ее считали очень талантливой, милой, остроумной, обладающей незаурядным чувством юмора. Какую характеристику дал бы ей он сам, неясно; во всяком случае, в его мемуарах нет ни намека, что несколько удивляет, обычно-то он обожает развлекать публику сочными описаниями физических качеств женщин, сопутствовавших ему в жизни.

В книге он вообще уделяет первой жене крайне мало внимания. Она кажется скорее мимолетной задержкой по ходу рассказа.

Поначалу Эльса Фишер не замечала, что происходит. Казалось, она целиком сосредоточилась на работе. И совместная работа шла у них очень хорошо. На спектакле “Клоун Беппо” Ингмар Бергман отвечал за музыкальное сопровождение. Сидел на усилителе и менял грампластинки, которые Фишер выбрала для балетных номеров.

Карин Ланнбю по-прежнему служила в театре, и Ингмар Бергман признавался Фишер, что ситуация становится все запутаннее. “Почему же ты ее не уволишь?” – спросила она. “Не могу. Театр без нее не обойдется”. Это правда, но не вся. Хотя их

роман закончился и из квартиры Ланнбю в Сёдере он переехал на Грев-Турегатан, однако Ланнбю его не отпустила. Все время названивала ему, пока он жил у родителей на Стургатан, и Карин Бергман пишет в дневнике об “ужасных переживаниях из-за К. Л.”. Она ужасно боялась за сына, когда он словно в черной туче, нахлобучив на голову студенческую фуражку, уходил в стокгольмскую ночь.

В день премьеры “Клоуна Беппо” она записала: “Все у него еще запутаннее, чем когда-либо, и я поневоле спрашиваю себя, нет ли во всем его образе жизни чего-то ущербного, больного, двойственного. Но может быть, какой-нибудь хороший человек поверит в него и поможет ему, раз уж я не в силах”.

“Клоун Беппо” имел успех. “Изящество и артистическое мастерство”, как писала газета “Социал-демократ”, по мнению которой Бергман и Фишер прекрасно использовали ограниченное сценическое пространство, создав “балетную драму миниатюрного формата”. Карин Бергман побывала вместе с дочерью на одном из последних представлений. “Изящно и очаровательно, – пишет она в дневнике, но добавляет: – Странное дело, Ингмар способен создавать такие восхитительные вещи и одновременно быть совершенно беспардонным”. Можно лишь гадать, как ее постоянное беспокойство и резкие слова влияли на взаимоотношения с сыном.

Когда занавес опустился в последний раз, Эльса Фишер выехала в турне по народным паркам как танцовщица в фольклорной пьесе, где участвовали несколько оперных певцов и четверо музыкантов, исполнявших шведскую народную музыку. Временно безработный режиссер расстроился. “У тебя есть профессия, а у меня нет”, – сетовал он. В каждом народном парке Фишер ожидало письмо от все более тоскующего Бергмана. На праздник середины лета [22] он встретился с Эльсой в одном из городишек, где выступала труппа, и сделал ей предложение. Спросил: “Рискнешь выйти за меня?”

Вопрос оправданный. Карин Ланнбю действительно раньше была для него той паяльной лампой, какую он описывает в “Волшебном фонаре”, – он не раз утверждал, что в бешеном темпе написал двенадцать пьес и одно оперное либретто, – однако она так и не ушла из его жизни. В новелле “Пазл изображает Эроса”, написанной четыре года спустя и положенной в основу сценария фильма “Женщина без лица” Густава Муландера, он более или менее совершает литературное убийство вымышленной “Рут Кёлер”, прототипом которой, по сути, послужила Ланнбю, а точнее, его представление о бывшей возлюбленной. В новелле Ланнбю/Кёлер – “распутная бабенка, садистка”, женщина с

“опасными вспышками жестокости, истерии и эротомании” – характеристики крайне резкие, напоминающие расистский лексикон нацистов и презрение к женской сексуальности, обычное в XIX веке (чтобы сделать фильм приемлемым для тогдашней публики, Муландер смягчил чересчур грубые описания).

Порвать с такой особой очень непросто. Ланнбю не желала отпустить Ингмара Бергмана. Она кипела от злости, потому что потеряла его, и выплескивала “на меня всю ложь и все ожесточение”, писала в дневнике Карин Бергман. Помимо тревоги по поводу “дел” сына, что обыкновенно означает попросту катастрофическое безденежье, родителей пугали упорные попытки Ланнбю устраивать ему неприятности. “К. Л., похоже, не желает возвращать книги, и придется, видимо, обратиться к юристам”, – писала Карин Бергман в июле, а несколько дней спустя: “Трудный и тягостный день. Ингмар упрямится и ничего слушать не хочет. В конце концов отношения с К. Л. без адвоката не утрясти”. Остановить “буйство” Ланнбю удалось, вероятно, лишь юридическим путем. Как все это происходило, неизвестно, однако из дневниковых записей Карин Ланнбю в июле исчезла, ее место заняла Эльса Фишер – светлое будущее сына. Так, во всяком случае, надеялась Карин Бергман.

В июле Ингмар Бергман побывал в Дувнесе и попросил у матери разрешения съездить в Эребру, чтобы встретиться с Фишер, которая по-прежнему гастролировала в народных парках. Карин Бергман поддержала его, чувствуя, что так будет лучше всего. Ему вот-вот сравняется двадцать четыре, он совершеннолетний и имеет полное право распоряжаться своей жизнью, хотя в ту пору сыновей не считали взрослыми, пока они не создали свою семью, не имели постоянного дохода и жилья. “Порой он как ребенок, ласковый и преданный, а порой – страшно далек и прячет свою душу в этаком панцире. Господи, отдаю его в руки Твои. Я знаю, они милосердны, даже когда суровы”.

Когда труппа добралась до Йёнчёпинга, Ингмар Бергман и Эльса Фишер поселились в гостинице. Там нашелся только один свободный номер, и они спали в одной постели, тогда-то, как много лет спустя Ингмар Бергман рассказывал дочери Лене, Фишер и лишилась невинности.

Фишер тоже посетила Воромс, и Карин Бергман встретила ее весьма тепло. Ингмар Бергман пребывал в хорошем настроении – сияющий и обаятельный. Они гуляли, и Фишер наслаждалась красотами природы в окрестностях красного дачного дома, расположенного на небольшой возвышенности, окруженной березами, неподалеку от железной дороги.

Они сообщили Карин Бергман, что собираются пожениться, и та, кажется, не возражала против Фишер как будущей невестки. Но все же сомневалась. Не знала толком, что думать о “приме-балерине”, как она с легкой снисходительностью называла ее в дневнике.

> В ее личности сразу чувствуется мир театра, но, возможно, в глубине это скромная и чистая душа. […] По-моему, в ней есть толика подлинной силы, да и Ингмар привязан к ней – пожалуй, глубже, чем раньше”.

Ингмар Бергман рассказал матери, как они с Фишер познакомились, и Карин испугалась, как много раз прежде, но решила пока надеяться: “быть может, это все же правильный путь”. Если Карин Ланнбю служила Ингмару Бергману музой и вдохновляла его драматургию, то Эльса Фишер стала для него новой творческой ступенью. Одним из тех, у кого на глазах она вошла в жизнь Бергмана, был семнадцатилетний Вильгот Шёман, гимназист из Норра-Латин [23]. Гимназическое литературное объединение “Конкордия” пригласило Бергмана режиссировать “Сон в летнюю ночь” Шекспира для новогоднего праздника 1942 года. Шёман получил роль герцога Тезея, Эрланд Юсефсон играл Оберона. Пьеса, как полагал Бергман, требовала толику музыки и танцев, и очень скоро он стал приводить с собой на репетиции Эльсу Фишер, чтобы юные артисты научились кое-каким танцевальным па. Шёман догадался, что Бергман и Фишер влюбленная пара. Но держались они скромно, пишет он в мемуарах “Мой именной указатель. Избранное ‘98”. “Не было ни особых интонаций, ни особых прикосновений; они умели разделять – работа была работой. Так что на репетициях оба вели себя скорее как товарищи. Эльса – блондинка, с легкими, прямо-таки летящими движениями. Само собой! Она ведь была балериной. Но светлое в ней казалось бледным, даже разрежённым, тогда как он был резким и темным, и по голосу, и по внешности. Господи, до чего же они были разные!”

Эльса Фишер с трудом разбирала письма Ингмара Бергмана, вдобавок рядом с подписью он обычно рисовал чертика. Впечатление не очень-то приятное, и она думала, уж не хочет ли он продемонстрировать ей свою демоническую сторону. Ведь ей запомнилось, что как-то раз на прогулке в дувнесских лугах Ингмар Бергман сказал: “Ты наверняка попадешь в рай. А я в ад”.

Одно из писем было толще прежних, в конверте лежал сценарий, о котором он хотел узнать ее мнение. Это была инсценировка по мотивам “Попутчика” Х.-К. Андерсена, истории

о бедном крестьянском парне, который, разыскивая увиденную во сне принцессу, видит, как возле церкви глумятся над покойником, оплачивает его похороны и в благодарность обретает попутчика, помогающего ему в дальнейшем одолеть всякую чертовщину. В бергмановской интерпретации история рассказывала о молодом человеке, странствующем по жизни с постоянным спутником – *смертью.*

Эльса Фишер никогда не слыхала, чтобы Ингмар говорил о страхе смерти, но вот он здесь, черным по белому. Во всяком случае, она истолковала пьесу именно так, и бергмановские чертики в письмах, а равно и даларнский комментарий определенно усилили такое впечатление.

Бергману обещали постановку “Попутчика” в Студенческом театре, но буквально перед самым началом репетиций он передумал. Теперь хотел поставить “Смерть Каспера”, одну из пьес, написанных им летом; как он весьма самокритично пишет в “Волшебном фонаре”, она представляла собой бесцеремонный и “беспардонный плагиат из “Касперова карнавала” Стриндберга и “Старинной игры об Энваре”. Идея пьесы возникла у него, когда дома у Эйвор, матери Эльсы Фишер, они дискутировали об Отце небесном. Эльса рассказала, что шестилетней девочкой представляла себе Бога симпатичным бородатым стариком, сидящим на облаке, в таком же кресле рококо, как у мамы в салоне. Не слишком оригинальное представление о Творце, однако оно явно разбудило вдохновение.

На Стургатан Эрик и Карин отметили двадцатидевятилетие своего брака. Вечер начался хорошо, Эрик пришел с цветами. Но тем веселье и кончилось. Между пастором и сыном из-за чего-то разгорелась серьезная стычка, “со всеми вытекающими отсюда тяжелыми последствиями для семьи”. Наутро, в воскресенье, Ингмар Бергман держался особняком, раздраженный, явно нервничая перед назначенной на четверг премьерой “Смерти Каспера”.

Пьеса получила смешанные отзывы, но главное – он становился режиссером и драматургом, которого пора принимать всерьез. Вместе с Дитером Винтером Карин Бергман побывала на спектакле и с чисто материнским прагматизмом отсеяла слишком негативные рецензии: “Невероятно отвратительно и тем не менее глубоко трогательно. Это попросту он сам. […] Сижу тут вечером одна с кучей вырезок из сегодняшних газет. В общем, Ингмаров дебют в качестве автора и режиссера оказался большим успехом. Он мало-помалу создает себе имя. Удивительно и не верится, не укладывается в голове, что Ингмар так рано станет знаменитым. я рада. но до чего же мне страшно!”

Она порадовалась “замечательному” интервью с портретом в домашней газете “Свенска дагбладет”. На вопрос о планах на будущее сын ответил: “Планы неопределенные, но ориентированные главным образом на режиссуру. Как ассистент в Опере я за год накопил некоторый практический опыт, а в настоящее время пользуюсь прекрасной возможностью сотрудничества с профессором Добровейном при постановке “Бориса Годунова”. В заключение мне хотелось бы поблагодарить актеров, участвовавших в “Смерти Каспера” – они работали превосходно, – и напомнить, что состоится еще два спектакля, в субботу и в воскресенье. Одобрение прессы, конечно, приятно, но немножко поощрения со стороны публики все же не повредит”.

Его услышали, даже более чем. На последнем спектакле среди публики находились три человека, которые сыграют в жизни Ингмара Бергмана очень важную роль. Это Херберт Гревениус, критик из “Стокгольмстиднинген”, отнесшийся к постановке в меру одобрительно и впоследствии ставший одним из близких друзей режиссера, а также глава кинокомпании “Свенск фильминдустри” Карл Андерс Дюмлинг и руководитель сценарного отдела компании Стина Бергман, вдова прославленного писателя Яльмара Бергмана и искательница новых талантов.

Она прочитала газетную статью о молодом человеке, подготовившем премьеру в Студенческом театре, и обратила внимание на такую оценку: “Будущее покажет, который из его талантов самый большой – драматургический или режиссерский”. Молодым человеком был Ингмар Бергман. Поскольку же недоставало и драматургов, и режиссеров, ей стало любопытно, и она позвонила ему домой. Когда Карин Бергман ответила, что сын еще спит, она очень удивилась.

> Уже то, что на другой день после премьеры он спал, а не бодрствовал над утренними газетами, было примечательно. Я попросила, чтобы он позвонил мне, когда проснется. Он позвонил и крикнул в трубку: “В чем дело?” Ага, подумала я, вот ты какой! Заговорила голосом мягким, как овсяная каша, чтобы не напугать сердитого, и попросила в течение дня зайти ко мне”, —

рассказывала Стина Бергман много лет спустя в интервью журналу “Нутид”.

Ингмар Бергман пришел-таки в контору Стины Бергман. “Небрежный и невежливый, дерзкий и небритый, с издевательским смехом, рожденным в самом мрачном круге ада, он, настоящий лицедей, распространял нахальное обаяние,

причем настолько убийственное, что после трехчасового разговора мне пришлось выпить три чашки кофе, только тогда я смогла вернуться к заведенному распорядку". Статья в "Нутид" вышла в сентябре 1955 года, и цитата служит прекрасным примером, как с годами вокруг Ингмара Бергмана выстраивался миф. Он предстает здесь как едва ли не сверхъестественное явление, и образ еще набирает яркости оттого, что нарисован женщиной, которую саму окружали сила и ореол покойного супруга.

Стина Бергман предложила ему место обработчика сценариев и сценариста в "Свенск фильминдустри" – для Ингмара Бергмана шанс поистине фантастический. Он надеялся в будущем стать режиссером Королевской оперы, но пока что вел непрочное существование как практически неоплачиваемый ассистент режиссера и суфлировал "Орфея в аду", получая тринадцать крон за спектакль. Зато контракт со "Свенск фильминдустри" обеспечивал ему круглогодичную работу, полностью оборудованный офис в центре Стокгольма, с телефоном и видом на крыши вокруг Кунгсгатан, а также ежемесячное жалованье в 500 крон. Устоять невозможно. Бергман согласился. Вместе с еще четырьмя молодыми людьми из отдела Стины Бергман он должен был доводить до ума чужие киносценарии и писать свои. Карин Бергман решила, что с новой работой в жизни сына наметился просвет:

> Все это непостижимо и как-то нереально. Сегодня он заходил к Эрику, и на сей раз ситуация между ними уладилась. Только бы осталось спокойно. Оба они ужасно страдают от подобных контроверз. […] Ах, пусть мои мальчики станут вправду хорошими людьми! […] Сегодня Ингмар подписал контракт со "Свенск фильминдустри", что обеспечит ему месячное проживание в Сигтуне, если за это время он напишет им сценарий. Иными словами, все это эксперимент. Если результат окажется хорошим, Ингмар получит за свою работу значительно большую сумму. Он невероятно радуется свободному месяцу и рассчитывает достаточно много сделать и для себя. Правда, мне кажется, таланты Ингмара годятся скорее для театра, чем для кино. Тем не менее я довольна. Сегодня вечером Эрик идет смотреть его пьесу. Поглядим, что он скажет.

Один из собственных сценариев, представленных Стине Бергман, Ингмар Бергман в свое время показывал Эльсе Фишер. По обыкновению, он был написан чернилами от руки в синем

блокноте, какими пользуются школьники, а речь там шла о молодом человеке, учащемся, которого донимает злобный латинист, и о любви их обоих к “плохой” девушке. Эльсе рассказ понравился, и она полагала, что ему стоит когда-нибудь его использовать. Теперь такой случай представился. Бергман принес сценарий Стине Бергман, и продюсер Густав Муландер и главная шишка Карл Андерс Дюмлинг дали добро.

Через два года “Травлю” запустили в производство.

В начале осени Карин и Эрик Бергман пригласили будущую невестку на ланч в пасторский дом на Стургатан. Трапеза оказалась традиционно простой и состояла из чая с бутербродами, который обычно подавали, когда пастор заканчивал утренние труды в своей канцелярии. Эльса Фишер сильно нервничала. Что подумает о ней, простой балерине, эта консервативная христианская семья?

Опасалась она напрасно. Эрик и Карин Бергман встретили ее очень приветливо, и она, похоже, снискала их одобрение. В октябре пришло приглашение от Эйвор, матери Эльсы Фишер, художницы по тканям и преподавательницы Художественно-промышленого училища, впоследствии Профессионального художественного училища. И через два дня она принимала у себя пастора и его жену по случаю помолвки детей. Все прошло чрезвычайно удачно. Карин Бергман была ужасно довольна и в знак того, как она верит в предстоящий союз, подарила будущей невестке один из своих перстней, изящное украшение с сапфирами.

Карин Бергман с удовольствием наблюдала за Эльсой Фишер в ее красивом, со вкусом устроенном родном доме и радовалась, что сын встретил такую чистую, хорошую девушку. Контраст с его губительным романом с Карин Ланнбю был огромным, и она благодарила Бога. Любовные истории сына мало-помалу закаляли ее, но все-таки она молилась Всевышнему, чтобы сын наконец осознал свою ответственность и действовал соответственно. Позднее она написала Эйвор Фишер письмо, где выразила радость, что Ингмар теперь принадлежал к окружению этой элегантной женщины.

Обе семьи стали часто общаться, и нередко все шло прекрасно. Карин Бергман имела все основания испытывать удовлетворение. Фишеры были люди “душевно тонкие” и свободомыслящие. Особую симпатию у нее вызывала Эйвор Фишер, которая лучилась добротой, и если уж кто мог помочь ее сыну, то именно Эльса и ее мать.

Однако на Эрика Бергмана положиться никак нельзя. Как-то

за обедом на Стургатан у него возникли разногласия с сестрой Эльсы, Ранди, которая училась в Техническом училище, а теперь занималась в Академии художеств, у профессора Исаака Грюневальда, ведущего представителя шведского модернизма. Карин Бергман опасалась за судьбу этого вечера, поскольку Фишеры придерживались более свободных взглядов, нежели они сами. Из-за чего в точности произошла стычка, неясно. Хотя в целом вечер все же оказался приятным.

Поженились Ингмар Бергман и Эльса Фишер в марте 1943 года, когда обзавелись собственной квартирой. Располагалась она в Абрахамсберге, в предместье на севере Стокгольма, которое Бергману, как пишет в своей книге “Страсть и демоны” Микаель Тимм, очень не нравилось. Вечерами они играли сонги Бертольта Брехта и читали вслух “Винни-Пуха”. За неделю до свадьбы Бергман сбежал, вероятно от страха перед серьезным шагом в юридически узаконенную и благословленную Богом семейную жизнь, но взял себя за шкирку и вернулся.

Венчание состоялось 25 марта в церкви Хедвиг-Элеоноры, и провел обряд конечно же Эрик Бергман. Карин Бергман видела очаровательную невесту и сияющего жениха. Церковь была украшена по-весеннему нежными березовыми ветками. Алтарь в красно-белых покровах, подружки невесты в голубом и розовом. Гостей собралось множество, пел хор Местер-Улофсгордена в полном составе. Дитер Винтер и близкий друг Рольф Огрен были шаферами. Эйвор Фишер устроила у себя в доме прием, изысканный и красивый. Хозяева и свекровь произнесли речи в честь новобрачных, как и Эрик Бергман.

Свою речь он написал карандашом на четырех страницах, с множеством зачеркиваний и поправок. Почерк твердый, с наклоном вправо, не оставляющий места сомнениям. В начале он сказал, что понимает, как много значат в родне женщины и как рад, что сыновья, искавшие и нашедшие себе жен, теперь обеспечили семью новой кровью и эти женщины имеют все предпосылки стать своим мужьям опорой и поддержкой. А когда настанет их черед, они со всей ответственностью будут стойко нести тяготы и жертвы.

Далее он напомнил о ночной беседе, состоявшейся накануне у них с Ингмаром, когда они говорили об огромном значении, какое имела для Ингмара бабушка, Анна Окерблум. Затем он повел речь о невестке и о том, чего от нее ждут:

> Мы говорили о большом даре, который достался тебе в лице Эльсы, и ты сказал: “Ведь, кроме того, я впервые полностью и безоговорочно вручаю себя другому

человеку”. И теперь я хочу сказать Эльсе, я так благодарен, что ты позаботишься о нем, что, как говорится, “женка ему опорой станет” [цитата из “Пера Понта” Хенрика Ибсена. – *Авт.]*. Уже сейчас мы все заметили, что Ингмар сумел достичь много такого, чего прежде не мог. Стало быть, ты присутствуешь во всех его делах и творчестве, а это делает его по-новому счастливым и уверенным. Возьми его, Эльса, и помоги ему идти дальше. Заполни все пробелы, какие я заполнить не смог, раскрой любовью все возможности, что готовы расцвести и дать плоды. Ты милое, умное, чистое дитя. Если кто и способен помогать Ингмару, то именно ты! Благослови Господь Эльсу и Ингмара.

Медовый месяц ограничился несколькими днями в гётеборгском отеле. Ингмар Бергман снял номер с гостиной и спальней и, по словам жены, очень гордился, как он все устроил. Много позже Бергман комментировал, что все это, сиречь брак, было ребячеством. “Мы не были взрослыми, но, пожалуй, хотели показать себя такими”.

Двадцать первого декабря родилась дочь Лена. В “Волшебном фонаре” Бергман на редкость немногословен по поводу этого большого события. Он просто отмечает: “В канун Рождества 1943 года родилась дочь”. Даже точной даты не помнит. Не мешает обратиться к дневнику Карин Бергман, чтобы составить представление хотя бы о том, как она восприняла тот факт, что ее сын впервые стал отцом:

> Сегодня вечером произошло замечательное событие. У Ингмара и Эльсы родилась дочка. Ингмар звонил сегодня несколько раз, а Эльса уже с четырех утра находилась в родильном доме. Трудный день для них обоих, но теперь мы все невероятно довольны. Боже, храни малышку! […] Эльса бодра, малышка прелестна, Ингмар счастлив.

Другие дневниковые записи тоже свидетельствуют об эмоциональном состоянии Ингмара Бергмана: “Эльса, и младенец, и счастливый Ингмар. Спасибо, что я могу запомнить всех троих такими, какими видела сегодня вечером”, “Ингмар приходил домой обедать. Веселый и счастливый – радуется Эльсе и малышке”. Карин и Эрик Бергман подтверждают: счастливая маленькая семья лучилась гармонией. Однажды за обедом в пасторском доме Карин видела “радостные, влюбленные, счастливые” отношения. И в другой раз: “Сегодня была у Эльсы,

которая отмечала день рождения. Эрик был на седьмом небе, глядя на совершенно очаровательную малютку, которая агукала и потягивалась. Ингмар в Росунде[24], работает, Эльса свежа и прелестна, как роза. Ах, пусть у них всегда будет так же”.

Увы, так не будет.

Брита Клара Алиса Августа Флоранс фон Хорн. Такое имя обязывает. Но она ведь и была дочерью камергера Хеннинга фон Хорна и его жены Флоранс, происходившей из знатного рода Бонде.

Однако ж как писательница и драматург Брита фон Хорн вовсе не консервативна. Напротив, она была радикалкой, когда в 1940-м, в пятьдесят четыре года, стала инициатором создания Студии шведской драматургии, в просторечии Драмстудии, экспериментального театра, обретавшегося на случайно арендованных стокгольмских сценах и гастролировавшего в провинции. Создавая этот театр, Брита фон Хорн ставила перед собой задачу знакомить зрителя с неигранной шведской драматургией, к которой “тролли”, как она называла государственные и частные театры, до сих пор не проявляли особого интереса.

Такие поступки не остаются безнаказанными. Организация работодателей и отрасли, Всешведский союз театров, видела в этой студии оппозицию “фирменным” сценам и отравляла ей жизнь, отклоняя государственные и муниципальные ассигнования для этих пиратов, пишет Хенрик Шёгрен в книге “Игра и ярость. Театр Ингмара Бергмана. 1938–2002 гг.”.

Фон Хорн тщательно следила, чтобы Драмстудия обеспечивала высокое художественное качество, и очень придирчиво выбирала режиссеров, в частности Пера Линдберга, Улофа Муландера и датского эмигранта Сэма Бесекова. Театр был и политическим, поскольку ставил прогрессивную драматургию и таким образом выступал за свободу, против диктатур, державших Европу в железной хватке. И конечно, не случайно первым председателем Драмстудии был бунтарь Вильхельм Муберг. И опять-таки не случайно Ингмару Бергману хотелось там поработать. Ведь и точки соприкосновения существовали. Линдберг, легенда театра, приходился братом Стине Бергман, начальнице Ингмара Бергмана в “Свенск фильминдустри”. Муландеровская постановка 1935 года “Игры снов” Стриндберга в Драматическом театре стала для Бергмана наиболее значительным переживанием. Раз Брита фон Хорн сумела привлечь в свой театр таких гигантов, то и ему хочется быть там.

В августе 1942 года Ингмар Бергман явился в офис фон Хорн,

которая родилась в конце XIX века и выглядела как традиционная фотография звезды немого кино. Она была старше его на тридцать два года, иными словами, годилась ему в матери, и в каком-то смысле их отношения развивались именно таким образом. А что фон Хорн охотно носила береты, любимый бергмановский головной убор, так в этом ничего плохого нет.

“Режиссерские задатки”, – записала она в своем дневнике. Ей понравился веселый, энергичный, чудаковатый парень, молодой талантливый сорванец, а именно такой и требовался Драмстудии:

> Это был ужасный молодой экспериментатор, который просаживал в Общественном доме деньги, выделенные Оскаром Ларссоном, муниципальным советником по культуре. Муниципальный советник попросил меня пойти туда и глянуть на его попытки поставить стриндберговскую пьесу (“Сонату призраков”) на тамошней маленькой неудобной сцене. Я там побывала, путалась в электрических проводах, падала, споткнувшись о проекторы, но встреча с молодым режиссером оказалась по-настоящему полезной. Так я и сказала Оскару Ларссону, а он ответил: да, только вот обходится он дорого. Муниципальный советник даже не подозревал тогда, насколько прав.

Согласно передовице в “Афтонтиднинген”, экономическое положение театра выглядело следующим образом:

> …В течение сезона 1942/43 года Драматическая студия принесла государству и муниципалитету ок. 12 ооо крон в виде налога на увеселения, тогда как получила ассигнования от государства в размере 4 000 крон, а от города – 5000. Городу Стокгольму выплачено налога на увеселения 5 700 крон, таким образом город, несмотря на щедрое ассигнование в 5 000 крон, имеет от упомянутого культурного учреждения небольшую прибыль в 700 крон.

Вполне понятно, кому симпатизировал автор передовой статьи.

Финансовая основа была настолько шаткой, что одна из подруг фон Хорн решила продать картину Карла Ларссона, а вырученные деньги пожертвовать на постановку пацифистской драмы Рудольфа Вернлунда “ПЛ-39”, о катастрофе английской подводной лодки. Режиссуру фон Хорн поручила Ингмару Бергману, так как Пер Линдберг сказался больным, и Бергман, по

словам фон Хорн, пришел от ее предложения в восторг. “Сложности возникнут потом, как обычно”, – записала она в дневнике.

Бергмана по-прежнему призывали на военные сборы, однако из-за язвы кишечника в конце концов комиссовали. Как утверждает в “Страсти и демонах” Микаель Тимм, он преувеличил болезнь, чтобы таким образом освободиться от армейской службы. В июле 1943 года, когда написал Брите фон Хорн из гостиницы “Сесиль” в Векшё, он как раз уже целую неделю отдыхал, “уладив” свои армейские дела и “насмотревшись на жующих коров”, но теперь издал “КРИК” и поинтересовался, не стоит ли им сообща заняться осенью театром. Рассказал ей свой сон:

> Однажды ночью мне приснилось, что вы умерли. А муниципальный советник (этот миляга) позвонил мне и, всхлипывая, сказал: нам пришлось ее казнить. Городской архитектор Блум отрубил ей голову на ступенях Ратуши, после чего тело сожгли в Хумлегордене. Милая бедная старушенция! В конце концов получила она свой театр, ведь и правда собралось немало народу, несмотря на дождь! Дорогая, напишите поскорее. Пришлите какую-нибудь пьесу, чтобы я начал работу, иначе прыгну в Веттерн.

У Бриты фон Хорн вообще-то была для него пьеса, “Нильс Эббесен” Кая Мунка, на постановку которой датский драматург, священник и участник Сопротивления дал разрешение еще весной. Обратной почтой она ответила:

> Мы решили вернуться к работе в начале августа. А до тех пор никак не можем предотвратить ваш прыжок в воду, однако надеемся, что по законам природы вы к тому времени успеете всплыть. С неизменным восхищением на грани безумства, вечно ваш друг. С. С. (Сама Старушенция).

Вернувшись в Стокгольм, Бергман взялся за дело. История о Нильсе Эббесене, написанная Мунком в 1942 году, рассказывает о средневековом национальном герое, который приходит на выручку ютландцам, восставшим против голштинского ига. Но вообще-то драма Мунка призывала соотечественников оказывать сопротивление немецким оккупантам. Собственным вкладом Бергмана в идею восстания стал найденный им старинный плач времен Эббесена – “Плач по Дании”, включенный в программу:

Дабы сбросить нам тяжкое вражье иго,
Обрести искупленье и утешение
В горьком горе и страданье,
Ты, Господи, Боже всеблагой,
Не оставь нас милостью.
Оборони нас И сохрани!
Тогда борьба Принесет нам победу,
Свет и счастье, радость и мир.

Хореографом была Эльса Фишер-Бергман (она отдала свое наследство, вероятно, чтобы помочь театру в его скверном финансовом положении), а многие из актеров вскоре войдут в бергмановскую группу – Андерс Эк, Сив Рююд, Биргер Мальмстен, Тойво Павло, Альф Челлин, Биби Линдквист. На репетициях Бергман чувствовал себя в своей стихии. Брита фон Хорн видела режиссера с огоньком, с лукавой миной, со слегка плутоватым взглядом воришки, с самоуверенной, поразительной властью над актерами, укротителя со своевольной, буйной сценической фантазией. Она забавлялась и испытывала душевный подъем.

Немцы старались не допустить спектакль, но использовали слишком мягкие способы нажима, чтобы фон Хорн дала себя запугать, – напоминания, что спектакль “нежелателен”, не возымели эффекта. Премьера получилась опасливая, однако свое послание до людей донесла. Когда в январе 1944 года Кай Мунк был убит гестапо, Драматическая студия по просьбе датского посольства в Стокгольме показала мемориальный спектакль “Нильса Эббесена”. Главный редактор “Дагенс нюхетер” Стен Дельгрен обещал театру экономическую поддержку газеты. Ингмар Бергман почему-то обиделся. Брита фон Хорн записала в дневнике: “Он еще во многом зелен, и ему не по силам уразуметь, что необходимо воспользоваться возможностью вроде той, какую предоставляет доброжелательность Дельгрена. Наверно, он никогда не станет человеком театра”. Она своими глазами видела, сколько хитростей Бергман придумывал во время репетиций “Нильса Эббесена”. Он строил по обе стороны сцены огромные башни, которые подпадали под запрет пожарной охраны. Перед и за кулисами разыгрывались бурные и увлекательные сцены, причем Бергман обращался с артистами, как хотел. Он нанял сто двадцать статистов, но на сцене уместилась только половина, остальным было велено ждать во дворе. Кое-кому из актеров его действия казались слишком жесткими. Брите фон Хорн тоже досталось от его темперамента. На генеральной репетиции, которая успеха ради по традиции шла

скверно, актеры разрывались меж надеждой и отчаянием. Фон Хорн сидела на галерке, и Бергман спросил, слышит ли она, что говорят на сцене. Она ответила, что не слышит ничего, и Бергман взорвался: “Да где уж вам! На старости лет вы уже ничего не слышите и не видите!” Он сразу же одумался, бросился наверх к своей шефине и обнял ее. А она сказала: “Научитесь кой-чему. Научитесь сами говорить, и все будет хорошо”.

Андерс Эк, исполнитель главной роли, нажаловался директрисе. Фон Хорн записала в дневнике: “Похоже, Ингмару Бергману удастся загубить проект. Заходил Андерс Эк и объявил, что его [Бергмана. – *Авт.]* появление в студии прошлой осенью ему навредило. Он напрочь забыл, что выдвинулся именно благодаря студии. Вообразил, что его участие в мемориальном спектакле не зависит от участия Бергмана”.

Бергман и фон Хорн продолжали дружить. Пользовались доверительными прозвищами и сдабривали ими письма: “Твой верный раб”, “Милая старушенция своей Надежде”, “Дорогой Орел”. Бергман однажды сказал, что фон Хорн единственная, с кем он мог разговаривать, а она чуяла в нем мятеж, побег из тюрьмы буржуазной семьи с ее “цепенящим, парализующим тюремным режимом”. Он признавался фон Хорн в своем смертельном страхе. Ему очень страшно, как-то раз сказал он ей на прогулке. А одно из писем показывает, что он мог предстать перед Бритой фон Хорн маленьким и жалким:

> Трудно было расстаться с тобой! Ведь мы заодно, и ты понимаешь все. И так хорошо потерять лицо и поплакать. Потому что ты очень добра ко мне. Мы много чего сделали вместе в театре. […] Хочу еще сказать, что все мы одиноки, но порой изоляция вдруг рвется, и мы можем шагнуть навстречу друг другу. Потом проход опять закрывается. Однако тогда мы все-таки уже увидели и почувствовали кое-что позволяющее сделать жизнь не столь угловатой. Поэтому ты мне чертовски нравишься!!!

В своих мемуарах фон Хорн рассказывает, как вокруг него словно возникало магнетическое поле. “Он говорил, как все отравляло его детство, его юность. Видимо, он не был легкоуправляемым ребенком. Как весна вокруг нас, его юность источала горькую сладость и тайну. […] Ингмар понимал, что придаст театру новые грани. Насквозь пронзит его тайны”.

Городской театр Хельсингборга боролся за выживание.

Старое здание срочно требовало ремонта, труппа тоже нуждалась в обновлении. А денег не хватало. Государственные ассигнования уходили в Мальмё, который мог построить совершенно новый театр. В Хельсингборге, с его сильным местным патриотизмом, политики решили собственными средствами оживить свой одряхлевший театр. Теперь им был нужен только его руководитель. Совета спросили у критика Херберта Гревениуса, и он назвал непростого в общении, но одаренного молодого человека, чьи постановки на малых сценах Стокгольма ему довелось рецензировать.

У Бриты фон Хорн, рекомендовавшей Ингмару Бергману взять годичный отпуск, чтобы разобраться в себе и не бросаться сию минуту реализовать свои гениальные идеи, раздался в марте 1944 года телефонный звонок. Звонил социал-демократ, полномочный спикер и депутат риксдага Эдвин Берлинг из Хельсингборга, его интересовало, годится ли Ингмар Бергман в руководители театра. Сам он через несколько дней приедет в Стокгольм и хотел бы встретиться с нею. Брита фон Хорн, не желавшая потерять своего протеже, неохотно ответила, что встречаться им необязательно, так как она прямо сейчас, по телефону, может заверить его, что Бергман, к сожалению, вполне годится.

“Повесив трубку, я слегка засомневалась. Надо было конечно же сказать, что Ингмар Бергман пустой номер. Что у него нет ни фантазии, ни чувства реальности, ни совести, ни трудолюбия”, – писала она в дневнике.

Между тем состоялись крестины Лены, дочки Ингмара Бергмана и Эльсы Фишер-Бергман. Как пишет Карин Бергман, малышка была ужасно мила, и церемония в церкви Хедвиг-Элеоноры прошла тихо и красиво. По просьбе Ингмара Бергмана крестной стала Стина Бергман, начальница сценарного отдела “Свенска фильминдустри”. Несколькими неделями ранее она звонила Брите фон Хорн и держалась очень любезно. “Она прелесть! Ее интерес к Ингмару Бергману прямо-таки трогателен!” Карин Бергман молила Бога помочь сыну должным образом отнестись к большой ответственности и большому дару в лице жены и дочери.

В апреле, когда шли съемки “Травли”, где Ингмар Бергман был ассистентом режиссера Альфа Шёберга, Карин Бергман узнала из газет, что сын назначен руководителем Хельсингборгского театра, самым молодым в шведской истории. “Пусть все будет хорошо. Время в “Свенск фильминдустри” было во многом очень спокойным. Но теперь он и Эльса в самом деле оказались в гуще жизни и всех ее требований. Только бы они

держались друг друга – наперекор всем искушениям”.

Брита фон Хорн горевала, не только потому, что потеряла своего адепта, но и потому, что большинство актеров Драматической студии решили последовать за Бергманом в Сконе. Удар для студии, писала она, ведь ее оставили “позитивно действующие силы” – Тойво Павло, Ингрид Лютеркорт, Курт Эдгард, Биби Линдквист и сценограф Гуннар Линдблад. Как в сказке о гамельнском крысолове, они последовали за ним и исчезли за горизонтом, записала она в дневнике.

Встреча Бергмана с обшарпанным театром стала любовью с первого взгляда. Конечно, там кишели собачьи блохи, протекала канализация, царили сквозняки, отопление было скверное, а когда в фойе вскрыли промежуточный настил, там оказались сотни крыс, дохлых и живых. Бергман полюбил это место, пишет он в “Волшебном фонаре”, но поставил бескомпромиссные условия. Труппу надо заменить, количество премьер увеличить, ввести абонементную систему и переоснастить театр. Актеров подберет он сам. Репертуар, конечно, тоже. Уже на первых порах он связался с Бритой фон Хорн, которая в столице скрежетала зубами, но устоять перед ним по-прежнему не могла. В июне он приехал в Стокгольм, и они три часа кряду обсуждали “театр и планы”. В Хельсингборг Бергман вернулся с контрактом на инсценировку новеллы фон Хорн “Девушка из Ашеберга”, которая станет его дебютом в городском театре.

Но фон Хорн строила другие планы. Ей хотелось показать, что Драмстудия, наперекор всему, способна напрячь мускулы, хотелось продемонстрировать бывшему подопечному свою неистребимую хватку и волю к жизни, и она задумала опередить его и поставить эту же пьесу в студии. Как только Бергман узнал, что фон Хорн обманула его и рассчитывает украсть его премьеру, он немедля позвонил ей и устроил скандал. “Грозил мне, что я еще пожалею. Дурачок! Он многим обязан студии. Если бы не работал здесь, не стал бы теперь руководителем театра”, – писала она в дневнике. Так или иначе, в сентябре Бергман приехал на премьеру. Он успел успокоиться, явился посмеиваясь в берете и перемазанной рабочей одежде.

Через две недели премьера “Девушки из Ашеберга” все-таки состоялась и в Хельсингборге; фон Хорн приехала с ответным визитом, тоже в берете. Быстро поссорившись, они так же быстро помирились. “Он увел меня в свой “кабинет”, захламленный закуток над сценой, и там принялся рисовать и рассказывать. О своих планах. О своих надеждах. О мечтах, которые теперь расцветут. Даже о тех, что уже подмерзли. Но он пойдет дальше. Ингмар сражался. Сражался с властями. С самим собой. С Богом и

с дьяволом”, – пишет она в своих мемуарах “Рогачом из-за кулис”.

Пьеса прошла с успехом и стала приятным маленьким реваншем за предательство фон Хорн. В Стокгольме к постановке отнеслись неоднозначно. После бергмановской премьеры газета “Хельсингборгс дагблад” писала, что постановка интересная, уравновешивающая слабости пьесы: “Режиссер подошел к делу с решительностью, обычно присущей более искушенным игрокам. Вне всякого сомнения, пьеса от этого в первую очередь выиграла. Длиннот, о которых говорили после стокгольмской постановки, здесь в самом деле нет. С чем не справился синий карандаш, бережной рукой и чувством ритма одолел режиссер”.

То-то и оно. Однако эта победа не отразилась на отношениях Бергмана с Бритой фон Хорн. Он раскаивался в своем поведении и написал примирительное письмо:

> Хочу попросить тебя об одной вещи. Прости мне все, что я наговорил по телефону в тот день, и давай забудем эту историю. Ты даже не догадываешься, как мне недоставало тебя все это время!! По-моему, мы в одном фарватере, в одной лодке. Ведь наша работа имеет одну и ту же цель – создать театру возможности жить, и наша дружба, самое драгоценное, что у меня есть, не может разбиться от подобного пустяка. Кроме того, Брита, я очень многим тебе обязан. Ты помогла мне добиться успеха и занять нынешнюю мою позицию. Я все отчетливее это понимаю. Вот и попытался написать так искренне, как только мог. Я страшно одинок, и мне очень трудно думать о том, что все это обернется кризисом доверия между нами. Понимаешь? Милая Брита, наверно, мы можем снова стать добрыми друзьями? Даже более добрыми, чем раньше. Как ты думаешь? Твой преданный Ингмар.

Весь следующий год Бергман продолжал писать ей нежные письма. Уже не от руки своим неразборчивым почерком, а на машинке, на бланках со штампом руководителя театра. Речь шла главным образом о театральных постановках, о трудностях Драмстудии, о здоровье фон Хорн и о бергмановских сложностях с работой для нее параллельно официальной службе. Одно письмо более длинное и более личное:

> Дорогая Брита! Спасибо за твою телеграмму! Ужасно жаль, что нам не удалось вместе пообедать, но я сильно болел и только сейчас начал ходить на дрожащих ногах. До меня также дошли слухи, что скоро у тебя день

рождения, притом очень непростой [шестидесятилетие. – *Авт.]*. Прими мои самые теплые поздравления, если, конечно, считаешь, что дни рождения и юбилейные даты стоят того, чтобы с ними поздравлять. А любить друг друга, вспоминать и думать друг о друге в определенный день года, по-моему, вообще нонсенс. Ты знаешь, я тебя люблю и частенько думаю о тебе. Думаю то по-доброму, то сердито, в зависимости от настроения. Вдобавок я немножко побаиваюсь тебя, так как мне кажется, я каким-то образом тебя обманул. Пожалуй, я утратил пылкий розовый идеализм, за который ты по-прежнему цепляешься. Собственно говоря, мне нечего сказать в оправдание, да я и не знаю в общем-то, как это произошло, но, думая о тебе, я чуть-чуть стыжусь. Ты спрашивала, не хочу ли я поставить в Драмстудии "Джека и актеров". Думаю, я не гожусь, но ведь есть и другие пьесы, не только "Актеры" Вернлунда. Возможно, в мае я буду более-менее свободен и смогу заняться постановкой для студии, но твердо обещать пока не могу. Обстановка неопределенная и переменчивая, "Свенск фильминдустри" колеблется. Однако на сегодняшний день как будто бы возможно, что в мае я освобожусь. И тогда, дорогая Брита, с большим удовольствием поставлю что-нибудь в студии. Преданный тебе Ингмар.

Но в Драмстудии Бергман больше ничего не поставил. "Со временем мы стали чужими. Работы Ингмара в кино уводят мир на ложный путь", – пишет Брита фон Хорн в своих мемуарах, опубликованных в 1965 году, спустя два года после премьеры мрачных "Молчания" и "Причастия". Возможно, когда писала эти фразы, она имела в виду темы упомянутых фильмов – сексуальную фрустрацию и религиозные раздумья.

В примирительном письме к фон Хорн Ингмар Бергман говорил о своем одиночестве. Поводом послужило не только огромное количество работы в театре. Перед отъездом в Хельсингборг Эльса Фишер-Бергман успела собрать чемоданы, привести в порядок квартиру в Абрахамсберге и неожиданно слегла, причем с высокой температурой. "Сегодня позвонила Эйвор Фишер и сказала, что у Эльсы суставный ревматизм. Крайне неприятно во многих отношениях, поскорей бы все прошло. Лене сегодня исполняется полгодика. Благослови Господь ребенка и родителей", – записала Карин Бергман, а на

следующий день стало ясно, что невестку необходимо госпитализировать. Жар не спадал, Карин Бергман встревожилась не на шутку: “Очень страшно за Эльсу, сегодня у нее опять температура 40°. Я навестила ее в больнице “Сёдершюкхус”, и меня поразило ее усталое бледное личико. Господи, сохрани нам и Ингмару малышку Эльсу! Она очень-очень нам нужна”.

В конце июля Ингмар Бергман на несколько дней приехал в Стокгольм. Поселился с друзьями-артистами в квартире недалеко от родителей, чтобы отдохнуть перед началом новой работы в качестве руководителя Хельсингборгского театра. “Я понимаю, болезнь Эльсы гнетет его больше, чем я думала, но он опасается говорить об Эльсе и Лене – боится, в глубине души боится потерять их обеих”.

Итак, когда Бергман приехал в Хельсингборг принимать театр, с ним не было ни жены, ни дочки, которая тоже захворала. Эльсу Фишер-Бергман поместили в частный санаторий поблизости от Альвесты, и на оплату его ушло все его месячное жалованье. Дочка лежала в детской больнице Сакса в Стокгольме. Финансовую ситуацию спасла подработка в “Свенск фильминдустри”.

Летом состояние Эльсы Фишер-Бергман ухудшилось. У нее возник отек легких. Свекровь опасалась, что болезнь может стать дурным предзнаменованием, “странным предчувствием чего-то еще более тяжкого, что может случиться”.

Второго октября 1944 года в восьми городах состоялась премьера “Травли”; в Стокгольме фильм показали в кинотеатре “Красная мельница”. Картина стала огромным успехом и безусловным прорывом Бергмана. Карин Бергман записала в дневнике:

> День окрашен премьерой фильма Ингмара “Травля”. Мы с Нитти посмотрели его нынче вечером, и, признаться, я покорена. Я ждала этого фильма со страхом и сомнениями, не знаю, что скажут критики, но для меня он стал потрясением. И я уверена: молодой человек может сочинить и создать такое, только если имеет чистый взгляд на вещи и обладает идеалами. […] Для Ингмара это опять блестящий успех. Газеты сегодня полны похвал. И на сей раз он вправду их достоин. Боже сохрани его душу во всей этой кутерьме! […] Нынче вечером снова ходила с Эриком смотреть Ингмаров фильм, который вызвал столько шума и споров. Эрику он понравился, и сегодня мы говорили с Ингмаром, возможно, в субботу он зайдет домой.

Весной 1945 года становилось все заметнее, что Ингмар Бергман отдаляется от жены. И дело тут не только в географическом расстоянии. Карин Бергман угадывала подступающую катастрофу и сочувствовала невестке: “Думаю о милой Эльсе с нежностью и печалью. Ей сейчас так нужна любовь. А Ингмар?!” Однажды вечером Эльса Фишер-Бергман ужинала в пасторском доме, она выписалась из больницы, но еще не вполне оправилась, говорили они о браке, которому, по всей видимости, не дано уцелеть. “Ах, только бы Ингмар не причинил ей зла, не оскорбил ее”, – писала Карин Бергман. Позднее, в разговоре с ним по телефону, когда Ингмар сообщил, что театр получает теперь государственные ассигнования и что он и труппа празднуют успехи, она не могла вполне разделить его радостный настрой. “На письма он не отвечает, по телефону связаться невозможно. […] Ах, если б Ингмар мог стать другим и сохранить Эльсу и Лену!” Невестка, отмечала Карин, трогательно любила Ингмара и храбро молчала. А Лена, ковылявшая по квартире отцовых родителей, когда гостила у них, “милая и безмятежная, даже не догадывалась о тысячах конфликтов, в которые уже вовлечена”.

Эльса Фишер-Бергман была глубоко опечалена. Та жизнь с мужем, какую она себе представляла, мало-помалу разбилась вдребезги. А ведь совсем недавно она радовалась переезду в Хельсингборг и продолжению совместной работы – подбору актеров, распределению ролей, обсуждению репертуара и самому дерзкому, а именно постановке новогоднего ревю, где они оба смогут показать, что способны создавать новые скетчи и танцы.

Смертельный удар нанесла преемница на посту театрального хореографа, которую она сама порекомендовала мужу. Ее давняя однокашница, Эллен Лундстрём, а ныне Стрёмхольм, поскольку состояла в браке с Кристером Стрёмхольмом, человеком, о котором экс-подруга Бергмана Карин Ланнбю по-прежнему докладывала Главному штабу и который в это время работал в норвежском движении Сопротивления, был так называемым связником в Стокгольме, а согласно донесениям общался и с нацистами, и с коммунистами и находился под надзором полиции.

Не имея рядом семьи, Ингмар Бергман втянулся в беспорядочные сексуальные контакты, царившие в Хельсингборгском театре. Труппу обуяла похоть, то и дело вспыхивали сцены ревности. “Конечно, театр был нашим домом, но в остальном мы находились в замешательстве и жаждали общения”, – пишет он в “Волшебном фонаре”. В одном из

радиоинтервью 1985 года он вспоминал: “Разумеется, были и драмы, и страсти, и любовные истории – разного толка, – насколько мы успевали. Чудесное время”. И в центре – Эллен Стрёмхольм, которую он изображает как “притягательно красивую девушку с эротической аурой, одаренную, оригинальную и темпераментную”.

Родилась она в 1919 году в Гётеборге, звалась тогда Эллен Холлендер и росла в Вермланде у матери и отчима; ее биологический отец, коммерсант Гуннар Холлендер, даже не упоминался по имени. Уже в шестнадцать лет она решила стать театральным режиссером. Мать, однако, предложила ей приобрести профессию балетного педагога, и в 19371939 годах она училась в Дрездене танцу и хореографии.

Ингмар Бергман познакомился с ней еще в театре “Сказка” в Общественном доме, но влюбился только в Хельсингборге. На одной из вечеринок в “Гранд-отеле” он увидел, как Эллен Стрёмхольм отплясывает на столе канкан, – и попался.

Как я упоминал, она была замужем. Но это не имело ни малейшего значения. Почти сразу же она стала новой женщиной Ингмара Бергмана.

“Новая женщина”

Пожалуй, ей следовало понять, ведь знаки-то были вполне отчетливые. Во время болезни Эльса Фишер-Бергман каждый день писала мужу, но он никогда не отвечал. Позднее, в феврале 1945-го, когда она поправилась, Ингмар Бергман не захотел, чтобы она и дочь переехали в Хельсингборг. Лучше им пожить у Эльсиной матери, у Эйвор. Конечно, ей это показалось немного странным, но она все равно ни о чем не подозревала, во всяком случае ни о чем такого масштаба. Только когда Бергман сам признался в неверности и попросил развода, до нее дошел размах обмана – он тайком изменял ей и теперь собирался жить с подругой, которую она сама же и порекомендовала себе на замену, точно так же как несколько лет назад она сменила Карин Ланнбю и стала возлюбленной Бергмана.

> Я отметил, как лицо Эльсы застыло от боли. Она сидела на кухне за столом, щеки болезненно-красные, детский рот крепко сжат. Потом она совершенно спокойно сказала: теперь тебе придется платить содержание, у тебя есть на это средства, бедняга? Я с горечью ответил: раз я мог платить восемьсот крон в месяц за твой паршивый частный санаторий, то и на содержание наскребу. Не беспокойся, —

пишет он в “Волшебном фонаре”.

В дневниковой записи от 9 февраля Карин Бергман отметила, что ее опасения подтвердились, что ее мысли насчет брака сына были вполне обоснованны. Ингмар от случая к случаю заходил в пасторский дом на Стургатан, и они подолгу разговаривали. Из-за военного времени в столице соблюдали затемнение.

> Ингмар пришел в десять, и мы с ним проговорили до двенадцати. Сегодня в городе кромешная тьма, и как никогда чувствуешь, что сейчас мировая война и ночь на земле.

Безжалостное сообщение Ингмара Бергмана вдребезги разбило существование Эльсы Фишер-Бергман. Жизнь жестоко обошлась с ней и ее дочерью. Размышляя, почему так вышло, она думала, что они с Ингмаром были, наверно, слишком счастливы – или воображали, что слишком счастливы. Может быть, их существование казалось ему чересчур идиллическим? Может

быть, ребячливость их надежд не выдержала проверки реальностью? Ингмар Бергман упорно держался за своих игрушечных медведей, и, может быть, эти мягкие игрушки, как и чтение вслух “Винни-Пуха” в абрахамсбергской квартире, символизировали трудность разрыва с идиллией детства, неспособность решительно шагнуть во взрослую жизнь, требующую полной ответственности. Размышляла Эльса Фишер-Бергман и о том, что, возможно, все обстоит куда проще: ее мужу пора было сменить весьма стыдливую и невинную жену с мальчишеским телом на более женственную и сексуальную женщину. Да, она вправду так думала.

И наоборот, ведь можно бы добавить: разрыв с Карин Ланнбю подстегивало стремление уйти от эротико-невротического и несколько опасного существа к скромной и милой женщине отчасти даже материнского типа, то бишь к ней. Складывается впечатление, что бергмановский выбор женщин руководствовался именно этим – он менял партнерш на диаметрально противоположных. Едва успев жениться и стать отцом, он начал искать новую женщину, которую через несколько лет поменял согласно той же модели. Дочь Лена уже взрослой так комментировала бергмановские романы: “Папа всю жизнь ищет собственную мать”.

В “Волшебном фонаре” он пытался сам поставить себе диагноз:

> Я не знаю того человека, каким был сорок лет назад. Неприятные ощущения так глубоки, а механизмы вытеснения действовали так эффективно, что я с трудом вызываю этот образ. Фотографии в данном случае мало чего стоят. Они показывают только маскарад, укоренившийся маскарад. Если я думал, что на меня напали, то отбивался как испуганная собака. Никому не доверял, никого не любил, ни по ком не тосковал. Был одержим сексуальностью, вынуждавшей меня к постоянным изменам и непроизвольным поступкам, все время терзался желаниями, страхом, тоской и угрызениями совести. То есть был одинок и разъярен. Работа в театре немного смягчала напряжение, которое отпускало лишь в краткие мгновения пьяного дурмана или оргазма.

Жестоко откровенное признание, разоблачающее молодого человека, которому, собственно, не мешало бы воздержаться от романов с женщинами, пока он не пройдет серьезное лечение.

В конце мая, без малого через месяц после капитуляции

Германии, Ингмар Бергман позвонил матери и сообщил, что они с Эльсой твердо решили развестись. К этому известию в семье отнеслись отрицательно, и некоторое время пастор отказывался принимать сына. Похоже, Ингмар Бергман встречался с матерью, только когда пастора не было дома:

> Семейное счастье, по всей видимости, не для нас. Ах, малютка Лена! […] Ингмар заходил ко мне ненадолго сегодня вечером. Сердце разрывается при мысли, как он выглядит. “Точь-в-точь узник Грини [нацистский лагерь для перемещенных лиц под Осло. – Авт.], только что вышедший на свободу”, – говорит Даг. Тощий, заросший щетиной, с горящими глазами, снедаемый мучительной тревогой. Куда это приведет? Бедные дети! Обладать искрой гения и одновременно так тяжко за нее расплачиваться. Ужасно, что нельзя распахнуть двери дома и помочь ему привести все в порядок. Но в нынешней ситуации это невозможно, из-за Эрика.

Официальный бракоразводный процесс начался с подачи заявления о раздельном проживании, которое хельсингборгский городской суд назначил на 4 декабря 1945 года. Юридически развод был окончательно оформлен лишь в 1947 году. Ингмара Бергмана суд обязал ежемесячно выплачивать 200 крон дочери Лене, впредь до ее девятнадцатилетия.

Итак, когда он познакомился со своей новой женщиной, она состояла в браке с Кристером Стрёмхольмом. По словам Бергмана, Эллен сразу же забеременела. Эва Юсефина родилась 5 сентября 1945 года. Но кто ее отец? Ни муниципальные, ни церковные документы не дают однозначного ответа.

Эллен Холлендер и Кристер Стрёмхольм поженились 9 сентября 1944 года в Карлстаде. Согласно информации из разыскного полицейского архива, они планировали поселиться в Хельсингборге, где Эллен работала в городском театре под началом Ингмара Бергмана. На одном из допросов Кристер Стрёмхольм сказал, что изучал живопись у профессора Отте Шёльда и Исаака Грюневальда в Академии художеств, а затем зарабатывал на жизнь как художник. В начале 1945-го он начал издавать журнал “Шведский балет”, где сотрудничали его жена и Эльса Фишер-Бергман.

По словам Ингмара Бергмана, он и Эллен Стрёмхольм вступили в близкие отношения сразу после того, как она 9 сентября 1944 года вышла замуж, и в результате она “немедля” забеременела. То есть, учитывая время рождения дочери,

произошло это в конце года.

Шестого сентября 1945-го, на следующий же день после родов, Эллен Стрёмхольм подала заявление о расторжении брака. Официальным поводом послужило то, что ее муж, впоследствии всемирно известный фотограф, разрушил брак прелюбодеянием, как говорили в ту пору. Редактор (так его официально называли, поскольку он издавал “Шведский балет”) Стрёмхольм ранее имел интимные отношения с двумя другими женщинами и с одной поддерживал их по-прежнему, что и признал в ходе слушаний в стокгольмском городском суде.

По метрическому свидетельству, выданному хельсингборгским приходом Марии и приложенному Эллен Стрёмхольм к судебному иску, у них был общий, но некрещеный ребенок, девочка, родившаяся 5 сентября, и суд записал: “…как бесспорно отмечено, никто из супругов ранее в разводе не был, и в браке они не имели других детей, кроме означенного в вышеупомянутом метрическом свидетельстве”. В книге записи рождений и крестин Стрёмхольм значился как отец Эвы, а ноябрьская выписка из книги регистрации браков указывает, что имеется “живой ребенок (общий для супругов)” моложе пятнадцати лет.

Поскольку, когда родилась Эва, Кристер Стрёмхольм еще состоял в браке с Эллен, его автоматически зарегистрировали как отца девочки. После рождения ребенка Эллен могла ходатайствовать о разводе, не рискуя, что закон сочтет Эву внебрачным ребенком, тем самым она обеспечила ей право рождения, а также устранила риск, что девочку будут называть “безотцовщиной” или “приблудной”.

Такая игра продолжалась весьма долго. Через семь лет после рождения Эвы викарий Бенгт Ольберг из прихода Эргрюте вновь подтвердил, что Эва Стрёмхольм “дочь ред. Туре Кристера Стрёмхольма”. В 1951 году Ингмар Бергман ходатайствовал о ее удочерении, и в 1956-м его ходатайство было официально удовлетворено.

Как же Карин Бергман отнеслась к тому, что ее сын второй раз стал отцом, да еще и вне брака? В дневнике нет даже намека, что она вообще знала об этом. В тот день, когда родилась Эва, она записала, что муж напомнил ей, что ровно шесть лет назад их младший сын в гневе ушел из дома. Матери казалось, сын очень отдалился и не желал говорить о своей внутренней жизни, по крайней мере с родителями. Во время короткого визита в Стокгольм в январе 1946 года он держался странно и выказал крайнюю бесцеремонность. “Он не отдает себе в этом отчета,

просто гнет свою линию. Сумеет ли какая-нибудь женщина долго его выносить?” Возвращаясь в Хельсингборг, он забрал с собой всю напряженность, и Карин могла перевести дух: “Он уехал, и все успокаивается. Уму непостижимо, что это тот самый тихий приветливый ребенок, каким я помню его в детстве”. Родительская неспособность осознать и принять, что ребенок вырос и живет собственной жизнью, не спрашивая у родителей ни разрешения, ни совета. А может, просто естественная грусть, печаль по утраченному.

Но ни слова о том, что сын опять стал отцом.

Эллен появилась в дневнике Карин Бергман лишь в начале февраля 1946 года, когда она узнала от Эльсы Фишер-Бергман о случившемся:

> Пока что, как обычно, знаю об этом я одна. Но ужасно хочу рассказать обо всем Эрику. Я, конечно, знала, что Ингмар очень отдалился от нас, но даже не предполагала, что настолько. […] Скоро я не выдержу! […] Мы с Эриком встали спозаранку, чтобы встретить Ингмара. Жаркий камин и чай в салоне и огромная тишина воскресного утра. Откровенный разговор с Ингмаром. Мы сказали ему, что в курсе его обстоятельств. Пытались говорить и действовать справедливо по отношению к нему. Может, пойдет ему на пользу, по крайней мере в будущем.

Но спустя несколько дней, разговаривая с Ингмаром по телефону, она почувствовала в его голосе жесткие и холодные нотки, хотя он старался быть дружелюбным.

> “Новая женщина”, как видно, человек весьма жесткий. Боюсь встречаться с нею, но одновременно чувствую, что должна.

Четвертой постановкой Ингмара Бергмана в Хельсингборгском городском театре стало новогоднее ревю “Крискрас-филибом”, с балетными номерами в хореографии Эллен Лундстрём (после развода она опять взяла эту фамилию). Наверно, экс-жене Эльсе Фишер-Бергман было очень обидно, она ведь мечтала поставить вместе с Ингмаром именно новогоднее ревю.

По замыслу Бергмана, наряду со всем прочим театр должен предложить зрителям смех, шутки, дружелюбие и юмор; теперь это “важнее, чем когда-либо”, писал он осенью 1945 года в своего рода программном заявлении.

> Бесспорно, куда более приятная задача – привести людей в легкое настроение, сделать их по-настоящему веселыми, а не грустными и задумчивыми. […] Коль скоро театр стремится истребить печаль, уныние и иную подавленность, хотя бы на несколько коротких вечерних часов, то мы с удовольствием присоединяемся.

Наверно, стоит вспомнить эти строки, учитывая позднейшую – прижизненную и посмертную – бергмановскую репутацию как режиссера-зануды, закосневшего в религиозных и экзистенциальных раздумьях.

Легкую сторону своей личности он явно показывал родителям крайне редко. Однако нет никакой уверенности, что они бы оценили ее по достоинству. Когда состоялась премьера его второго фильма, “Кризис”, где он дебютировал и как режиссер, Эрик, Карин и Маргарета пошли посмотреть картину. Фильм основан на пьесе “Самка” датчанина Лека Фишера, которую Бергман именует умелым публичным развратом – за красивой, но наивной приемной дочерью учительницы музыки из маленького городишки ухаживает любовник ее биологической матери. Поскольку же он брался за “любое дерьмо”, лишь бы сделать фильм, то не колебался ни секунды. Экранизировал бы и телефонный справочник, если б кто попросил.

Поэтому рецензии “Дагенс нюхетер” и “Свенска дагбладет”, вероятно, стали для него сюрпризом. Они оказались лирическими.

> Мне кажется, Ингмар Бергман здесь – ответ на молитвы, если не сказать на с годами все более назойливое нытье по поводу шведской кинематографии. Ведь ей необходимы личности, которые держат произведение в кулаке, так все твердили; нам пора отказаться от штамповки примитива с кучей поваров, косящихся на публику. […] “Кризис”, вне всякого сомнения, самый большой, самый дерзкий и самый осознанный шаг из утиного пруда, каким так долго было шведское кино”, —

писала Барбру Альвинг в “Дагенс нюхетер”.
Некто У. См. в “Свенска дагбладет” отмечал:

> “Кризис” Ингмара Бергмана – дерзко реалистичный, разумно анализирующий, яркий и увлекательный рассказ о совершенно будничных вещах. […] Незатейливая драма передана в головокружительном

> темпе и с массой деталей, создающих настроение. Фильм включает сцены, которые, можно прямо сказать, не уступают высоким достижениям, какие нам доводилось видеть на киноэкране. […] Режиссерский выбор актеров по-своему вызывает неменьшее восхищение, чем сама актерская работа. […] Иными словами, “Кризис” – это событие. За такие фильмы хочется сказать спасибо. Особенно когда их делают не где-нибудь, а в Швеции.

Георг Свенссон в “Бонньерс литтерера магасин” присоединился к критическому отзыву самого Бергмана:

> Нижеподписавшийся со своей стороны должен сказать, что редко видел фильм более неудачный, лживый и скучный. […] В бергмановской фантазии сквозит что-то необузданное, нервно несдержанное, вызывающее тревожное впечатление. Он бросается от одной крайности к другой и, похоже, совершенно не способен поддерживать нормальное психическое состояние.

Уже второй раз собственная семья Бергмана посмотрела его работу для экрана. Что же думала Карин Бергман по поводу режиссерского дебюта сына?

> Ему, конечно, есть что сказать, и в общем там столько от него самого, что порой становится больно. Больше всего меня тронула Дагни Линд в роли матери. […] Сегодняшние газеты полны хвалебных слов о фильме Ингмара. Однако есть и такие, что задают вопросы и критикуют, но все согласны, что фильм отмечен гениальностью и новизной. Оправдает ли он все эти ожидания? Создаст ли в жизни что-то по-настоящему значительное?

Стина Бергман, начальница сценарного отдела “Свенск фильминдустри”, на следующий день после премьеры позвонила в пасторский дом и сказала Карин, что, как ей кажется, Ингмар, ее подопечный, прямо-таки пугающе похож на ее мужа, давным-давно покойного Яльмара Бергмана.

В Хельсингборге у Ингмара Бергмана была квартира, но жил он там редко. Большей частью они с Эллен обретались в ее квартирке “наискосок через улицу, с уборной во дворе”, и питались готовой едой, купленной в бакалейном магазине,

рассказывал он в радиоинтервью 1985 года.

Карин Бергман довольно долго старалась разобраться, что могут означать для сына отношения с Эллен Лундстрём. Надеялась, что это по-настоящему всерьез и “сохранится всю жизнь”. Но фотографию Эвы она впервые увидела лишь в начале апреля, когда Ингмар приехал в Стокгольм. Карин Бергман разрывалась между лояльностью к бывшей жене сына, Эльсе Фишер-Бергман, которой очень сочувствовала, и сознанием, что так или иначе ей не миновать встречи с “новой женщиной”, как она окрестила Эллен Лундстрём. Даже в дневнике, видимо, еще не могла называть ее по имени.

В начале июня 1946 года Карин Бергман поехала в Хельсингборг повидать сына и свою будущую невестку номер два. Она тогда гостила в Сконе у друзей и проснулась ни свет ни заря, в нервном напряжении перед встречей. Ингмар Бергман встретил мать на автобусной остановке. Он явно был рад и сердечно улыбался, шагая с нею на квартиру, где вместе с дочерью Эвой ждала Эллен, опять беременная. Малышка Эва, которой сравнялось уже девять месяцев, произвела на Карин Бергман до боли глубокое впечатление. “Большие, бездонные, печальные глаза, неотрывно следящие за мной”, – записала она вечером в дневнике.

Ингмар Бергман показал матери театр, да и в целом день прошел благополучно: “Во всех наших разговорах царило полное взаимопонимание”. Когда сын по работе уехал в Стокгольм, она осталась у Эллен Лундстрём, и они имели возможность поговорить “по душам”. Карин Бергман сделала большой шаг в знакомстве с будущей женой сына, хотя, по обыкновению, колебалась между крайностями. С большим удовольствием она отметила, что в Эллен чувствуются “надежность и честность”, хотя вместе с тем и некая отчужденность. Однако надеялась, что сын наконец-то встретил человека, который сумеет его вытерпеть.

Если первую жену Ингмар Бергман письмами не радовал, то с Эллен переписку возобновил. Они писали друг другу почти каждый день. Тон посланий бодрый, скорее товарищеский, чем чувственно-тоскующий, а начинались они обычно фразами вроде “Привет, милая старушка” и “Послушай-ка, дядюшка!”, но порой закрадывалось и “Любовь моя!!”.

Новая семейная жизнь Ингмару Бергману как будто бы нравилась. Осенью предстояла работа в Гётеборгском городском театре, и они переехали туда. Другу Херберту Гревениусу он писал:

Сегодня я дома в Гётеборге, отдыхаю. Как

замечательно.

Эллен очень мила со мной, все понимает, и нам бесконечно хорошо вместе. Купили пластинку со скрипичным концертом Моцарта, очень красивая музыка. Спим, едим, читаем, разговариваем и слушаем музыку.

В остальном он большей частью был в разъездах. Его творческая энергия совершенно невероятна, темп работы необычайно высок. Он писал пьесы для сцены и для радио, режиссировал свои и чужие пьесы в театрах Хельсингборга, Гётеборга и Мальмё, снимал фильмы и писал сценарии с такой быстротой, которая невольно приводит на ум 10-е годы и огромную продуктивность режиссера Георга ав Клеркера.

Сидя дома, Эллен тосковала по мужу и мечтала, чтобы настал день, когда у него “в голове не будет 80 пьес и 161 фильма”.

Вот несколько примеров их переписки, заимствованные из книги Микаеля Тимма “Страсть и демоны”.

Ингмар к Эллен:

Не знаю, от чего это зависит – от желез внутренней секреции или от чего-то еще, но я постоянно думаю о тебе, и, во всяком случае, будет чертовски приятно увидеть тебя завтра. Да, это письмо, как я понимаю, приедет одновременно со мной самим, так что удовольствие будет двойное – для меня. Кстати, я обещал написать для тебя небольшую вещицу и сдержу обещание, не нарушу его, ведь иначе ты станешь смотреть на меня весьма скептически и думать: этот малый – варвар из мелких контрабандистов, надо его остерегаться. Наверно, ты все же так думаешь, но хотя бы не по моей вине. Из женщин, каких я когда-либо встречал, ты наименее взбалмошная и не дашь себя одурачить моим шутовством (жаль, но и хорошо). Наверно, я все же тебе нравлюсь. Я – Каспер, ужасный чертик из китайских шкатулок, вот так.

Эллен Ингмару:

Каждый день пишу тебе. И ты это знаешь. А что ты соизволил поселиться там, где не растет ни травинки и почта работает лишь спорадически, то я тут ни при чем. Возьми и выйди вон (просто рифмы ради). Когда вернешься домой, я объятиями выжму из тебя Ингмара. И даже больше.

Эллен Ингмару:

> Хочу только пожелать тебе доброй ночи – но для тебя, наверно, получится доброе утро. Завтра утром шофер опустит письмо на вокзале. Мы весь день пробыли у Аниты (Моппа в отъезде), и Эва была в восторге, что может посмотреть на других детишек. Эта благовоспитанная юная дама очень хорошо знает, как надо себя вести! Впрочем, ее папа тоже весьма учтивый господинчик, увлеченный добрыми постановками. Только ее противная мамаша скачет в ресторане по столам и громко кричит после хорошего театрального выступления. Правда, сейчас она всего-навсего большая колода, чинно восседает на своей заднице и думает о любимом Ингмаре.

Ингмар к Эллен:

> Наверно, естественно, что мы оба станем брать паузы, поступать иначе для таких людей, как мы, было бы странно. Но мне кажется, мы все больше прикипаем друг к другу. Пожалуй, даже в чертовски многих отношениях. Не знаю, но благоприятное положение, в каком я нахожусь сейчас, скорей всего, не будет длиться вечно, аминь. И тогда, верно, придется нелегко. Но я на тебя надеюсь. А раньше никогда ни одному человеку в глубине души не доверял.

Дрались ли они? Бергмановский рассказ, где речь идет о ссоре с рукоприкладством между Каспером (его альтер эго) и Касперинoй, намекает, что однажды они сцепились не на шутку. И одно из писем Эллен Ингмару как будто бы подтверждает, что им случалось колотить друг друга, хотя, пожалуй, и не слишком всерьез:

> Ты лапочка, а я заслужила взбучку. И ты мне ее устроишь, когда родится Константин [так они называли ребенка, которого она тогда ждала. – Авт.]. Давно ты меня не бил. Теперь можно подраться здесь, на чердаке, и попробовать скинуть друг друга вниз. Когда как следует разозлимся, покраснеем-позеленеем. Победа будет за мной! Но я не хочу. Я хочу обнять тебя и сказать, как сильно тебя люблю… Вообще-то!

В канун осеннего сезона 1946 года Ингмару Бергману

предложили поработать режиссером в городском театре Гётеборга. В псевдоинтервью с самим собой, помещенном в программке его последней хельсингборгской постановки, премьеры “Реквиема” Бьёрна-Эрика Хёйера, он говорил, как доволен всем – хельсингборгцами, театром, даже руководством, – и спрашивал себя, что было для него самым приятным переживанием.

> Минуты перед премьерой “Макбета”. Все собрались в моем кабинете, уже после второго звонка, в гриме и в костюмах. Немного поговорили о пьесе и почему играем ее. Такой атмосферы не было ни до, ни после. Внезапное глубокое единодушие перед задачей, без личных оттенков. Мы все были очень растроганы и первый акт сыграли из рук вон плохо. Так-то случается. Но было приятно.

Не удивительно, что в “прощальном интервью” Ингмар Бергман упомянул именно “Макбета”. Эта драма занимала в его репертуаре особенное место, и он поставит ее целых три раза. Первую постановку он осуществил еще в 1940-м, всего за несколько дней до немецкой оккупации Дании и Норвегии, она стала тогда аллегорией положения в мире. Позднее, когда Бергман поставил “Макбета” в Хельсингборге, шекспировская пьеса стала в его руках отчетливо “антинацистской драмой, яростным сведением счетов с убийцей и военным преступником”. Наивно-доверчивое отношение к нацизму, казалось, сменилось трезвым анализом. Поэтому весьма странно, что в 1942 году он написал текст к своего рода народной пьесе под названием “Опера”, содержавший резко антисемитский пассаж:

> *Жил да был там жид-подлюка,*
> *Продавал красивых девок,*
> *А какого черта?*
> *Продавал жидовок —*
> *Водка, водочка, водяра,*
> *Продавал жидовок!!*

Двадцатичетырехлетний тогда Бергман использовал эти формулировки, вероятно, как невинно-шутливый штрих в своей гротескной сказке о пьянчуге Водяном. Однако текст получился совершенно в духе нацистов – об алчных и грязных жидах, которых сгоняли в кучу и увозили на истребление. Текст никогда не публиковался.

Заключительным аккордом в автоинтервью из программки к “Реквиему” стал ответ на вопрос, что запомнилось ему как *второе по счету* печальное воспоминание (на вопрос, что было самым печальным, он не ответил):

> Начать как фанатик и закончить как соглашатель. Начать в кипении и закончить с прохладцем. Чувствовать, как добрая сконская диета слоями откладывается в твоей собственной бунтарской натуре. Что ты вполне доволен чем угодно. А если говоришь об этом, то видишь, что люди думают, будто ты корчишь из себя скромника и козыряешь деликатностью.

Ингмар Бергман, без сомнения, покончил с Хельсингборгом и ждал новых задач в другом городе.

Если городской театр в Хельсингборге был блохастой крысиной норой, то Гётеборг мог щегольнуть почти заново отстроенным театром на площади Ётаплатс, в южном конце фешенебельной Кунгспортсавеню, хорошо оснащенным технически и отделанным в элегантном архитектурном стиле 1930-х годов. Благодаря режиссерам Перу Линдбергу, брату Стины Бергман, и Кнуту Стрёму, принято считать, что современный театр начался в Швеции именно там. В годы Второй мировой войны этот театр под руководством Турстена Хаммарена прославился своим явно и дерзко злободневным политическим репертуаром. В 1920-е годы Хаммарен несколько лет возглавлял Хельсингборгский театр, и именно он нанял теперь Бергмана, как обычно, по рекомендации театрального критика и бергмановского почитателя Херберта Гревениуса.

Эллен Лундстрём и Ингмар Бергман поселились в квартире неподалеку от театра и могли пешком ходить на работу и с работы по обсаженным деревьями улицам и через тенистый парк. Отсюда Эллен Лундстрём в августе, на девятом месяце беременности, написала письмо своей будущей свекрови:

> Дорогая тетя Карин! Большое спасибо за дружеское письмо. Ингмар, конечно, вкалывает вовсю, чтобы закончить фильм на следующей неделе. То есть 22 августа. Я только что говорила с ним по телефону. Завтра он тоже весь день будет занят. А вообще проводил субботы и воскресенья здесь. Как вы, наверно, читали в газетах, тетя Карин, он собирается поставить в Мальмё “Ракель и сторож кинотеатра”. Он очень этому радуется и начнет репетиции в пятницу на следующей неделе. На

15 сентября назначена премьера, а затем у него останется всего 14 дней на отдых, прежде чем он приступит к репетициям в Гётеборге. Главное, чтобы он отдохнул как следует!! Ему это необходимо. Хотя в этом году он совсем не такой, как прошлым летом. Съемки фильма и все с ними связанное на сей раз прошли гораздо ловчее. Ребенок пока что родиться не соизволил; и если до завтрашнего утра ничего не произойдет, я поеду в Карлстад. Ужасно действует на нервы – день за днем торчать здесь, где словом перемолвиться не с кем, кроме нашей сконской прислуги Юханссон. Вдобавок Эва уже больше месяца не со мной, и это чувствуется. Поскольку Ингмару сейчас сложно отлучиться и, как мне кажется, частые поездки его утомляют, мне, наверно, лучше уехать, куда-нибудь подальше, чтобы он не чувствовал себя “обязанным” спешно садиться на поезд. Пусть спокойно занимается в Мальмё своей пьесой. На случай, если он вам понадобится, тетя Карин, он живет в гостинице “Крамер”. В смысле до 23-го. Позднее он, наверно, числа 15 сентября приедет в Даларну и останется на 14 дней. Надеюсь, он тогда забросит бумагу и перо и всю писанину и просто отдохнет и побездельничает. Еще нам интересно, кто все-таки родится – мальчик или девочка, но, как видно, придется гадать еще некоторое время. Надеюсь, у вас, тетя Карин, все хорошо и за лето вы набрались свежих сил.

С сердечным приветом, преданная вам Эллен.

Письмо на удивление сердечное и трогательно-наивное.

Карин Бергман, должно быть, хорошо скрывала свои подлинные чувства насчет отношениий Эллен Лундстрём и Ингмара Бергмана. Лундстрём крайне мало думала о самой себе, сосредоточивая свои заботы на муже, который работал не жалея сил; несмотря на большой живот, она словно бы прекрасно справлялась со всеми делами, и беременность словно бы не требовала никакого особого внимания. Хотя, вполне возможно, она писала так именно в письме к Карин Бергман, чтобы представить себя этаким идеалом и тем самым завоевать симпатию суровой пасторши, показать себя достойной ее одобрения. Наверно, она заметила, что за прохладной вежливостью Карин Бергман таится сильная неприязнь. И в таком случае действовала правильно.

Через три месяца после первой встречи с Эллен в

Хельсингборге Карин Бергман стала бабушкой в третий раз, и не сказать, чтобы ликовала по этому поводу.

> Подумать, как было бы замечательно, если б все шло как следует. Ведь есть Эльса и Лена. А сам Ингмар толком ничего не сделал для двух других детей и не стал им по-настоящему отцом. Господи, защити эту новую маленькую жизнь! Его, наверно, назовут Яном. […] Только что написала Эльсе, рассказала ей обо всем. Ах, если бы матерью этого мальчугана была она!

Карин написала и матери младенца, “настолько тепло, насколько возможно, чтобы не сфальшивить”.

Судя по тону дневниковых записей, Карин Бергман очень сердилась, что не имела возможности быть рядом и непосредственно участвовать в самостоятельной жизни сына. Когда затем 11 сентября было опубликовано извещение о рождении, она спрашивала себя, почему Ингмару, а значит, и Эллен Лундстрём надо непременно бросать вызов окружающим, а в особенности причинять боль Эльсе Фишер-Бергман. Поступкам сына она дала весьма суровую оценку. Как раз в то время, когда “Свенска дагбладет” после премьеры “Ракели и сторожа кинотеатра”, которую он как приглашенный режиссер поставил в городском театре Мальмё в сентябре 1946 года, объявила его самым выдающимся драматургом Швеции и он начал получать предложения из-за рубежа, она обвиняла его в том, что он “опозорил нас всех”, и ставила ему в упрек “отсутствие любви к нам, старикам”. С другой стороны, в следующую же минуту она могла восхищаться его открытостью и теплом и радоваться временному перемирию между отцом и сыном. “Вот за это домашнее единство я и борюсь и буду добиваться его любовью и страданиями”.

Итак, Ингмар Бергман второй раз стал отцом вне брака. В пасторской семье это, конечно, было чуть ли не святотатством, во всяком случае, серьезным нарушением христианских правил. Карин Бергман, однако, примирилась. Судя по дневнику, она была довольна, что о помолвке объявлено в церкви, “так что это дело уладится”. Но, как всегда, радость омрачали перепады сыновних настроений и вечные обманы. “Бесцеремонный, буйный, напористый. Ему предстоит узаконить свои отношения с Эллен, с совершенно чужой для нас женщиной. Впрочем, это последнее ничего не значит – лишь бы они хранили верность друг другу и детям, которых имеют. Мысленно я возвращаюсь к Эльсе и Лене. Они оставлены на дороге, оставлены Ингмаром”.

В ноябре Эллен Лундстрём участвовала как хореограф в первой постановке Бергмана для Гётеборгского городского театра, в “Калигуле” Альбера Камю, который был принят не хорошо и не плохо. Но пара Бергман – Лундстрём и сценограф Карл Юхан Стрём наверняка порадовались хвалебной рецензии в “Гётеборгс-постен” под заголовком “Побеждающая молодежь”.

Рождество 1946 года Эрик и Карин Бергман провели вместе с дочерью Маргаретой в Корстеппанском пансионе в Лександе. Поздней осенью Карин поместили в больницу, так как сердце и кровяное давление оказались в плохом состоянии, и теперь ей требовался отдых. Двадцать первого декабря Эллен Лундстрём написала в пансион письмо. Вообще-то она собиралась написать раньше, но не хотела показаться слишком навязчивой. Она сообщила, что им еще не удалось найти квартиру попросторнее, что жили они в тесноте, но все шло пока на удивление благополучно. Ингмар Бергман всю осень был так спокоен и безмятежен, что она едва его узнавала:

> Вы, тетя Карин, конечно же понимаете, что он счастлив успехам с “Калигулой”. Он не просто талантлив, но еще и большой мастер. Сейчас он репетирует “День кончается рано”, по-моему, это лучшее из всего им написанного. Пьеса, в которой действительно что-то есть. Содержательная вещь. Премьера состоится 11 янв. Сегодня вечером Ингмар улетает в Стокгольм, чтобы за воскресенье и понедельник еще раз просмотреть сценарий, который продаст “СФ”. Режиссером будет Густав Муландер. Называется фильм “Пазл изображает Эроса”. Тоже хорошая штука. Утром во вторник он едет или летит в Карлстад, где мы встретим Рождество. […] Эва уже ходит и говорит множество слов, да и понимает почти все, что ей говорят. Лучшая игрушка для нее – папа. Ян – малыш замечательный, скоро не поместится в моей корзине. Агукает так громко, что, когда дети одни в своей комнате, не поймешь, кто есть кто.

Когда почти через полгода, 22 июля 1947 года, Ингмар Бергман и Эллен Лундстрём заключили в ратуше Хельсингборга гражданский брак и родителей на церемонии не было, они совершили еще одно отступление от протокола. Но Карин Бергман еще раз доказала свою способность к примирению.

> Сегодня по телефону пришла из Хельсингборга радостная весть. Ингмар и Эллен сообщили, что

поженились. Я очень довольна. По телефону Эллен была вправду приветлива. Рассказала о новой красивой квартире и как они ждут меня там.

Ингмар Бергман только что вернулся из поездки на Французскую Ривьеру. Звучит всегда шикарно, и, судя по воспоминаниям Бергмана, он роскошно провел время, – но все же. До тех пор он бывал за границей только один раз, девять лет назад в Германии, а теперь вдобавок впервые совершил продолжительный перелет с промежуточной посадкой во Франкфурте.

Поводом для поездки послужил сценарий фильма “Корабль идет в Индию”, по пьесе финско-шведского писателя Мартина Сёдеръельма, которую ему подсунул продюсер Лоренс Мармстедт. Как рассказывает Бергман в “Образах”, автор написал собственный сценарий, однако он оказался неприемлем, и Мармстедт предложил Бергману поехать вместе с ним в Канны – он поиграет там в рулетку, а Бергман переработает сценарий. “Заодно можно будет вкусно поесть и выпить, ну и познакомиться с соответствующими дамами”.

Бергман поселился в маленьком номере на самом верху отеля “Мажестик”, с видом на железную дорогу и два брандмауэра. Развлекались они по-царски, знакомились с колоритными личностями, посещали казино и совершали экскурсии. В письмах домой жене Ингмар Бергман подробно рассказывает о фантастических впечатлениях и о том, в каких длиннущих трапезах он участвовал и сколько разносолов научился поглощать (“Ох и еда. Разжирею как поросенок”). Удивительно, как он умудрился одновременно закончить сценарий, над которым интенсивно работал в течение двух недель.

В мае Бергман вернулся на родину и, судя по дневниковой записи матери, выглядел посвежевшим и веселым. Затем он, стало быть, женился на Эллен, чтобы весьма скоро начать постепенный уход из семьи. Соблазнов для отца маленького ребенка хватало с избытком, и все молодые женщины, которым он давал роли и которых встречал в связи с театром, были для него как бы постоянной приманкой. В марте 1947 года в одном из писем доброму другу Херберту Гревениусу, единственному человеку, которого он “когда-либо мог держать за руку”, он писал:

После премьеры “День кончается рано” случилось чертовски много мерзкого, подлого и отвратительного. Я бродил в пустом пространстве, и злые силы поочередно заполняли мрак. Очень странно угодить в такое

положение. Хотя я, пожалуй, этого ожидал. Все шло слишком легко и слишком гладко и было слишком переполнено настроениями. Во всяком случае, я отчетливо вижу, что “молитвенная гомеопатия”, которую я сам себе назначил, не годится и в такой ситуации, как моя, совершенно неудовлетворительна. Разбить мою веру было проще простого. Кто бы это ни сделал. Вероятно, я сам. Мне слишком претят люди вообще и слишком нравятся собственное “я” и собственная чертовщина, чтобы я мог выстроить что-нибудь прочное. Удивительно, когда вдруг словно бы видишь все, как оно есть, знаешь, понимаешь, а затем тебя вдруг сбивают с ног и ты снова под водой. Сделать я могу только одно – честно постараться не слишком упиваться страхом и не увлекаться взбудораженностью и отчаянием. Ну а чтобы отвлечься от абстракций, могу рассказать, что атака началась с девушки. И дальше все покатилось как снежный ком. Девчонка аморальна, истерична, невероятно талантлива, красива и т. д. Таково было начало – и пошло-поехало, и вот результат: ничего непоправимого, но вся постройка тем не менее разрушена. Как я уже говорил, молиться я больше не в силах. Буду очень признателен, если ты помолишься за меня.

Что конкретно случилось и кем была женщина, явно вскружившая ему голову, из письма не видно. Но оно показывает, в каком эмоциональном состоянии он находился и как велик был риск клюнуть на малейшую приманку.

Возвращение к семье и встреча с Эллен Бергман прошли, как он предпочитает отметить в своих мемуарах, торопливо и не особенно удачно. Его обуяла безумная ревность, когда он обнаружил, что жена общается с художницей-лесбиянкой. Однако совместная жизнь продолжалась и давала плоды. Эллен опять забеременела, и они переехали в квартиру побольше в районе новостроек в пригороде Гётеборга. В сентябре Эллен написала свекрови о том, как он счастлив успехом “Женщины без лица” Густава Муландера. Фильм частично основан на истории взаимоотношений Бергмана с Карин Ланнбю.

Он потихоньку привыкает к новой квартире, что – как вам, тетя Карин, известно – обычно требует времени. Пока что он, стало быть, доволен и весел, и каждый день приходят кучи поздравительных телеграмм и благодарных писем от людей, которые посмотрели

фильм, —

писала Эллен свекрови. Из разговоров с Эллен по телефону Карин Бергман вынесла впечатление, что в общем и целом все у них хорошо.

Что до “Женщины без лица”, то Карин Бергман пребывала в некотором смятении. Фильм страшный, правдивый и глубоко поучительный. Но прежде всего: “Я знаю Ингмара, и мне известно, какую историю он рассказывает. А вот люди, незнакомые с подоплекой, поймут ли они?” Как бы то ни было, Эрика Бергмана фильм взволновал, что ее порадовало. Когда же Ингмар Бергман в этой связи приехал в гости, он был, как казалось матери, верен себе: непосредственный и ребячливый. “Есть что-то приятное в его невозмутимости, по крайней мере что касается внешнего успеха”.

В октябре 1947 года “Векку-Журнален” опубликовал довольно большую статью об Ингмаре Бергмане. Среди многого другого читатель узнал, что он рассматривал театр как способ освободиться от страха, что сцена была для него рассудочным барьером от темных сил, что он, представитель поколения сороковых годов, разделял жадный интерес к задворкам жизни, где жирные, мерзкие крысы шныряют вокруг помоек.

> Величайшее удовольствие он получает, когда ему удается мастерски вплести в представление изощренную деталь, раскрывающую человеческую душу, этакий натуралистический штришок, например, ночной горшок под кроватью, заставляющий публику в партере вздрогнуть. Он любит шлюх и проходимцев. Пожалуй, Ингмар Бергман еще не вполне преодолел тот важный миг в жизни пасторского сына, когда он впервые рискует чертыхнуться, впрочем, у него есть и принципиальное объяснение этой страсти копаться в помойных ведрах души.

Наверно, не такую статью Карин Бергман хотелось бы прочитать в еженедельнике, популярном в ее собственном окружении. Когда журналист поставил риторический вопрос, какой дух царил в пасторском доме и как главный пастор смотрел на интерес сына к театру, и сам себе ответил, что этот дом, вероятно, был не строже других, но даже самая гуманная семейная тирания явно ощущалась восприимчивым и ранимым мальчиком вроде Бергмана как игра на нервах, она записала в дневнике с неопровержимым сарказмом: “Рассуждают о его детстве и юности и считают неоспоримым, что он не мог

вписаться в рамки, установленные в доме главного пастора! А я вот думаю, в какие рамки он бы мог вписаться. Все наши дети рвались на свободу, и в первую очередь – Ингмар”.

Когда она вместе с Эриком посмотрела его фильм “Корабль идет в Индию”, он ей решительно не понравился.

> Ингмару не следовало снижать планку и снимать вот такое. […] Давненько страх и тревога не наваливались на меня так сильно. Уж не вчерашний ли фильм подсознательно мучил меня, усугубив ситуацию. Вечером позвонил Ингмар, и мы говорили об Эльсе и Лене. До чего же примитивно и эгоистично иной раз рассуждают мужчины. Ах, если б я могла заставить Ингмара правильно смотреть на Эльсу.

Газеты сообщали, что Ингмар Бергман получил от голливудского продюсера Дэвида О. Селзника предложение написать в соавторстве с Альфом Шёбергом сценарий по пьесе Ибсена “Кукольный дом”. Карин Бергман восприняла новость с материнским скептицизмом: “Да, лишь бы он не потерял себя”.

В августе Ингмар и Эллен Бергман посетили Воромс в Даларне, ужинали с его родителями. “Ингмар был на редкость спокоен и мил. Эллен приветлива и весела”. Но под поверхностью бурлило. По возвращении в Стокгольм Карин Бергман записала в тайном дневнике, каково было снова играть роль пасторской жены: “…когда за фасадом таится бесконечно много боли, страха, борьбы и одиночества, все кажется невыносимым”.

В пасторском доме отношения между Эриком и Карин Бергман очень обострились. С утра дурное настроение и резкие стычки. Случалось, пасторша утром выходила из своей комнаты пошатываясь – то ли от бессонницы, то ли от снотворного. Мелочи вырастали порой до исполинских размеров, и оба внезапно теряли самообладание и начинали скандал. Дочь Маргарета радовалась, когда в таких случаях успевала уехать на учебу.

Пятого мая 1948 года родились близнецы Анна и Матс. “Пусть большая ответственность поможет ему стать настоящим мужчиной и опорой для близких”, – записала в дневнике Карин Бергман. Письма к ней Эллен Бергман, датированные осенью и зимой, изображают совершенно нормальную семейную жизнь, в центре которой конечно же дети. Теперь у них была няня, уроженка Вермланда, Инга-Лилль Андерссон, которая помогала в большом хозяйстве. По-видимому, именно из писем Эллен, а не из уст отца ребятишек Карин Бергман узнает, как живется ее внукам и как они развиваются.

> Сегодня ходила с Матсом к врачу, потому что у него прямо под животом какая-то опухоль. Пока с мальчиком все в порядке, но не исключено, что там появится грыжа, поэтому в ближайшее время надо хорошенько за ним понаблюдать. В остальном у детей все отлично, Анна уже ползает по полу вдоль и поперек. Матс позадумчивее; Анна шумит и хихикает целыми днями. Эва и Ян сегодня пекли печенье, а сейчас едят бананы. В субботу, наверно, приедет Ингмар, на несколько дней; если он вырваться не сможет, вечером в субботу я сама поеду проведать его, —

писала Эллен Бергман в ноябре, а в начале декабря пришло время готовиться к Рождеству:

> Что касается подходящих подарков детям, то, наверно, практичнее всего книжки с картинками. Выпускают так много новых – веселых и приятных. И послать легче легкого. Еще Яну нравятся механические игрушки, а Эве – игрушечная посуда, чтобы варить куклам еду. Кастрюльки, сковородки и проч. Анне и Матсу лучше подойдет какая-нибудь маленькая резиновая вещица. Насчет Ингмара не знаю. Только не книга. Книги он сам себе покупает, какие хочет. Может быть, НОЖИ ДЛЯ МАСЛА. Для нас обоих. Но вообще-то странно с подарками для нас. Хотя Эве и Яну будет приятно получить что-нибудь от бабушки и дедушки.

Рождество в пасторском доме Карин Бергман описывает как очень приятное время. У них гостила дочка Ингмара Лена, ходила за бабушкой по пятам, “что ужасно мило”. Когда же приехал отец Лены, ей показалось, он рад видеть дочку у бабушки. Он и Эллен Бергман после обеда напились чаю, а потом отправились смотреть последний фильм Густава Муландера “Ева”, для которого Бергман в соавторстве с режиссером написал сценарий. “Я не была тронута так, как хотела бы, но фильм, конечно, искренний, как все, что пишет Ингмар”.

Примерно в это самое время ситуация в браке начала принимать дурной оборот. В январе 1949 года, когда Эллен Бергман посетила пасторский дом, она выглядела нездоровой, похудевшей и нервной.

> И я не удивляюсь, коль скоро все, что она рассказывает, правда. Мне больно, что Ингмар так мало сознает свой долг и ответственность. Но я давно

> догадывалась, как с ним обстоит. Однако и Эллен ведет себя с ним неразумно. Долго ли так будет продолжаться? […] А Ингмар – как могло с ним так получиться?

Сын по-прежнему оставался для Карин Бергман источником постоянных тревог. Ее терзали противоречивые чувства. Порой он был обаятельным и как будто бы теплым, освещал все вокруг. Когда он пригласил родителей в офис дистрибьюторской фирмы “Террафильм” посмотреть его новый фильм “Тюрьма”, они очутились в самой что ни на есть изысканной компании – там присутствовали звезды этого фильма Хассе Экман, Эва Хеннинг и Биргер Мальмстен, а также критик Херберт Гревениус с супругой. Карин Бергман подытожила переживания того вечера следующим образом: “Фильм жуткий, я вот думаю, найдет ли Ингмар в жизни более глубокий и более позитивный смысл, пока находится в таком окружении, как сейчас. Господи, помоги нам с детьми!”

На брак Ингмара и Эллен Бергман отчасти наложили отпечаток взаимные подозрения в неверности. В одном из писем к мужу Эллен Бергман писала, что до нее дошли кое-какие слухи и при следующей встрече им надо хорошенько во всем разобраться:

> Только будь добр, говори со мной откровенно. Я требую этого, что бы ты потом ни думал. Ты обещал мне говорить правду, но не сдержал слово. Вот я и пишу тебе, чтобы ты успел одуматься. И если замечу, что ты не говоришь все, как есть, то выход у нас лишь один: решительно покончить с этим адом, ведь для меня это именно ад. Если мы сумеем все прояснить, то впредь предоставим друг другу полную свободу, как когда-то договорились, но с взаимным обещанием “честной игры”. И сейчас я прошу тебя хорошенько подумать об этом. Не звони и не устраивай сцен, а когда все обдумаешь, мы оба раскроем карты. Сделай так, если хочешь, чтобы у нас продолжилось. Ты вряд ли любишь меня… потому что любишь только себя. В общем-то я сама не понимаю, почему остаюсь с тобой. Но мне жаль тебя, ведь таких, кто любит тебя по-настоящему, найдется не много (может быть, двое). Остальные тебя используют. Хоть ты и пытаешься внушить себе противоположное.

В одном из ответных писем жене Ингмар Бергман писал, что главное, они никогда не хотели причинять обиду и всегда старались понять друг друга:

> Самочувствие прескверное, я ужасно устал и отчетливо сознаю, что самое существенное так и не сказал. Я написал такое множество пьес и прочего барахла, что все, что пишу тебе, становится вроде как повтором. Но ты должна набраться со мной терпения. Раз уж я такое дерьмо, что не могу или не хочу идти перед тобой на уловки. […] Дорогая Эллен, в этих смешных и безнадежно-жалких письмах ты должна чувствовать попытку искренности. И должна понять, что я очень тебя люблю и эта любовь отвечает лучшему во мне и мобилизует его. Знаю, тебе требуется от жизни иное, большее, чем все это, и что при желании ты можешь уйти от меня. Но я вправду прошу тебя набраться со мной терпения. Ведь, по-моему, мы обязательно должны быть вместе.

Весной Ингмар Бергман снимал фильм “Жажда”, с Биргером Мальмстеном в главной мужской роли. Мальмстен участвовал во многих театральных постановках Бергмана и играл главные роли в “Травле” и “Дожде над нашей любовью”. В конце апреля съемки завершились, и они решили съездить на Ривьеру. Так оба очутились высоко в горах между Каннами и Ниццей, в городке Кань-сюр-Мер, часто посещаемом художниками и другой артистической публикой. Бергману досталась солнечная комната с красным плиточным полом и с видом на море и на гвоздичные плантации в долине. Ингмар Бергман решил остаться здесь на два месяца. Эллен Бергман получила ангажемент хореографа в гётеборгском парке Лисеберг, за детьми присматривала бабушка, и “все было довольно спокойно”. С финансами в это время стало получше, поскольку Бергман только что закончил съемки и имел контракт на еще один фильм в конце лета. Собственно говоря, заняться было нечем, и он изнывал от скуки. Мальмстен мигом свел знакомство с женщиной, которая “наложила на него лапу и преследовала буквально повсюду”. И Бергман тоже подцепил “бабенку”, с которой водил компанию и от которой не мог отвязаться. Он встречался с кое-какими друзьями, “художниками и прочими” и фактически почти не просыхал. Сидел в этом городишке, скучал по дому и начал романтизировать свой брак, который “до сих пор с истинным наслаждением кромсал на куски в связи с “Жаждой”. Расчувствовался, стал думать о времени в Хельсингборге, как здорово тогда было, о симфоническом оркестре и о том, что он не настолько гениален, как воображал. Устроившись на террасе, писал сценарий фильма, к съемкам которого приступит в августе. Речь там пойдет о молодой паре –

музыкантах из Хельсингборгского симфонического оркестра, и эти маски, пишет он, по сути, формальность. Речь пойдет о нем и об Эллен, о произволе искусства, о верности и измене.

Он был совсем один, ни с кем не разговаривал, ни с кем не встречался, писал он не вполне правдиво. Каждый вечер он изрядно выпивал и принимал знаки внимания со стороны русско-американской художницы, “атлетичной, но хорошо сложенной, темной как ночь, с сияющим взглядом и щедрым ртом – этакой монументальной амазонки, излучающей безудержную чувственность”. Тем не менее Бергман утверждал, что соблюдал супружескую верность. Он и Эллен Бергман обменивались осторожными, но нежными любовными письмами. “Под влиянием забрезжившей надежды на возможное будущее нашего пошатнувшегося брака образ главной героини фильма сформировался как чудо красоты, верности, ума и человеческого достоинства. Герой же обернулся надутой посредственностью – непостоянный, лживый, напыщенный”.

В одном из писем к Эллен Бергман он вообще отрицал, что смотрел на других:

> Да, я здесь одинок. Ты предположила, что я трачу здесь время на какую-то бабенку. Берегись. У меня есть прекрасное доказательство прямо противоположного. Получишь ответ черным по белому. Прочтешь то, что я сейчас пишу. Пишу для тебя. Я ведь люблю тебя и плевать хотел на других баб, пусть даже писаных красавиц (сейчас их тут вообще фактически не больше двух-трех, фактически крайне мало). […] Все-таки до чего же людям хреново (я не имею в виду Биргера) и до чего же хорошо мне, ведь у меня есть ты и дети. Я часто думаю о таких вещах в этом очень красивом городе, только вот населенном обломками жизней. Людьми, которые вынуждены каждый вечер здорово напиваться, чтобы не покончить с собой. Наверно, и я бы стал таким же, не будь у меня тебя, Эвы, Янне, Матса и Анны. Так что передай им огромный привет.

Сущий коктейль из алкоголя, путаных чувств, брошеного дома и вины, сдобренный изрядной дозой сентиментальности. Пожалуй, логично, что сценарий фильма “К радости”, над которым он работал, заканчивается тем, что главная героиня, чьи героические черты он заимствовал из идеального образа жены, получает смертельные ожоги, когда взрывается керосинка; наверно, он не сумел бы справиться с чувствами вины, если б по крайней мере в вымысле не позволил себе создать идеальную

женщину, достоинствам которой соответствовать не мог.

Через некоторое время после возвращения с Ривьеры Ингмар Бергман явился на ужин к родителям “сияюще свежим, загорелым и на редкость элегантным в новом костюме”, и Карин Бергман поняла, “что он способен очаровывать людей”. Эллен Бергман, напротив, была “маленькая, худая, но с неимоверной энергией работала над своей хореографией. Когда она рядом, я чувствую между нами странное отчуждение, хотя вовсе этого не желаю. Но как такое преодолеть?” Слушая его радиопьесу “Фиг тебе”, смешной драматический треугольник – супружеская пара, их дочь и ее приятель, а также роковая женщина из города, – Карин Бергман думала, что там есть много чего, что необходимо принять во внимание. Однако пьеса, которую он попросил ее прочитать, поставила ее в затруднительное положение: “Почему эротические проблемы, а не что-нибудь другое?” Когда позднее тем вечером он позвонил ей, у них состоялся долгий и приятный разговор. “Иногда между нами возникает такой вот замечательный контакт. “Наряду с Эллен вы, мама, моя лучшая подруга”. Знаю, это наверняка просто каприз, и все-таки радуюсь”, – писала Карин Бергман в дневнике.

В “Волшебном фонаре” Ингмар Бергман изображает, как выглядела квартира в Гётеборге. После смерти мужа, оставившего большие долги, теща вместе с маленьким сыном переехала к ним. Они устроились в бергмановском кабинете, стена в стену со спальней Ингмара и Эллен.

> Вдова часто плакала по ночам. Кроме того, у нас жила моя старшая дочь Лена, так как Эльса по-прежнему прихварывала. И в довершение всего – симпатичная, но хмурая особа, помогавшая по хозяйству. Общим числом нас было десятеро”.

Эллен Бергман надрывалась из последних сил и работать по профессии могла только от случая к случаю. Семейные сложности возрастали. “Интимная жизнь, которая была для нас спасением, прекратилась по причине скверной звукоизоляции и соседства тещи и ее маленького сына”.

Чтобы спокойно работать, Бергман перебрался в свой спартанский кабинет в театре и вечерами правил там сценарии, писал пьесы и фильмы. Он мотался туда-сюда между Гётеборгом и Стокгольмом, где жил в пансионе, в солнечной комнате с видом на сад, “в защищенном приюте”.

Предпосылки для того, чтобы при таких обстоятельствах Бергман остался в браке, были, мягко говоря, минимальны. Ему было тридцать лет, после “фиаско” с “Кризисом” его вытурили из

“Свенск фильминдустри”, финансовое положение семьи пошатнулось, и они постоянно ссорились из-за денег, поскольку оба не отличались ни бережливостью, ни осторожностью, пишет он.

> Дом клокотал от детского крика, сохнущих пеленок, плачущих женщин и яростных сцен ревности. Все выходы были закрыты, отсюда вынужденный обман. Эллен знала, что я лгу. Ее разъедало отчаяние, она умоляла сказать правду, но я никак не мог сказать правду, не знал уже, где она, правда.

Девятого сентября 1949 года, когда Эллен Бергман развернула “Экспрессен”, на первой полосе доминировало сообщение, что бывший солдат и ветеран войны Говард Унру хладнокровно застрелил два десятка людей в Камдене, штат Нью-Джерси, США. Шестилетний мальчик был застрелен в парикмахерском кресле. Тринадцать человек скончались, из них трое детей.

Газета сообщала также, что в Стокгольме начнется строительство нового моста Сёдербру, что некому 22-летнему финну грозил двойной срок службы по призыву, что в верховном суде рассматривается громкое дело об оскорблении чести и достоинства между министром по социальным вопросам Мёллером и лонгхольмским врачом доктором Бойе и что актриса Инга Тидблад заболела.

На восьмой странице в разделе “Знакомые знакомых” ее взгляд задержался на небольшой заметке под заголовком “На самолете”:

> Большая группа лиц, направляющихся в Венецию на конгресс ПЕН-клуба, вылетела сегодня утром с аэродрома Бромма. Прежде всего можно назвать принца Вильгельма, а также книгоиздателя Калле Бьёркмана и редактора Эрика Вестберга с женой Гретой. Кроме того, там видели Ингмара Бергмана с женой, они намереваются посетить Ривьеру – Бергман пробудет в отъезде 6 или 7 недель.

Эллен Бергман действительно собиралась в Париж, но лишь через несколько дней. Причем определенно не вместе с мужем.

В Париж с Гюн Грут

Во многом ирония судьбы, что именно на съемках “К радости” летом 1949 года Бергман встретил свою новую женщину.

Журналистка Гюн Грут приехала в Хельсингборг вместе с шефом “Фильмжурнален” Гуниллой Хольгер, чтобы написать о создании очередного фильма Ингмара Бергмана. Этот журнал был шведским аналогом американского “Верайети”, и на его обложке красовались все крупные кинозвезды.

Некоторые сцены снимали в Хельсингборге, в тамошней ратуше влюбленная пара из фильма сочетается браком, как двумя годами раньше Ингмар и Эллен Бергман. Вечером съемочная дирекция пригласила всех на ужин в ресторан “Гранд-отеля”, где несколько лет назад Ингмар Бергман видел, как Эллен отплясывает на столе канкан.

Теперь же его мысли занимала журналистка. После ужина они прогулялись к морю и под влиянием минуты поцеловались в теплой и тихой ночи. Гюн Грут была “красивая, высокая спортивная девушка” с ярко-голубыми глазами, громким смехом, красивыми полными губами, открытая, гордая, цельная натура, полная женской силы, пишет Бергман в “Волшебном фонаре”. По окончании съемок они встретились в Стокгольме, поужинали в богатом традициями рыбном ресторане “Катлен” и сходили в кино. В следующие выходные поехали в Трусу, сняли номер в гостинице и встали с постели только утром в понедельник. И решили сбежать в Париж.

Но прежде чем сесть на самолет в Бромме, где их видели репортеры “Экспрессена”, Бергман съездил в Гётеборг, чтобы признаться во всем жене. “Был поздний вечер, она уже легла спать и обрадовалась неожиданному визиту. Не снимая плаща, я сел на край кровати и все рассказал”. Кажется, все произошло быстро, но именно этот миг и вообще предательство будут преследовать Бергмана до конца дней.

В свою очередь Эллен Бергман позвонила свекрови и сообщила о случившемся. “Два тяжких взволнованных разговора”, – записала позднее в дневнике Карин Бергман. Она и муж находились в Лександе, и пастор немедля выехал в Стокгольм, чтобы встретиться с сыном и попытаться образумить его, хотя Карин Бергман на сей счет особо не обольщалась. Седьмого сентября, накануне отъезда в Париж, Эрик Бергман позвонил жене и рассказал, что минувшей ночью они проговорили четыре часа – с десяти вечера до двух ночи. Сын

держался открыто и тепло, но вместе с тем казался несчастным и расстроенным. В глубине души он не хотел уезжать, но ничего уже не поделаешь, ехать придется, сказал он с, похоже, деланной искренностью, ведь, судя по всему, он отчаянно рвался с новой возлюбленной на бульвары, в кафе и театры.

Гюнвор Хагберг родилась в 1916 году в Линчёпинге, где и росла единственным ребенком в семье Эббы и Роберта, старшего официанта в Масонской гостинице. Она так увлекалась спортом, что стала превосходной гимнасткой и участвовала в финальном забеге на 60 метров на чемпионате школьников, проходившем на Стокгольмском стадионе, – спортсмены бежали босиком, так как правила не допускали шиповок. Спорт, конечно, отнимал массу времени, но в школе она успевала прекрасно.

С 1941 года она состояла в браке с инженером Патентно-регистрационного ведомства Хуго Грутом. У них было двое сыновей 1942 и 1946 года рождения, а жили они на вилле в Дандерюде. Судя по ее позднейшим утверждениям на бракоразводном процессе и в последующей тяжбе по поводу детей, муж изменял ей задолго до того, как она встретила Ингмара Бергмана. Точно так же и Хуго Грут будет обвинять жену в неоднократных изменах, в частности, с неким “закоренелым алкоголиком”, которого она привозила в дандерюдскую виллу, когда дети находились дома.

Гюн Грут возражала, что муж никогда не проявлял к сыновьям большого интереса. Когда она ждала первого ребенка, Хуго Грут настаивал, чтобы она сделала аборт, ведь в противном случае будет ущемлена его свобода. Он считал, что верность в браке не имеет ни малейшего значения, и, по словам жены, предлагал ей завести любовника. В 1948-м Хуго Грут хотел уйти из семьи, которая с тех пор жила как бы на чемоданах.

В таких обстоятельствах не вызывает особого удивления, что Гюн Грут не удержалась от поездки в Париж с Ингмаром Бергманом. Но, как Бергман трезво констатирует в своих мемуарах, их роман с самого начала “отягощали всевозможные несчастья”.

Гостиница “Сент-Анн” расположена в сердце Парижа, в нескольких кварталах севернее Тюильри и театра “Комеди Франсез”, неподалеку от Лувра и Оперы. Ингмару Бергману и Гюн Грут отвели темный, затхлый, холодный и сырой номер, более всего напомнивший Ингмару Бергману гроб. Положив в карман купюру в десять тысяч франков (примерно 150 крон), портье взамен отпер им удобный номер окнами на улицу, с просторной ванной, оснащенной витражными окнами, теплым полом и

большими раковинами.

Питались они в одном и том же ресторане, чье меню гармонировало с его беспокойным желудком. Но однажды обоих все-таки подкосила диарея, и, разумеется, не где-нибудь, но на вершине Эйфелевой башни; лифтеры бастовали, пришлось пешком спускаться вниз к такси и, подстелив на заднее сиденье газеты, возвращаться в гостиницу.

Гюн Грут предстояло по заказу “Экспрессена” писать о моде, а Бергману – ходить по кино и театрам и помогать младшему другу и коллеге Вильготу Шёману заканчивать сценарий для его первого фильма. Когда Шёман на автобусе приехал с аэродрома, его встретили Бергман и Грут, обняли и поздравили с прибытием в Париж.

Шёман не знал, кто, собственно, эта женщина. Отметил, конечно, что она блондинка, шведка и хорошо владеет французским, поскольку с легкостью заказала такси, которое доставило его в гостиницу. Она не переводчица и не секретарь; от нее и от Бергмана веяло чем-то совсем иным. Шёман видел, как Бергман и Эльса Фишер работали сообща, но такого ему наблюдать не доводилось – Ингмар на первой стадии влюбленности. К счастью, он не встречался с Бергманом в Гётеборге и никогда не видел его вместе с Эллен и детьми, а потому его не мучило ощущение предательства, пишет он в своих мемуарах. Как личность Грут вызывала у Шёмана уважение – женщина, с которой есть о чем поговорить, вдобавок журналистка и в известном смысле коллега, поскольку Шёман сотрудничал в журнале “Мы”.

Он размышлял о семьях Бергмана и Грут, оставленных влюбленными беглецами, и о том, что тем временем происходит в Швеции. Однажды Грут получила письмо от своего мужа Хуго. Бергман стоял рядом, когда она вскрывала конверт, и Шёман заметил, что он мгновенно напрягся, стал недоверчив, высокомерен и ироничен. О содержании письма Шёман ничего не узнал, но можно предположить, что господин Грут был недоволен сложившейся ситуацией.

Обычно все трое питались в кафе “Ля потиньер”, снискавшем одобрение Бергмана, но на пробу наведались как-то раз и в один из ресторанчиков на площади Пигаль. Меню было написано от руки и размножено на гектографе, буквы расплывались нечеткими сизыми пятнами. Блюда, заказанные Грут “без особой материнской заботливости”, Бергман кое-как съел до половины. Он зевал, посмеивался и слишком часто подливал Шёману вина, так что, уходя из ресторана, Шёман споткнулся и угодил в лужу.

Они расположились в кафе, любуясь городским пейзажем, и

Шёман достал свой новый фотоаппарат. Отснятые им кадры уникальны – черно-белые, слегка смазанные, порой с неправильной выдержкой, они запечатлели интрижку режиссера, который вскоре прославится на весь мир, в жарком Париже на исходе лета. Бергман, в рубашке, галстуке и берете, и Грут, "… профиль, нижняя губа, короткостриженые волосы, кофточка, наброшенная на плечи". И кадры, где влюбленная парочка проходит мимо какой-то витрины на Монмартре, улыбается в объектив, потом стоит возле крутой лестницы, небрежно прислонясь к перилам.

Шёман был как младший братишка, который снизу вверх смотрит на более умелого и опытного, семью годами старшего брата. И что греха таить, старший брат Бергман нет-нет да и вгонял своего почитателя в неуверенность. Познакомились они в 1942-м, когда Бергман режиссировал "Сон в летнюю ночь" в Норра-Латин, где учился семнадцатилетний Шёман. Эльса Фишер отвечала тогда за хореографию, а Шёману выпало играть одну из ролей. Позднее Шёман попросил у Бергмана отзыв на свою первую драму, написанную "одним духом за четыре волнующие летние ночи". Они встретились в кафе, и Бергман угостил его кофе.

> Что же именно придавало ему такой авторитет, что я сразу поверил всему, что он говорил? Тот час в кафе "Норма" стал для меня определяющим на годы вперед: укрепил мою веру в себя и соединил с ним дружескими узами. Наверно, многие из его сотрудников привязались к нему сходным образом: он помог им поверить в себя. Тем самым произошло и распределение ролей. Я нуждался в авторитетном наставнике, получил его – и начались типичные ученические метания меж бурным восторгом и боязливой критикой, —

писал Шёман двадцать лет спустя.

Однажды под вечер, когда Гюн Грут была чем-то занята, они пошли в кино, посмотрели "Манон" французу Анри-Жоржа Клузо. Впервые Шёман смотрел фильм вместе с "Выразительным", как он называет Бергмана, который своими громкими комментариями раздражал и соседей, и своего спутника, – бесконечные стоны, вздохи и язвительные реплики.

> После фильма я даю Ингмару понять, каково мне было. Он изумлен: "Что ж ты сразу-то не сказал!" – "А что я должен был сказать?" – "Попросил бы меня заткнуться, черт подери!" Интересно, каким образом? Он

> даже не догадывается, какое безапелляционное впечатление производит. И как давит на меня: я теряю всякую самостоятельность. И что будет, если я попробую? “Генеральша была просто ужасная”, – говорю я о последней пьесе Жана Ануя “Ардель”. “Генеральша?! – говорит Ингмар. – Да она единственная, кто был хорош во всем спектакле!” Он наклоняется вперед и объясняет, почему она хороша. Вот так всегда и бывает. Он отметает все своим превосходящим опытом, а я забиваюсь в угол. Сижу там и сгораю со стыда, потому что собираюсь писать в журнале “Мы” о парижском театре. Знаю ведь! Я критик, я принадлежу к неприятельскому лагерю.

Слабая, подчиненная позиция Шёмана по отношению к наставнику позднее еще обострится. Однако сейчас они наслаждались всем, что Париж мог предложить из кулинарных приключений, выставок, концертов и театральных постановок – “Мизантроп” Мольера, “Орлеанская дева” на музыку Жоржа Бизе.

Ингмар Бергман находился на должном расстоянии от того, что начинало происходить дома, в Стокгольме. Измена жене и детям постоянно витала вокруг словно дымка, но странным образом действовала возбуждающе, пишет он в мемуарах. “Несколько месяцев жила дерзкая инсценировка, неподкупно правдивая и оттого необходимая. Когда придет счет, она окажется ужасно дорогой”.

Вот почему жутковато, что Эллен Бергман в это время тоже была в Париже. Что привело ее во французскую столицу, неясно. Но остановилась она в гостинице “Министёр” на улице Сюрен, неподалеку от площади Мадлен, довольно близко от бергмановской гостиницы. Однажды вечером, когда Бергман и Грут смотрели в театре “Атеней” французского актера Луи Жуве в пьесе Жана Жироду, Эллен Бергман сидела прямо перед ними. “Она обернулась и рассмеялась. Мы сбежали”, – пишет он в “Волшебном фонаре”.

В письме к Карин Бергман Эллен позднее рассказала, чему стала свидетельницей. Если в театре, глядя на изменника-мужа, она рассмеялась, то либо хотела таким образом скрыть свои истинные чувства, либо Ингмар Бергман превратно истолковал ситуацию. Мать жалела невестку: “…она лежит больная в Париже, совсем одна. То, что она рассказывает, так тягостно, что я не знаю, как с этим справиться. […] Впору поверить, что Ингмар создан иначе, чем мы, остальные”.

Эллен Бергман решилась и уже начала подготовку к разводу. Перед отъездом в Париж она посетила адвоката, который затем написал Ингмару Бергману насчет брачного посредничества, какое с 1915 года предписывал закон. Супруги, намеревающиеся развестись, должны встретиться с посредником, и лишь после этого суд может вынести решение о годичной раздельной жизни. Среди общепринятых причин развода числилось раздельное проживание супругов в течение трех лет или двух, коль скоро один из супругов уходил. Решение о быстром разводе суд принимал, если один из супругов совершил прелюбодеяние, умышленно заразил партнера венерической болезнью, пытался убить его или нанес ему тяжкие телесные повреждения, был осужден минимум на три года исправительных работ, злоупотреблял наркотическими средствами или более трех лет страдал душевной болезнью без надежды на выздоровление.

В случае Бергмана можно было констатировать неверность, а также уход одной из сторон, пусть случайный, но кто может знать наверняка?

В одном из писем к свекрови Эллен рассказывала, что, несмотря на будущее посредничество, твердо решила развестись.

> Наверно, и для Ингмара так будет лучше всего. Он тогда не почувствует принуждения, которое, похоже, порой испытывает. С другой же стороны, чего стоит жизнь без принуждения. Да, все это безграничная неудача, но иного выхода, кроме развода, я не вижу. И мне ужасно жаль вас, тетя Карин, и дядю Эрика, простите меня, но я ничего не могу поделать. Простите! Я бы охотно показала вам Матса и Анну, ведь дядя Эрик их еще ни разу не видел.

Карин Бергман сочла решение невестки жестким и хладнокровным.

> Для Ингмара возврата нет. Она его не примет. Никогда не забуду ее последние жесткие слова о нем. Но не следует забывать, что для женщины нет более глубокой обиды, чем та, какую причинили ей, —

записала она в дневнике. Она набросала письмо к Эллен Бергман, хотела убедить невестку любой ценой сохранить брак с Ингмаром Бергманом. Отчасти винила Эллен (более сильную) и защищала сына (более слабого):

> Дорогая Эллен, спасибо за твое вчерашнее письмо.

Оно тронуло меня искренностью и теплотой. Но одновременно нам очень больно, что ты упорно видишь теперь один-единственный выход. Я понимаю тебя, Эллен, и тем не менее. Прости, но у меня из головы нейдет одна вещь, о которой я должна тебя спросить. Когда ты на Новый год приезжала в Стокгольм и рассказывала о грандиозных сложностях с Ингмаром, главная твоя мысль была примерно такова: я попытаюсь договориться с Ингмаром, скажу ему, что если он будет со мной абсолютно честен, то потом может поступать как угодно. Прежде всего – абсолютная честность. Помнится, я даже сказала на это, что долго так продолжаться никак не может, но ты тогда верила, что справишься, лишь бы знать, что он с тобой честен. Вот Ингмар и уехал, в твердой уверенности, что ты справишься, если он будет с тобой искренен. И в разговоре с Эриком он без конца повторял: о разводе вообще нет речи, и Эллен была невероятно спокойна, когда я приезжал поговорить с ней. Нет нужды упоминать, что Эрик, как и я на Новый год, возразил, что долго так продолжаться никак не может. Но я просто хотела спросить тебя: ты сказала Ингмару той ночью, когда вы [неразборчиво], что, если он будет поступать таким образом, развода не будет, или вернулась на прежний курс? В последнем случае Ингмар ведь должен был сказать, что ты говорила одно, а поступала по-другому. Может, было бы правильнее подождать с окончательным решением. Вероятно, ты скажешь, что я безнравственна, раз говорю так. Нет, просто, по-моему, тот, кто сильнее, должен быть абсолютно последовательным и абсолютно верным, пока есть хоть малейшая возможность начать снова. Наверно, ты обидишься на меня за это письмо. Куда легче было бы поговорить, чем писать, но ведь для меня ты сейчас недостижима. А когда я сказала о моих сомнениях Эрику, он ответил, что с моей стороны честнее всего будет написать тебе. Я понимаю ход твоих мыслей, ты хочешь, чтобы вокруг тебя было чисто. Ты больше не в силах жить в грязи и бесчестности. И тебе кажется, ты поступаешь так ради детей, но, Эллен, детям Ингмар ничего плохого не сделал, и, возможно, если ты, невзирая ни на что, сумеешь сохранить верность и терпимость, то в конце концов завоюешь Ингмара целиком. Тогда тебе не понадобится одолевать огромную неудачу, как ты пишешь. Прости, что мне пришлось

> написать так. Вероятно, это никак не повлияет на твой образ действий. Но я думаю, стойкость любви в конечном счете единственное принуждение, которое подчинит Ингмара.

С горячим приветом тетя Карин, благодарная за каждую твою строчку.

Сама Карин Бергман осталась в браке ради детей, наперекор отчаянию и желанию уйти от пастора, поэтому такая реакция с ее стороны не удивительна, коль скоро она считала, что Эллен *оставляла* свой брак ради детей. Карин Бергман полностью игнорировала тот факт, что из дома-то сбежал ее сын. Напротив, она полагала, что Эллен следовало бы простить его, поскольку он честно признался в измене, а значит, по-прежнему заслуживает любви и лояльности своей жены.

Эта логика подействовала на Эллен Бергман лишь отчасти, и уговоры пасторши, как она сама и опасалась, результата не дали. И если верить тому, что Бергман писал своему другу Херберту Гревениусу, у него тоже не было ни малейшего желания мириться:

> Тебе известно, что Эллен всю прошлую осень требовала развода? Пусть теперь подает на развод, по-моему, это будет замечательно. Для меня и для нее, ведь она пять лет сетовала и сокрушалась о том, как я ужасен. Теперь мы оба знаем, как я ужасен. Нет смысла терзаться угрызениями совести, вот что я тебе скажу. Они же не идут ни в какое мало-мальски приемлемое сравнение со страданиями, какие причиняют".

Но как бы зло это ни звучало – тщеславные и бесперспективные попытки виноватого оправдать вполне осознанные грехи, – именно эта измена и этот развод будут преследовать его до конца дней.

Семья Гюн Грут направила в Париж адвоката, чтобы образумить ее. Ингмар Бергман из гостиничного окна наблюдал за странной парой – энергично жестикулирующий коротышка адвокат в голубом костюме и красном галстуке и Грут, приглаживающая рукой короткие пепельные волосы, в туфлях на высоком каблуке и тонком черном платье, обтягивающем бедра, пишет он в "Волшебном фонаре". Почему Бергман решил упомянуть именно эти детали, неясно, но контраст занимательный; режиссер видит сцену, вполне подходящую для фильма, и использует ее.

Когда вечером Грут вернулась в гостиницу, она была

взбудоражена и нервозна, и Бергман тотчас с болезненной ревностью заподозрил, что она спала с адвокатом.

Поездка в Париж была временным романтическим побегом от действительности. В Швеции ожидал пренеприятный бракоразводный процесс супругов Грут, и Ингмар Бергман будет неизбежно в него вовлечен, и не только в эмоциональном плане. Параллельно развивалась и драма в его собственном браке.

В конце октября сказка кончилась. Эллен Бергман вернулась в Швецию чуть раньше мужа и его любовницы. Разговаривая по телефону со свекровью, она казалась усталой, отчаявшейся, измученной.

> Их решение развестись, по-видимому, окончательно и бесповоротно. Ингмар все время в Париже провел с журналисткой, с которой туда уехал. Сейчас он собирается домой. К моему дню рождения? Как все будет? Ну да как-нибудь уладится, —

записала Карин Бергман в дневнике в конце октября. На другой день заехал сын.

> Увидела его и ужасно разволновалась. С его стороны полная искренность, и слушать то, что он рассказывал, было нелегко. Эрик среди всего этого держится на удивление мужественно.

В декабре она поняла, что сын твердо решил оставить жену и детей.

В Стокгольме Ингмар Бергман и Гюн Грут переезжали с места на место. Сначала поселились в пансионе на Страндвеген, потом она вернулась на свою и мужнину виллу, а Бергман уехал в Гётеборг работать над последней постановкой в городском театре. Затем, через своих знакомых, он снял небольшую квартиру на стокгольмской Грев-Турегатан и переехал туда с “четырьмя грампластинками, грязным бельем и треснувшей чайной чашкой”.

Адвокат Хуго Грута, Гуннар Шёберг, затягивал гайки. Когда считалось, что женщина бросила семью, закон был на стороне мужа, и во избежание риска потерять опеку над детьми Гюн Грут пошла на соглашение, которое детально регулировало ближайшее время. Это соглашение, подписанное 17 ноября 1949 года, во многом примечательно. По причине расхождений в браке Гюн следовало спешно выехать за границу с одним из сыновей и остаться там на три недели. В течение этого времени она

обязалась “не поддерживать связи с режиссером Ингмаром Бергманом”. То есть им нельзя было ни встречаться, ни писать друг другу, ни звонить. Другой сын останется под присмотром Хуго Грута. По возвращении домой ей предстояло решить, сохранять ли брак. Если да, то Хуго Грут готов этому содействовать. Если же она примет противоположное решение, Хуго Грут обязан содействовать как можно более скорому разводу и тому, чтобы обоих детей отдали под опеку жены. Через два дня после подписания соглашения супруги Грут по неизвестной причине сократили срок ее пребывания за границей с трех недель до двух.

Ингмар Бергман воевал теперь на три фронта. В знак протеста против высокого государственного налога на развлечения шведские кинопредприниматели грозили полностью прекратить производство фильмов, что возымело бы для него серьезные последствия. Он должен был обеспечивать уже две семьи, а вдобавок создавал новую. Годом позже кинопроизводство действительно прекратили, и Бергмана вышвырнули из “Свенск фильминдустри”, а после двух подряд неудачных постановок также и из организованного Лоренсом Мармстедтом нового театра. К тому же был и четвертый фронт – пасторский дом, где все более сомневающаяся Карин Бергман находила связи сына “причудливыми”.

Весной 1950 года в уездном суде судебного округа Сёдра-Рослаг начались слушания, интересные для потомков тем, что позднее Бергман использует их подробности в своих драмах, прежде всего в сценарии фильма “Вероломные”, режиссером которого стала его будущая, а затем и обманутая любовница Лив Ульман.

На заседании суда Гюн Грут заявила, что еще в начале сентября минувшего года рассказала мужу, что изменила ему с Ингмаром Бергманом и что теперь они живут вместе, причем с согласия Хуго Грута. Тот со своей стороны утверждал, что лишь в январе узнал об измене жены, и не только с Бергманом, но и с несколькими другими мужчинами. Оба требовали единоличной опеки над детьми и обвиняли друг друга в недостаточном исполнении родительских обязанностей.

Суд решил запросить заключение из ведомства по охране детей, Бергман воспринял это как унижение, и не удивительно, если учесть, что в итоге получилось.

Хуго Грут очень сомневался в пригодности жены как воспитательницы детей, поскольку она виновна в многократной неверности. А так как она собиралась выйти за режиссера Бергмана, у их мальчиков – коль скоро по решению суда опеку

над ними предоставят жене – будет отчим, у которого пятеро детей и за плечами уже два неудачных брака. “Учитывая, какую жизнь, по словам господина Грута, ведут определенные кино– и театральные круги Стокгольма, в результате брака матери с режиссером Бергманом дети попадут в абсолютно не подходящую для них среду”. Более того, обстановка в доме жены настолько неподходящая, что дети могут понести ущерб, даже просто навещая мать. В довершение всего финка-домработница, нанятая Гюн Грут, опять-таки не годилась для воспитания детей, ибо, по словам господина Грута, страдала “военным неврозом”.

Гюн Грут обвиняла мужа в нервозности и вспыльчивости, отчего дети в его присутствии нервничали и становились неуправляемыми. Она рассказала, что он вообще не желал иметь детей, уговаривал ее сделать аборт и завести любовника, а также сам изменял ей. И подчеркивала прекрасные отношения между ее детьми и Ингмаром Бергманом.

Ведомство по охране детей побеседовало с родственниками и близкими друзьями супругов Грут и выяснило их мнение. Кузина Хуго Грута Марианна Бекселиус и ее супруг, генеральный директор Эрнст Бекселиус, заявили, что опеку над детьми, безусловно, должна получить Гюн Грут. Хуго Грут с его дерганой натурой, вспыльчивостью и пессимизмом, не в пример ей, в опекуны совершенно не годится. Директор Э. Якобссон и его жена Ингегерд тоже считали, что детей надо отдать Гюн Грут. Она лучше заботилась о них, чем ее супруг, который, по мнению Якобссонов, страдал болезненным эгоцентризмом. Его желание получить опеку все они объясняли исключительно уязвленной гордыней.

Врач Якоб Руселль засвидетельствовал, что сложности в браке возникли задолго до того, как Гюн Грут, по утверждению ее мужа, начала ему изменять. Госпожа Лулу Семичев полагала, что Гюн Грут относилась к детям безответственно и выказала большую опрометчивость, ей бы следовало быть осторожнее со своими внебрачными связями. Эта дама разделяла мнение, что социальные круги, в каких вращается режиссер Бергман, для детей явно не подходят. Капитан Вильям Грут, двоюродный брат Хуго Грута, считал, что Гюн Грут, конечно, вполне способна позаботиться о детях, но, поскольку она теперь живет с режиссером Бергманом, дети рискуют попасть в неподходящее окружение.

Ведомство по охране детей пришло к выводу, что ни того ни другого родителя непригодным считать нельзя и тем не менее рекомендуется предоставить единоличную опеку жене.

Восьмого ноября 1950 года в ходе слушаний в уездном суде

Гуннар Шёберг, адвокат Хуго Грута, вызвал знаменитого режиссера с сомнительным кругом общения дать свидетельские показания о связи с Гюн Грут. “На вопрос Шёберга Бергман отвечает, что в течение последнего года действительно неоднократно имел интимные отношения с Гюнвор Грут”.

В доказательство, что ее страх перед буйным, неуравновешенным нравом мужа вполне оправдан, Гюн Грут предъявила справку, что лечила поврежденный шейный позвонок. Она утверждала, что муж ударил ее с такой силой, что она рухнула на пол, хотя в медицинской справке было написано, что травма возникла вследствие падения в лестницы.

Случившееся дальше Ингмар Бергман описывает в своих мемуарах, а затем в сценарии “Вероломных”. В ходе бракоразводного процесса Гюн Грут решила покончить с унижением и “отказалась впредь играть на мужниных условиях”. Она, двое ее детей и Бергман поселились в четырехкомнатной квартире на Грев-Турегатан, всего в нескольких кварталах от однушки, которую он сохранил за собой для работы. Они взяли с собой и финку-няньку, ту самую, что присматривала за детьми, пока они находились в Париже. Без няньки в самом деле было не обойтись, потому что Грут опять забеременела, на сей раз от Ингмара Бергмана.

Однажды ноябрьским вечером Хуго Грут позвонил по телефону и предложил примирение и соглашение, вместо того чтобы продолжать мучительный судебный процесс. Они договорились посетить адвоката, чтобы подготовить соглашение, и он попросил жену встретиться с глазу на глаз. Бергман пробовал отговорить ее от встречи, но она заупрямилась, ведь по телефону инженер казался мягким и уступчивым. После ужина Грут заехал за ней на машине, и они поехали в парк Лилль-Янсскуген. Вернувшись домой, Гюн Грут рассказала, что муж изнасиловал ее.

Бурную сцену, которая засим последовала, Бергман описал в сценарии “Вероломных”. Ссора, его безумная ревность, ее щекотливое положение. “Меньше чем за час наши возможности сообща преодолеть кризис умерли. Это было начало конца, хотя мы цеплялись друг за друга в отчаянной попытке помириться”, – пишет он в “Волшебном фонаре”.

Соглашение между супругами Грут детально устанавливало, как надлежит урегулировать конфликт в отношении опеки над детьми. Один из параграфов оговаривал, что “в случае, если жена вступит в брак с режиссером Ингмаром Бергманом, ее право на опеку будет рассмотрено повторно”. В фактической ситуации суд решил предоставить опеку над детьми Гюн Грут.

Таким образом, по крайней мере в данный момент, дело было закрыто, но экономические заботы остались. Финансовое положение Бергмана выглядело плачевно, и ему пришлось взять ссуду в “Свенск фильминдустри”. На условии, что он снимет пять фильмов за две трети своего нормального гонорара и погасит заем в течение трех лет.

Тридцатого апреля 1951 года родился сын, которого назвали Юхан Ингмар Даниель. Чтобы стимулировать схватки, они пили шампанское и на старом бергмановском “форде” колесили по ухабистому Ладугордсъердету. Оставив Грут в родильном отделении, Бергман вернулся домой, выпил еще, поиграл в старую игрушечную железную дорогу и уснул на полу.

Через несколько месяцев ему исполнится 31 год, он все еще был женат на Эллен, собирался жениться на Гюн, снова стал отцом и нес ответственность еще за пятерых детей. Летом 1952 года он снимет фильм, который еще больше запутает его постоянные истории с женщинами.

Лето с Харриет

Ингмар Бергман жил с новой семьей на Грев-Турегатан, 69, в квартире, которую они с Гюн Грут купили за 26 000 крон. Пятый этаж, без лифта, но светлая, солнечная, четыре комнаты и кухня – 120 квадратных метров, со вкусом обставленные мебелью работы Карла Мальмстена.

В квартале оттуда на этой же улице у него была однокомнатная квартира с балконом, где он работал. Решение практичное, всего-то сто – двести метров от одной квартиры до другой, и добрый друг Вильгот Шёман мог видеть, как он спешит из подъезда в подъезд. “Одна комната для любви, одна – для работы”, как он выразился.

Однажды вечером осенью 1951 года наставник пригласил его поужинать на Грев-Турегатан, 69. Шёман и не догадывался о проблемах в этой семье, прежние обстоятельства хозяев и мучительные разводы, казалось, не оказывали негативного влияния на атмосферу. Ингмар Бергман хотя и не развелся пока с Эллен, но бракоразводный процесс шел полным ходом. А развод Гюн Грут был завершен и сдан в архив.

После ужина Грут понесла малыша Ингмара в ванную, Шёман пошел за ней. Возможно, размышлял он, у Грут теплело на сердце, когда она думала, что он символизирует – ее и Бергмана любовное путешествие в Париж осенью 1949-го. Припудривая младенцу попку, она сказала: “Знаешь, что говорит Ингмар? Что он впервые чувствует себя отцом!” Шёман, как он пишет в своих мемуарах, ощутил в этих словах друга скрытую жестокость: а как же остальные пятеро детей, что он чувствовал к ним? “Но радость Гюн сохранилась во мне”. Малыш с припудренной попкой позднее не припомнит ни дня, когда бы Ингмар Бергман жил дома; наоборот, ему запомнилось, что папа появлялся на днях рождения и тогда приносил с собой игрушечную железную дорогу, целый ящик вагонов и локомотивов. Или показывал Чаплина, “Микки-Мауса”, “Кота Феликса” и объяснял, как делается фильм.

Карин Бергман поддерживала отношения с обеими бывшими невестками, Эльсой и Эллен. Для нее это была маленькая отдушина, ведь именно через них она регулярно получала информацию о внуках; сын в этом плане был ненадежным источником. Когда в июне 1951 года отмечали первый экзамен и школьный табель дочери Лены, в пасторском доме на Стургатан состоялся ужин. Сцена, последовавшая затем, вполне типична: “Ингмар позвонил и явился вручить ей блестящую монетку в две кроны. Потом он немного рассказал о своих планах, а я молчала,

ждала своего шанса”. После этого Ингмар Бергман отправился с родителями в киногородок в Росунде, чтобы показать им свой новый фильм “Летняя игра”, премьера которого состоится только к Рождеству. На создание этого фильма Бергмана вдохновила влюбленность в Барбру Юрт ав Урнес летом 1938 года. Отзыв Карин Бергман? “Красиво, энергично – типичный Ингмар. Возможно, считанное число людей поймет его, но порадовать он никого не порадует”. Никаких других записей о большом дне нет. Двукроновая монетка, кстати, была вовсе не плохим подарком. В ту пору на такие деньги можно было много чего купить.

С Гюн Грут Карин Бергман еще не встречалась, но теперь, по просьбе сына, решила познакомиться; “…и я сейчас не вижу иного выхода”, писала в дневнике закаленная мать. Она начала уставать от бесконечных романов Ингмара, потому что каждый из них грозил новой вероятной невесткой, с которой надо знакомиться, и новыми детьми, которых их отец бросит в нежном возрасте.

Вечером 9 июня Карин Бергман пришла домой, села за письменный стол, достала дневник и авторучку. “Сегодня вечером я была у Гюн. И нахожусь в большом сомнении. Она либо наивна, трогательна и мила, а тогда, возможно, в точности такая женщина, какая нужна Ингмару, либо весьма упорно хочет сыграть роль, и тогда это долго не продлится. Но атмосфера, какую она создала вокруг себя, приятная и чистая. Малыша я видела, но почувствовала странное отчуждение”.

Маргарета Бергман между тем уехала из дома, жила в Евле, работала в тамошней библиотеке. Она тоже познакомилась с новым мужчиной, женатым англичанином Полом Бриттеном Остином, и Карин Бергман не могла не попытаться ею руководить.

Но когда дочь задумала работать с детьми в Эдесте, учреждении, которым управляло Общество Святого Луки, Карин Бергман поехала в Евле, чтобы убедить ее остаться в библиотеке, в частности и потому, что работа в детском приюте якобы очень утомительна.

“Она сделала все, чтобы переубедить меня. Говорила с врачами, с моими товарищами, с моим шефом. В конце концов я уступила, но заболела”, – рассказывала Маргарета Бергман.

После встречи с дочерью Карин Бергман записала в дневнике:

> Никогда не забуду эти дни в Евле, настолько они были тягостны. Нитти во многом похожа на Ингмара. Теперь я понимаю. Слабость резко сменяется жесткостью и т. д. Пол Остин для меня загадка. Неужели он вправду

такой добрый, умный, спокойный, как кажется? Дай-то Бог. Тогда он поможет Нитти, когда мы уже не сумеем.

Маргарета Бергман вернулась в Стокгольм. Писала новеллы и несколько из них опубликовала, Пол Бриттен Остин работал на Шведском радио, читал лекции и сочинял роман. Ингмар Бергман, используя свои связи, помог им снять жилье на Бреннчюркагатан в Сёдермальме, и они собирались пожениться. Карин Бергман не одобряла их планы. Тревожилась из-за их взаимоотношений, финансов и бракоразводного процесса Бриттена Остина в Англии, который пока не завершился.

За несколько месяцев до свадьбы Маргарета Бергман исчезла. Сбежала, в точности как раньше ее брат. Несколько дней спустя Ингмар Бергман разыскал сестру и отвез ее домой. “Нитти снова была нашей малышкой, а не чужой, жесткой женщиной”, – записала в дневнике Карин Бергман. Пасторша упорно цеплялась за образ матери-защитницы маленькой дочурки, которая сама ни с чем справиться не может, – вообще-то весьма странное отношение к двадцативосьмилетней женщине, которая собирается замуж и скоро уедет в Англию.

Пол Бриттен Остин – имя словно из романа Джейн Остин или Ивлина Во. Писатель, литературовед, переводчик, он впоследствии напишет, в частности, знаменитую биографию Карла Микаеля Бельмана и большой трехтомный труд о Наполеоне, получит от Шведской академии премию за перевод, станет почетным доктором Стокгольмского университета и будет награжден орденом “Полярная звезда”. Как такой чисто британский интеллектуал смотрел на семью, куда войдет через женитьбу? В одной из своих книг, “Выбор и мука” (1986), он так характеризует свою тещу:

> Всю жизнь она жила в хроническом страхе. Повсюду видела опасности. Вернее, все и вся подвергала сомнению. Если я выдвигал какую-нибудь, по ее мнению, дурацкую идею, она полуприветливо-полусаркастически улыбалась моим храбрым попыткам победить страх перед действительностью и называла меня “безрассудным оптимистом”. Если я, чтобы не пасть духом, слегка хорохорился, она лишь качала головой, недоверчиво хмурила черные брови и тоном Кассандры говорила, что “этакая лихость наказуема”. Словом, все всегда подвергала сомнению. […] Уже просто находясь поблизости от К***, ты каким-то мрачным образом начинал испытывать страх. Казалось, за дверью всегда караулило более-менее серьезное землетрясение. И не

только караулило, но не могло не караулить, причем тот, кто не понимал этой этической необходимости, был просто-напросто “наивен” (тоже одно из ее любимых словечек). Не удивительно, что даже сильнейшие снотворные толком на нее не действовали. Можно сказать, К*** всю жизнь держала себя на взводе смесью снотворного и Кьеркегора. Порой она выглядела до безумия бодрой. Пожалуй, непрестанное стремление преодолеть глубинную сложность жизни и сделало ее такой незаурядной. Ее железную волю ковали не иначе как в Сандвикене[25]. Хотя она сетовала, что именно окружающие постоянно заставляют ее предпринимать решительные действия, она по натуре была крайне властной. Распоряжалась и командовала всеми, но вместе с тем, безусловно, желала для себя покоя среди книг.

Тринадцатого июня 1952 года, всего через месяц после официального развода с Эллен Бергман, Ингмар Бергман женился на Гюн Грут. Напрашивается вопрос: зачем? Ведь едва успели высохнуть чернила на свидетельстве о браке, а он уже завел новый роман. Вероятно, это была просто тщетная попытка спасти отношения, которые – и он, и Гюн Бергман об этом знали – шли к разрыву. Вообще-то они не первые и не последние ухватились за эту ниточку. Гюн знала об эскападах мужа и поставила ультиматум – или он приходит домой, живет при жене и с полной ответственностью исполняет свой отцовский долг, или пускай не появляется. Впоследствии Ингмар Бергман скажет сыну, что из всех его женщин так заявила одна только Гюн. “Но кто бы знал, сколько он выдумывал”, – говорит Ингмар-младший.

Обычно чутье безошибочно подсказывало Карин Бергман, что сын скоро опять порвет со своей женщиной, но на сей раз она, видимо, не заметила, что надвигается что-то серьезное. Однажды в мае Ингмар и Гюн пригласили ее и Эрика Бергмана на ужин, вечер прошел хорошо. Карин радовалась, что все хорошо и гладко. Гюн держалась спокойно, покладисто, устроила все очень уютно. Карин Бергман мечтала лишь об одном: “Только бы так и продолжилось! Может быть, тогда она поможет Ингмару что-то дать и другим детям”. Но позднее она записала в дневнике:

> Он доверил Лилль-Ингмара моим заботам, на случай, если с ним и с Гюн что-нибудь случится. Странно, если подумать, как он смотрел на меня раньше.

Конфликт между кинопроизводителями и шведским

государством уладился, и производство фильмов возобновилось. Двадцать второго июля начались съемки “Лета с Моникой”, по сценарию Пера Андерса Фогельстрёма. Он и Бергман случайно встретились на Кунгсгатан в Стокгольме, и Фогельстрём рассказал, что сейчас пишет. Вкратце вот что: молодой мужчина встречается с молодой женщиной, они влюбляются друг в друга, бросают работу и семьи, уезжают в шхеры, переживают разные перипетии, ссорятся, мирятся, она беременеет, оба возвращаются в город, пытаются вести благопристойно-обывательскую жизнь, но безуспешно. Иными словами, в деталях эта история совпадала с личным опытом Бергмана. Правда, с одним существенным отличием. В романе Фогельстрёма мужчина берет на себя ответственность за новорожденного ребенка, а женщина уходит из семьи. В жизни Бергмана всегда было наоборот.

Каких исполнителей выбрать? Ларс Экборг с его красивой и одновременно беззащитной внешностью замечательно подошел на роль молодого человека. Он сыграл одну из главных ролей в “Подводной лодке-39” по пьесе “ПЛ-39”, которую Бергман десятью годами раньше ставил в Драмстудии, и в августе 1952-го должна была состояться премьера фильма.

Роль подруги Экборга в “Подводной лодке-39” исполнила Харриет Андерссон; теперь ей предстояло сыграть его подругу и в новом фильме Бергмана. Родилась она в 1932 году, актерское образование получила в театральной школе Калле Флюгаре, стажировалась в стокгольмском Оскарстеатре, выступала в различных ревю, а в 1949 году впервые снялась в кино – в фильме “Прогулять школу”, где небольшую роль играла также Эльса Фишер-Бергман.

Для Ингмара Бергмана одним из главных достоинств Харриет Андерссон были ее внешние данные. На роль Моники выбрали молодую актрису, которая в сетчатых чулках и с красноречивым декольте выступала в ревю театра “Скала”. Она имела небольшой опыт работы в кино и “была помолвлена с молодым актером”, – пишет он в “Волшебном фонаре”. В “Бергман о Бергмане” (1970) он говорит:

> Я видел Харриет в “Вызове” [фильм Густава Муландера по сценарию Вильгота Шёмана. – *Авт.]* и решил, что лучшей Моники, пожалуй, вообще не найти. […] Я чрезвычайно увлекся Харриет, и мы занялись тщательными костюмными пробами. […] Она была сногсшибательна да еще и помолвлена с Пером Оскарссоном. […] Она успела сыграть целый ряд небольших ролей, и мы, режиссеры помоложе, очень

> хотели, прямо-таки жаждали ее заполучить. В тогдашнем шведском кино не найти девчонки, которая излучала бы такое необузданное эротическое обаяние, как Харриет.

Харриет Андерссон поистине покорила Бергмана, причем не только своей эротической аурой. Она была “необычайно сильной, но ранимой личностью, чье дарование отмечено гениальностью”. Камеру воспринимала “непринужденно и чувственно”, обладала “технической суверенностью” и за секунду могла перейти от “сильнейшего сопереживания к трезвой отчужденности”. Отличалась грубоватым, но не циничным юмором. В книге “Образы”, вышедшей в 1990-м, Бергман описывает ее как интересное научное открытие: “Харриет Андерссон – один из кинематографических гениев. На извилистом пути через киношные джунгли лишь изредка встречаются столь яркие экземпляры”.

Вильгот Шёман вспоминает случай, когда они с Ингмаром Бергманом обсуждали исполнителей для “Вызова”, съемки которого проходили в декабре 1951-го и январе 1952-го.

> Ингмар ни в чем не сомневается. Он видит двадцатилетнюю девчонку, бегущую в столовую, и в голосе у него звучат радостные нотки: “Ну, ты должен быть чертовски доволен”. После всей нашей работы в Париже он знает мою Сив [персонаж Андерссон. – *Авт.]* так же хорошо, как и я сам. Наклоняется вперед, словно хочет пробудить меня от романтического сна: “Это она! Лучше не найдешь!”

Сама Андерссон трезво оценивает свою тогдашнюю харизму. В книге интервью о своей жизни она рассказывает соавтору, Яну Лумхольдту:

> Я еще ребенком на ходу вертела бедрами. Двигалась ужом, и иных это раздражало. Но для меня это естественно. Так что я была девчонкой с “сиськами и задницей” еще прежде, чем снялась в “Лете с Моникой”.

По поводу бергмановского утверждения, что у них якобы состоялись “тщательные костюмные пробы”, она презрительно фыркает. Вообще-то ей пришлось самой подбирать себе платья. И учить режиссера, как изъясняется молоденькая стокгольмская девчонка, ведь “он понятия об этом не имел”. Бергман и сам признавался, что совершенно не знал особой манеры поведения молодежи и никогда с ней не сталкивался. Главным источником

вдохновения ему служил Яльмар Бергман и его “манерные описания молодежи”, и он думал, что фильмам упомянутого периода присуща общая слабость.

> Хочу показать молодое счастье, а ничего не выходит. Проблема, пожалуй, заключалась в том, что сам я никогда не был молодым, только незрелым. Я никогда не общался с молодежью. Я изолировал себя, и меня изолировали. […] Мир молодежи был для меня чужим. Я стоял снаружи и заглядывал внутрь, —

пишет он в “Образах”.

“Лето с Моникой” стало возвращением Бергмана. Пока шведская киноиндустрия стояла, ему приходилось обеспечивать не только себя, но и растущее число оставленных членов семьи. Выход нашелся – съемки целой серии рекламных роликов мыла “Бриз”, которое выпускала компания “Унилевер”. И это были отнюдь не заурядные рекламные ролики. Бергман использовал все свое профессиональное мастерство и работал со своей командой – оператором Гуннаром Фишером и, в частности, актерами Биби Андерссон, Карлом-Густавом Линдстедтом, Ёстой Прюцелиусом, Йоном Ботвидом и Турстеном Лилье-круной. В общей сложности Бергман снял девять роликов и ничуть не сомневался в правомочности проекта, наоборот:

> Фильмы для “Бриза” стали спасением для меня и моих семей. Но не это главное. Главное, я мог свободно распоряжаться ресурсами и преподносить коммерческую идею как мне заблагорассудится. Кстати, у меня обычно не вызывало особого негодования, что промышленность стремится вложить деньги в культуру. Вся моя кинематографическая деятельность спонсировалась частным капиталом. И мне ничего не доставалось просто так, за прекрасные глаза. Капитализм как работодатель жестоко откровенен и довольно щедр, когда считает нужным. Так что нет нужды терзаться сомнениями насчет того, сколько стоишь на сегодняшний день, – полезный и закаляющий опыт, —

пишет он в “Образах”.

“Лето с Моникой” частью снимали на взморье. Съемочная группа базировалась на острове Урнё, и вся компания разместилась в Клоккаргордене, приземистом красном деревянном доме постройки 1864 года, который использовали как школьный класс, учительское жилье и праздничный зал. Условия

примитивные. Харриет Андерссон и секретарь режиссера Биргит Нурлинд обитали в тесной чердачной комнатушке, где ночевали на матрасах. Сам Бергман, разумеется, занимал самую большую комнату.

Бергман и Нурлинд познакомились в Опере, когда он служил там ассистентом режиссера, а она танцевала в балете. Они подружились и после работы совершали сообща пешие прогулки. Бергман тогда жил скудно и позднее всегда вспоминал ужины у матери Нурлинд, утверждая, что они спасли ему жизнь. Теперь же она, стало быть, получила у Бергмана работу секретаря с важной задачей фиксировать все детали съемок, записывать отступления от сценария и следить за расходом времени. Она сама считала, что толку от нее немного, и Бергман был с ней согласен.

“Ты чертовски хорошая танцовщица, но секретаря режиссера из тебя не получится никогда”, – сказал он ей.

“Афтонтиднинген” в репортажах со съемок сообщила, что Клоккаргорден принадлежал легендарному жителю шхер Филипу Ульссону и что в лице Ульссона “Свенск фильминдустри” нашла бесценного географического эксперта, который мог в один миг, словно по волшебству, подыскать для съемок нужное место: “Если какой-нибудь камень в южных шхерах ему незнаком, значит, этот камень не заслуживает внимания, а уж для съемок тем паче не годится”. Весьма полезное обстоятельство. Изо дня в день они на рыбацких моторках спозаранку выезжали на дальние острова – Будшер, Борген и Саделёга, неподалеку от Урнё и Утё. “Лето с Моникой” в некотором смысле поставило древнюю историю шведских шхер себе на службу. Саделёга некогда был казенной рыболовной гаванью, то есть государство забирало налог прямо у рыбаков, натурой, а существовал этот налог с 1550-х годов. В 1719 году, когда русские разорили стокгольмские шхеры, на острове сожгли дотла единственную арендаторскую усадьбу, на Саделёге и на соседнем острове Будшер сохранился десяток фундаментов от рыбацких хижин.

> На идиллическом островке Саделёга, что поблизости от Утё, он [Бергман. – *Авт.]* нашел идеальное место, по крайней мере с той точки зрения, что мог оставаться наедине со своей съемочной группой, да и развлечений после дневных трудов никаких, разве только наперегонки отращивать бороду. Диковинное зрелище – полуголые бородатые мужики, а посреди всего этого Харриет Андерссон, стало быть, встречает того, кто проберется сюда волею случая, —

писала “Афтонтиднинген”.

Репортер по-настоящему не вникал в здешние возможности провести свободное время. Участники съемок находили где “развлечься” и ночами смывались кто куда. Как режиссер рассказывает в “Бергман о Бергмане”, рано утром к началу работы собиралась романтичная и несколько усталая группа. Август был чудесный, вспоминает он, слегка скромничая. Он и Харриет Андерссон присматривались друг к другу, и однажды вечером он пригласил ее к себе на чашку чаю с бутербродами. Почему бы нет? – подумала Андерссон. Конечно, она была помолвлена с Пером Оскарссоном, с которым снималась в “Вызове” у Вильгота Шёмана, а Бергман по-прежнему был женат на Гюн, но, как и раньше, подобные детали не имели большого значения, когда он увлекался. А сейчас он увлекся.

Андерссон явилась в длинной плотной фуфайке, которая только-только прикрывала ее “прелести”, как она пишет в книге интервью, и для Бергмана это стало конечно же неодолимым соблазном. Они сидели на диване и смотрели друг на друга, потом поцеловались.

> Ингмар выглядел так, будто вот-вот грохнется в обморок. Я немножко посмотрела на него и сказала: “Сдрейфил от поцелуйчика?” Почему я так сказала, не знаю – таким манером выражается Моника, сама я никогда бы так не сказала. Дальше наплыв, как в старом кино. Туннели с поездами и прочее.

Вильгот Шёман вспоминает телефонный разговор, состоявшийся как раз в ту пору. Ему позвонил хозяин Клоккаргордена, Филип Ульссон, сообщил, что Ингмар Бергман приехал в Урнё. Душа радуется смотреть на них, сказал он Шёману, который поневоле спросил, кого он имеет в виду, и услыхал в ответ: Харриет и Ингмара.

> Он говорил о них так, как говорят о влюбленной парочке; я сделал вид, будто не слышу, потому что не хотел верить! Я снова здорово испугался. Года не прошло с тех пор, как Гюн сказала, что он “впервые почувствовал себя отцом”, и всего полгода назад Харриет обручилась с Пером Оскарссоном.

Заметно, что Шёман был возмущен, а возможно, и глубоко разочарован своим наставником, который опять показал себя отнюдь не с образцовой стороны.

Как правдиво отмечала “Афтонтиднинген”, на съемках некоторых эпизодов вся группа расхаживала полуголой.

Например, знаменитая сцена купания, когда Харриет Андерссон бежит по скалам и прыгает в воду совершенно обнаженная. Видно было немного – мелькнула грудь и голая попка, но чтобы она не чувствовала себя скованно, Ингмар Бергман велел всем раздеться. Парни – оператор, помощник режиссера, электрик, ассистент оператора и прочие – все ж таки благоразумно остались в трусах. Бергману затея, видимо, пришлась по вкусу. По словам Андерссон, он был не совсем уж равнодушен к “эротике”. Всегда “с огромным восторгом относился к дамам, женщинам, девушкам” и откровенно рассказывал ей о своих романах. “Три брака и наверняка попутно несколько интрижек, он говорил о них, хотя и не называл имен; вероятно, как всякий мужчина, хотел выглядеть неотразимым”, – говорит она в книге интервью о своей жизни.

Харриет Андерссон находила его обворожительным, интересным и невероятно харизматичным. Иначе, по ее мнению, женщины, включая ее самое, не стали бы все как одна прыгать к нему в постель, а тем более жить с ним. О помолвке с Пером Оскарссоном она тогда в шхерах вообще забыла. Да и Ингмар Бергман, похоже, не слишком задумывался о своем браке. Его охватила веселая беспечность. Привычные проблемы, связанные с работой, финансами и браком, точно ветром сдуло, что наверняка ощущалось как огромное облегчение – с легким сердцем нырять в перины после долгого дня на свежем воздухе, солнце и жаре и спать без сновидений. Съемки, говорил он, занятие чрезвычайно эротичное. Близость к актерам ничем не ограничена, все равны и открыты друг перед другом. Атмосфера на съемках складывается из многих обстоятельств, и в “Волшебном фонаре” он их перечисляет: непринужденность, преданность, понимание, доверие, напряжение сил, отдых, единодушие, мгновения триумфа, мгновения поражения. “Атмосфера насквозь пропитана сексуальностью”.

Харриет Андерссон вовсе не помышляла добиваться успеха у Бергмана через постель; к тому же она сперва получила роль Моники и лишь потом очутилась в его постели. Когда любовное приключение закончилось, они вернулись в Стокгольм и рассказали своим партнерам, что произошло в чарующих шхерах. Харриет Андерссон исповедалась Перу Оскарссону, однако легкие укоры совести, которые испытывала, вернувшись домой, она затем отмела. На Урнё ей в голову не приходило, что она поступает неправильно. Ведь Бергман был намного старше и на редкость привлекателен, и Андерссон, молодая, наивная, начисто забыла своего жениха.

Реакция Оскарссона неизвестна, а вот как восприняла эту

новость жена Бергмана, он рассказывает в “Волшебном фонаре”:

> Гюн пришла в бешенство и послала меня к чертовой матери. Меня поразил ее доселе невиданный, суровый гнев, и я почувствовал огромное облегчение. Собрал кой-какие вещи и опять перебрался в рабочую однушку.

Яростная вспышка жены обеспечила Бергману простой и удобный отход, так что понять его облегчение труда не составляет. Возможно, если бы жена на коленях умоляла его остаться, ситуация стала бы куда сложнее. Однако под злостью, как правило, таится печаль, и не исключено, что знаменитый режиссер достаточно чувствовал свою вину, или стыд, или то и другое, чтобы по меньшей мере остаться и переждать бурю, покажи она себя слабой, а не дерзкой. Но его воспоминания, или то, что он счел нужным сообщить окружающим, свидетельствуют, что он ухватился за первую же возможность и без долгих церемоний сбежал, пока злость жены не успела обернуться слезами и упрашиваниями.

Бергман устроил Харриет Андерссон в квартирке на Брев-Турегатан, 62, что выглядело как театральная уловка. Андерссон оставила свою мебель, когда переехала в тесную однушку Бергмана, и когда она в ярко-желтом халате выходила на балкон, отвергнутая жена из дома № 69 видела этот ярко-желтый халат, который казался ей маяком, знаком победы: “Я зацапала его!” – вот так пишет Вильгот Шёман.

На самом-то деле Харриет Андерссон считала, что жить там сущий кошмар, не только из-за тесноты, но и потому, что фактически жена Ингмара Бергмана все время находилась в поле зрения. Когда она выходила на балкон покурить – в квартире курить не разрешалось, – то могла видеть и слышать госпожу Бергман, идущую с коляской по тротуару. Ее мучила совесть, и чувствовала она себя как кролик в клетке удава.

Одновременно развод Ингмара Бергмана и Эллен Бергман возымел кое-какие последствия. Собственно, сложностей могло бы и не возникнуть. Двое супругов по разным причинам не могли или не хотели оставаться в браке. Все несколько усложнилось из-за юридического жонглирования дочерью Эвой.

Все началось с метрики, выданной в марте 1951 года викарием прихода Эргрюте Бенгтом Обергом, где черным по белому стояло, что Эва Юсефина – дочь Кристера Стрёмхольма, и ничего странного здесь нет. На момент рождения девочки в сентябре 1945 года Стрёмхольм по-прежнему состоял в браке с Эллен и потому за отсутствием иной информации был

автоматически записан как отец.

Однако на процессе о раздельном проживании, состоявшемся через десять дней в гётеборгском городском суде, опека о детях Яне, Матсе и Анне была доверена Эллен, однако суд посчитал “невозможным в данный момент вынести решение об опеке над Эвой Юсефиной Стрёмхольм”.

Двадцать третьего августа Эллен Бергман писала бывшей свекрови: “Сегодня я получила повестку из городского суда, так как Ингмар не выплатил адвокату обещанный гонорар за удочерение Эвы”. Речь шла о 431 кроне, сумме, пожалуй, не слишком обременительной, если учесть тогдашнюю ценность денег, но при вечных финансовых трудностях Эллен Бергман такой расход был совершенно излишним. “Я сейчас не в состоянии заплатить эту сумму. Прикидываю так и этак, но все равно ничего не получается. Концы с концами не сходятся”.

Весной 1952-го, во время бракоразводного процесса, дело передали в стокгольмский городской суд. В церковном свидетельстве за подписью второго священника гётеборгского прихода Аннедаль Юханнеса Иварссона указывалось, что Ингмар и Эллен Бергман имели троих общих детей – Яна, Матса и Анну. А вот в заявлении о расторжении брака родители писали, что Эва Стрёмхольм – их общий ребенок, родившийся до брака, и стороны согласились, что Ингмар Бергман будет и ей ежемесячно выплачивать 200 крон содержания. Решение городского суда, вынесенное в мае 1952 года, констатировало только, что Эва – “дочь жены” до брака с Ингмаром Бергманом.

В августе 1952 года, когда старшая дочь пошла в школу, Эллен Бергман написала Карин Бергман. От ожидания у Эвы поднялась температура, но теперь она очень счастлива, что стала первоклассницей. Однако:

> У меня были большие сложности с тем, чтобы ей разрешили носить фамилию Бергман впредь до получения документов. Пришлось разговаривать с директором, с классной наставницей, с приходским пастором, с ведомством по опеке над детьми и проч. Так или иначе, ей пока разрешено носить фамилию Бергман, что очень меня радует.

В 1955 году гётеборгский городской суд признал Эву Стрёмхольм внебрачным ребенком, а годом позже Ингмар Бергман признал свое отцовство. В метрической книге хельсингборгского прихода Марии имя Кристера Стрёмхольма было вычеркнуто авторучкой, вместо него вписали имя режиссера.

Стрёмхольм в ту пору снова женился и как профессиональный фотограф был полностью занят выставками в Швеции и за рубежом. Некоторое время он жил в Париже, записался в *Academie des Beaux-Arts*[26], учился также в Италии в академиях художеств Флоренции и Фаэнцы. У него было много общего с Ингмаром Бергманом, в частности, тот и другой любили женщин и бросали своих детей. Сына Стрёмхольма, Юакима, воспитывали его мать Дагни и отчим Карл Ламм, ведь в 1947-м Стрёмхольм еще до рождения мальчика исчез, уехал сначала в Париж, потом в Северную Африку. В отличие от впоследствии всемирно известного фотографа Бергман хотя бы оставался в Швеции.

Нетрудно представить себе облегчение матери, Эллен, когда дочь после многих лет без юридически действительного местожительства наконец по-настоящему обрела отца. Дело о происхожении Эвы Бергман более чем ярко иллюстрирует беспорядочность частной жизни великого режиссера, где жены (собственные и чужие), бывшие жены, любовницы и дети (собственные и чужие) смешиваются в редкий коктейль любви, секса и обмана.

Свою жизнь в Гётеборге Эллен Бергман описывала во всех письмах к Карин Бергман. Это трогательные реляции о больших и малых будничных печалях и радостях. В письме, где она рассказывала о трудностях с разрешением для Эвы носить фамилию Бергман, она также призналась пасторше со Стургатан, что тоскует по бывшему мужу:

> Хотя сейчас мне недостает Ингмара, когда я возвращаюсь домой и мне нечем занять мысли. Наверно, в первую очередь из-за детей. Не знаю. В особенности Яну нужен отец. Он такой милый и заботливый. Когда вырастет, станет отцом. Но таким, что целыми днями находится со своими детьми, так он говорит. […] А Матс на улице рассказывает друзьям, что его папа приходит домой по ночам. Все четверо держатся заодно – против всех и вся.

Ингмар Бергман заходил так редко, что дочь Анна при встречах его не узнавала.

> Однажды под вечер, когда я прибежала на кухню, там сидел незнакомый мужчина, и у меня сразу же испортилось настроение. Бабушка стояла возле раковины, чистила картошку, и я нервно спросила у нее: “Кто это?” Бабушка обернулась и посмотрела на меня со

> слегка горькой улыбкой: “Это твой отец, Анна”. От страха меня обдало жаром, и я, не говоря ни слова, убежала к себе в комнату и заперлась на ключ. Я не высовывалась оттуда, пока не узнала, что он ушел. Никто не обмолвился о моем странном поведении, даже Эллен. Я постаралась поскорее забыть незнакомца, который сидел здесь, на кухне, и следил за мной настороженным взглядом, —

пишет она в своей книге “Не папина дочка”.

В другом письме Эллен Бергман описывала, что ей приходилось занимать деньги, чтобы свести концы с концами. Положение особенно ухудшилось, когда заболела няня, Инга-Лилль Андерссон. Тогда ее возможности выполнять работу хореографа в Гётеборгском городском театре стали крайне ограниченны. Она позвонила Ингмару Бергману, но против обыкновения ее отфутболили. “Я всего лишь хотела попрощаться перед отъездом за город, но позвонила некстати. Видимо, там был кто-то еще”. Большую дорогую квартиру – чтобы оплачивать аренду, она залезала в долги – ей пришлось сменить на жилье подешевле.

> Ингмар расторгнул контракт, и если бы я не переписала его на свое имя, то очутилась бы на улице. Интересно, сознает ли он вообще, что делает. Вряд ли. Я вкалываю с семи утра до десяти – одиннадцати вечера, чтобы все успеть. И работаю отнюдь не медленно. После остается только лечь спать. Долго так продолжаться не может. Я чувствую, что физические и душевные силы иссякают, каждый свой день я начинаю с огромным трудом. Во многом, вероятно, виноваты экономические проблемы. Простите меня, тетя Карин, я не хотела так говорить. Пожалуй, вообще не стоит посылать вам это письмо. Но я так устала. А высказавшись, пожалуй, перестану сетовать на жизнь.

Карин Бергман хотелось повидать внуков, и в конце мая 1952 года она поехала в Гётеборг. Они встретили бабушку на вокзале, бросились ей на шею, а она до того растрогалась, что едва не заплакала, хоть это и было не в ее привычках.

Эллен Бергман устроила уютный дом, думала пасторша, одновременно ужасаясь, что детям разрешено карабкаться и лазить по мебели, которой столь бесцеремонное обращение явно на пользу не пойдет. Чрезвычайно современное воспитание, констатировала она, с ужасом представляя себе, как бы

реагировал ее собственный муж, если бы Матс принялся за столом кидаться ножами и вилками. Но Карин Бергман очень любила внуков, очень разных по характеру:

> Я стараюсь относиться к каждому чуточку по-особенному, и единственная, с кем я еще не виделась, это Анна, девочка очень веселая, милая, но застенчивая. Нынче вечером мы с Эллен немного посидели-поговорили. Бедняжка Эллен! Только бы она с ее горячей кровью не угодила в большие сложности! […] Сегодня мы с Анной познакомились, она просто маленькая очаровашка. Правда, в мальчиках чувствуется больше надежности, чем в девочках. Ян в некотором смысле уже маленький мужчина, но, боже мой, почему у них нет отца? Матс – прелестный ребенок и невероятно похож на Ингмара. Мне так хочется забрать этого малыша себе. Эллен нервная, до ужаса нервная. бедняжка!

Вестеръётландец Георг Сёрман открыл свой первый магазин одежды в стокгольмском Старом городе за год до рождения Ингмара Бергмана. Процветающее дело требовало расширения, и второй магазин в Старом городе открылся в 1928-м, когда Бергману было десять лет. Без малого еще десятилетие спустя Сёрман распахнул двери нового помещения на Кунгсхольме. Добрая слава Сёрмана ширилась, клиентура выросла, оборудование для магазина на Санкт-Эриксгатан поставила мебельная мастерская универмага “Нурдиска компаниет”. Девизом “Хороший покрой – отличный настрой” и неоновой вывеской, которые с годами станут классикой, было нетрудно заманивать клиентов со вкусом к элегантной и высококачественной мужской одежде.

Когда Харриет Андерссон по поручению возлюбленного отправилась в этот бутик, она захватила с собой пару старых вельветовых брюк, один носок и одну рубашку. Услужливый персонал снял мерку, и Андерссон ушла оттуда с такими же, только новыми вещами, а также с трусами. Бергман терпеть не мог мерить одежду, и ей всегда надлежало быть одинаковой – рубашки в мелкую клетку от “Вайеллы” и кашемировые носки, не раздражающие его чувствительную кожу, – так что задача Андерссон сложностью не отличалась. Правда, ей, 21-летней девушке, ситуация казалась странной и было весьма неловко идти в такой магазин, как у Сёрмана, со старым барахлом. Однако покупкой одежды дело не кончилось. Ей пришлось закупать и всю провизию, и таким образом она стала не просто любовницей Бергмана и постоянным членом его актерского коллектива, но и

делала всю работу по хозяйству.

В сентябре Гюн Бергман позвонила свекрови и сообщила об измене Ингмара Бергмана и его новом романе, что пасторшу ничуть не удивило. Разговор лишь подтвердил ее худшие опасения, и в дневнике она, как обычно, высказала свое мнение:

> Сегодня вечером я так измучена, а никакого выхода нет. Эрику я об этом и заикнуться не смею, ведь он тогда глаз не сомкнет, а то и вообще будет сломлен. Утешает меня только одно: надеюсь, Гюн подождет и не станет, как Эллен, сразу же затевать развод. Но это ужасно, мне кажется, Ингмар одержим злыми силами. […] Сегодня вечером Ингмар заходил к нам, и я рада, что удалось повидать его. Теперь навещу Гюн, если ей от этого будет хоть какой-то прок. Бедный Ингмар, у него в душе ад, посмотрим, сумеет ли он выбраться из лабиринта бессмысленности, в который угодил. […] Тяжкий день, судьба Ингмара лежала на моих плечах как никогда тяжким грузом.

Вернувшись домой после встречи с новой, но уже обманутой невесткой, Карин Бергман записала:

> Если она такова, как мне кажется, то надо сказать, она чуткая и добрая женщина и, возможно, сумеет помочь Ингмару стать лучше. Если вообще кто-нибудь сумеет.

Религиозность Карин Бергман, вера в судьбу, способность к самопожертвованию и необычайная верность и лояльность всю жизнь служили ей спасением. Но похоже, ни одно из этих качеств сыну не передалось. И ей оставалось лишь надеяться, что кто-нибудь другой проведет Ингмара Бергмана по узкой стезе, возможно близкий друг или, как сейчас и много раз прежде, высшие силы.

> Если б я только могла помочь ему увидеть, что другие по его милости тяжко страдают и что у него еще есть путь к спасению. Но это нелегко… нет, я не смогу. Ему нужен тот, кто сильнее его. Дай бог, чтобы он обрел Господа!

Она не понимала, как ее сын мог бросать одну семью за другой. Сомневалась, можно ли вообще считать его по-настоящему нормальным, и, когда он связался с ней по телефону,

мгновенно его раскусила. “Ингмар позвонил, и за внешним здравием и благополучием все же таятся боль и тревога, которые, надеюсь, усилятся”.

Ранее Ингмар Бергман использовал однушку на Грев-Турегатан, 62, как рабочий кабинет, но теперь там жила Харриет Андерссон, и он лишился спокойного места для работы. Осенью 1952 года он устроился в гостинице “Инн” на площади Мосебакке-торг, в том же доме, что и “Сёдра театерн”. Потайная винтовая лестница вела в комнатушку с великолепным видом на Стокгольм и его гавань. Вечерами он сидел там и, вдохновляясь сценическим шумом ревю и ночными актерскими гулянками в гостиничном ресторане, писал сценарий “Вечера шутов”. Но фактически источником фильма был инцидент в Париже, когда он заставил Гюн рассказать о ее прежних эротических переживаниях и ответил на ее откровения безумной ревностью.

Теперь то же самое возникло в отношениях с Харриет Андерссон, которая считала, что его ревность бывает поистине чудовищной, на грани патологии. “Он вбил себе в голову, что у меня что-то было с немцем-фотографом, который приходил делать репортаж. Если посмотреть фильм, то легко перенести все это на наши отношения. […] Я ему не изменяла, хотя он так думал. Я была ему чертовски верна”, – говорит она в книге интервью.

Пока Ингмар Бергман переваривал свою ревность и терзания из-за того, что ему в унизительной форме сообщили, что обещанного места в Драматическом театре не будет, Харриет Андерссон продолжала выступать в театре “Скала”, в сетчатых чулках и с декольте, причем, по словам Бергмана, ее заставили петь куплеты с припевом: “Если Бергману по нраву, я разденусь донага”.

Весной 1952 года он помимо “Лета с Моникой” снял “Женщины ждут”, идею подбросила Гюн, она рассказала, как однажды после ужина женщины клана Грут сидели одни и совершенно откровенно завели разговор о своих браках и любовях, – вот это и стало темой фильма. Кроме того, Бергман поставил восемь пьес для радиотеатра и Городского театра Мальмё, где начиная с сезона 1953/54-го получил ангажемент как первый режиссер и художественный консультант.

Но сперва его ожидало чудесное лето в сконском Арильде и съемки фильма с подходящим к обстоятельствам названием “Урок любви”, первой из серии легких комедий, которая прежде всего должна принести деньги в скудную кассу, а вдобавок нейтрализовать провал или, во всяком случае, чрезвычайно

неоднозначный прием “Вечера шутов”. Критик из “Афтонбладет”, скрывавшийся под псевдонимом Фильмсон, не оставил от картины камня на камне:

> Я отказываюсь […] смотреть на блевотину, которую Ингмар Бергман оставил после себя на сей раз, хотя могу себе представить, что изначально меню было неплохое. По-моему, надо вообще избегать публично избавляться от грязи, пусть даже ее накопилось много, раз уж не можешь, подобно Августу Стриндбергу, сублимировать такие вещи.

Харриет Андерссон была рядом, когда Бергман взял в руки эту рецензию. “Мы сидели в Ингмаровой машине – старом высоком автомобиле, напоминавшем сосисочный киоск на колесах, – прочли и оба плакали. Сущий кошмар”.

В книге “Образы” Ингмар Бергман признается, что его отношение к комедии весьма сложно и уходит корнями в детские годы. Его считали неприветливым, обидчивым и твердили, что “у Ингмара нет чувства юмора”. Такого рода заявления, если их повторяют достаточно часто, на всю жизнь крепко врезаются в память, и Бергман не стал исключением. Слегка удивляет только, что этот ярлык приклеили ему так рано. Письма, какие он ребенком, подростком и взрослым писал родным, женам и сотрудникам, свидетельствуют, что их автор отнюдь не мрачный тип, лишенный чувства юмора.

Бергман решил попробовать избавить себя и окружающих от иллюзии, что он зануда. Но задача оказалась нелегкой. Новогодние ревю, которые он ставил в Городском театре Хельсингборга, включали его собственные скетчи, которые он считал смешными. “Однако никто не улыбался, и я все время ломал себе голову, чем же другие заставляют народ смеяться. И никак не мог понять, как это происходит”.

Теперь он обзавелся двумя помощниками из числа самых надежных своих актеров – Эвой Дальбек и Гуннаром Бьёрнстрандом. Оба обладали необходимой комической жилкой и пользовались у публики огромной популярностью. Бьёрнстранд был этаким шведским Кэри Грантом, а Дальбек ни больше ни меньше как скандинавской Кэтрин Хэпберн; “…сдержанная и одновременно чувственная, импозантная красавица-блондинка с уникальным талантом к ироничным и сардоническим репликам, который особенно ярко раскрылся в бергмановской галерее сильных, умных женщин, противостоящих слабым мужчинам с непомерно раздутым самомнением”, как в 2008 году писала по случаю ее кончины “Сюдсвенска дагбладет”.

Уже в “Женщины ждут”, премьера которого состоялась в ноябре 1952 года, Дальбек – Бьёрнстранд показали, на что способны, а именно в знаменитой сцене в лифте, основанной на происшествии с самим Бергманом. Он и его тогдашняя жена Эллен после ссоры поехали в Копенгаген и ужинали у близких друзей. А когда вернулись в гостиницу, ключ от номера сломался в замке, они поневоле провели ночь на лестнице, неожиданно получив шанс поговорить друг с другом. В фильме же пара Дальберг и Бьёрнстранд при полном параде застревает в лифте.

Если Бергман и сомневался в своей комической жилке, то теперь увидел, черным по белому, что способен создать нечто отличное от того, что принесло ему известность “лишенного иллюзий бытописателя и взыскательного моралиста”, как писала “Афтонбладет”. По мнению критика Фильмсона, который год спустя сладострастно уничтожит “Вечер шутов”, “Женщины ждут” – “самый многогранный, но и самый ровный и гармоничный фильм Бергмана, который, пожалуй, кое-кого удивил, выступив как блестящий и остроумный комедиограф, притом с острыми коготками в по-кошачьи мягких лапках”. Рецензия “Свенска дагбладет” тоже расхваливала его “подкупающий, легкий и теплый юмор”.

Марианна Хёк в своей книге пишет, что бергмановское чувство юмора определенно сродни бурлеску, поскольку режиссер сдабривал свои драматические фильмы комическими трюками немого кино и фарса. “Комедия, – пишет она, – предъявляет высочайшие требования к точности выражения, к легкости и к яркости деталей”. Тут кто угодно с испугу может отступиться. Трагедия, похоже, менее требовательна.

Уверившись в своем комическом таланте, он собрал чемоданы и вместе с Харриет Андерссон отправился в Арильд, на западное побережье Сконе, где раньше этим летом снимали натуру для “Вечера шутов”, теперь же Бергман предастся там редкому в его жизни занятию – лени.

Новая Андерссон

Средневековый рыбачий поселок Арильд смотрит на северо-восток, на просторный залив Шельдервикен, и представляет собой как бы близнеца Мёлле, с точки зрения солнца расположенного более выгодно и выходящего на юго-запад и Данию. С другой стороны, Арильд аристократичнее этого классического курорта, до которого всего-то километра четыре. В 1894 году король Оскар II однажды останавливался в Арильде на ночлег, что стало поводом для подражания, и туда потянулись многие знаменитости и другие августейшие особы. Гости прогуливались, вели добропорядочную семейную жизнь, и, как говорят, иные из отдыхающих в Мёлле обеспечивали себя арильдским адресом до востребования, чтобы их не связывали с грешками курорта по ту сторону мыса Куллен.

Ингмар Бергман и Харриет Андерссон предвкушали прекрасный отдых после работы над “Вечером шутов”, съемки которого шли с конца февраля до начала июня. По словам Бергмана, фильм был “сравнительно искренний и бесстыдно личный”. Харриет Андерссон играла любовницу главного героя (его играл Оке Грёнберг), директора цирка и второго “я” Бергмана, а темой было унижение во всех его вариантах, хорошо ему знакомое.

Лето выдалось восхитительное, и Ингмар Бергман наслаждался вовсю. Жили они в пансионе Юлии Лундгрен, и меж тем как Андерссон каждый день спешила на пляж и в скалы, купалась и загорала, Бергман оставался в пансионе, в башенной комнатке, где валялся на спине и читал книги либо сидел и писал сценарий будущего “Урока любви”. Или, как он говорит в книге интервью “Бергман о Бергмане”: “Как бы то ни было, я главным образом развлечения ради начал писать сцены, сцены из супружеской жизни”.

Письма к родителям дышат гармонией. Он случайно познакомился с Бруно Фернстрёмом и его женой Турой, у которых в Арильде был дом, и с удовольствием с ними общался. Как выяснилось, Бруно Фернстрём работал главным врачом в больнице Хернёсанда и там свел знакомство с епископом Турстеном Булином, одним из ближайших друзей Эрика и Карин Бергман. Фернстрёмы считали епископа чуть ли не святым, что весьма растрогало Ингмара Бергмана.

Помимо работы над сценарием беззаботная жизнь в Арильде включала долгий утренний сон, прогулки по берегу моря и посиделки возле камина у супругов Фернстрём. Бергман не

испытывал ни тревог, ни терзаний, ни страхов, и желудок не бунтовал. Он хорошо питался, чувствовал себя отлично, хотя однажды случилась легкая диарея, но все быстро прошло.

> Погода здесь чудесная – солнце, ветер и ни малейшей духоты. Каждое утро купаемся, загораем, спим да едим. Именно в этом я и нуждался. В конце июля снова позовет долг и придется возвращаться в город, —

писал он родителям. Сообщал также, что работает над очередным фильмом, и подчеркивал, что это будет “симпатичная комедия”.

У Вильгота Шёмана поездка Бергмана и Андерссон в Арильд вызвала немалый интерес. В книге “Мой именной указатель. Избранное ‘98” он рассказывает, как складывались их взаимоотношения с окружающими, но впечатления не его собственные, а составленные со слов его друзей, которые тем летом общались с Фернстрёмами. Этот рассказ дает любопытное представление о манере Бергмана обращаться со своим окружением, однако не следует огульно принимать его на веру. Хотя, как указывает Шёман, основой послужили письма, присланные тем летом, в ходе общения, учительницей и писательницей Хиллеви Паулин, выпускницей университета и большой любительницей театра.

Мы узнаём, что Ингмар Бергман и Бруно Фернстрём совпали в этаком мистико-религиозном взгляде на мир и временами вели серьезные беседы. А муж Хиллеви Паулин подробно обсуждал с Бергманом ее профессора литературы, Мартина Ламма. Бергман, судя по всему, испытывал интеллектуальный голод и держался очень непринужденно. Но потом спор коснулся “Лета с Моникой”, и господин Паулин рискнул сделать несколько критических замечаний.

> Тут в нем проснулся лев, он стал кричать, ругаться, чертыхаться, сыпать оскорблениями. Я прямо сказал, что не знал, что он настолько уязвим и не уверен в своем деле. Харриет и Фернстрёмы слушали, до смерти перепуганные. А он тотчас сник, обнял меня за шею и заверил в своей симпатии, даже согласился со мной по ряду пунктов. Я потрепал его по щекам, как маленького ребенка – ведь во многом он и есть ребенок, несмотря на свои 35 лет… но абсолютный гений. […] После всего этого он подошел ко мне, взял меня за плечи и сказал: давай сохраним контакт, который мы оба чувствовали.

Хиллеви Паулин поделилась с Шёманом своими впечатлениями от Харриет Андерссон: “Умная и добрая девочка, по-девчоночьи кокетливая, но в остальном невероятно дремучая. Возможно, менталитет дитяти природы придает очарования, но что будет дальше, если учесть эту культурную пропасть между ними. Я не понимаю”. Когда Бергман разговаривал с Хиллеви Паулин, Харриет Андерссон бросила в него гвоздику и “состроила глазки”. “Он поднял гвоздику и бросил ей. продолжая непринужденно о ней говорить. наверно, он поступит, как ему вздумается. Но меня тревожит культурная пропасть между ними и то, как он изголодался по душевному контакту с женщинами”, – писала госпожа Паулин Вильготу Шёману, а в заключение констатировала, что Ингмар Бергман страдал “ужасным комплексом неполноценности”. По словам Паулин, вдобавок у него были большие проблемы с новым фильмом, он никак не мог придумать удачный финал. Устал, пал духом и чувствовал себя несчастным.

Совершенно иную картину пребывания в Арильде нарисовал сам Бергман в письмах к родителям. В “Бергман о Бергмане” он утверждает, что за неделю завершил сценарий, что шеф “Свенск фильминдустри” Карл Андерс Дюмлинг быстро прочитал его, а через две недели начались съемки, закончившиеся в середине сентября. Съемочная группа разъезжала между Арильдом, Рамлёсой, Хельсингборгом, Поласкугом, Мьёльбу, Стокгольмом, Сальтшёбаденом и Копенгагеном, но, по словам Бергмана, фильм был весьма легкомысленный, и для него потребовалось десять дней подготовки и шесть недель съемок.

Однако эти две картины вполне могут сосуществовать. Что же до отношений между Бергманом и Андерссон, то, как он говорил, они ухудшились еще до поездки в Арильд. Их отравили демоны его ревности к прошлому, пишет он в “Волшебном фонаре”.

“Он сказал только, что теперь мы переедем в Мальмё. И я согласилась”, – рассказывает Харриет Андерссон Яну Лумхольдту. Бесспорно, так оно и кажется. Бергман стерег свою возлюбленную, как собака кость, – собака, которая толком не знает, что делать с этой костью, но тем не менее ее стережет. На съемках “Вечера шутов” он держал ее под строжайшим надзором, точно так же было и на съемках “Урока любви”, где она играла дочь главных героев. Некоторые сцены снимались в Копенгагене, точнее в Нюхавне, и она покорно поехала туда, хотя не участвовала в снимаемых эпизодах. Бергман не хотел оставлять ее в Арильде одну.

Итак, когда в конце лета 1953 года они приехали в Мальмё,

страсть поблекла, но, пожалуй, это не имело большого значения. “О, как замечательно снова очутиться в театре”, – писал Бергман родителям. Андерссон же никогда надолго не выезжала из Стокгольма, и терять ей было нечего. Так или иначе, она находила все весьма увлекательным, а кроме того, входила в труппу. Но, как упомянуто, страсть между ними угасала. Теперь ожидала довольно заурядная совместная жизнь без огонька.

Они поселились на Эрикслуствеген в трехкомнатной квартире, принадлежавшей театру, в новом, знаменитом, похожем на соты, так называемом звездном доме, построенном по проекту архитекторов Свена Бакстрёма и Лейфа Рейниуса. Расположение удачное, неподалеку от обширного пляжа Риберсборгсстранден и красивого холодного плавательного бассейна.

Харриет Андерссон было поручено заказать кровать в богатом универсальном магазине Весселя. Кровать имела размеры 180 x 205 см, и, по словам Андерссон, персонал мальмёского собрата копенгагенского “Магасен дю Нор” невероятно удивился, так как до сих пор кроватей такого размера никто не заказывал. Сущее мучение – тащить ее вверх по лестнице в квартиру, соседи удивлялись. “Настрой прямо как в цирке, к актерам тогда относились без особой симпатии, не то что сейчас. На нас смотрели как на сброд”, – рассказывает она в книге интервью о своей жизни.

Вероятно, покупка была ненужная. Совместная жизнь не требовала экстравагантностей, ведь Ингмар Бергман вскоре перебрался в кабинет и ночевал там, а исполинская кровать осталась целиком в распоряжении Харриет Андерссон.

Ларс-Леви Лестадиус, правнук и полный тезка известного церковного деятеля и проповедника, сменил Ингмара Бергмана на посту руководителя Хельсингборгским городским театром. Теперь он руководил Городским театром Мальмё и вполне логично привлек туда Бергмана.

Бергман уже ставил здесь спектакли как приглашенный режиссер. Теперь у него был совершенно иной статус и программа. Он имел свободу действий, а поскольку не занимал руководящего поста, административные обязанности начальника его не обременяли. Театр включал оперу, балет, оперетту и драму и имел две сцены, одну на 1700 мест, под названием Стура-Бу, и малую, на 200 мест, под названием Лилла-Пип. Бергман называл этот театр чудовищем с неразрешимыми акустическими проблемами. Однако годы в Мальмё оказались самыми счастливыми в его тогдашней профессиональной жизни.

Харриет Андерссон с самого начала была рядом с ним, и

остальные актеры держались от любовницы режиссера на расстоянии. Она оказалась, так сказать, между двух огней. Коллеги опасались, что она будет доносить Бергману, что они о нем говорят, а она думала, он в свою очередь считает, что она рассказывает им, что он говорит о них. В результате Андерссон чувствовала, что ей не доверяют, первый год держалась особняком и больше помалкивала. Проблема разрешилась сама собой, когда коллеги со временем обнаружили, что она молчит и что режиссер не отдает ей предпочтения.

Актеры относились к художественному руководителю театра с каким-то испуганным восторгом. С одной стороны, считали его загадкой. Брали на заметку, как звучит его особенный смех и как он добивается успеха. Очевидные и не особенно интересные наблюдения почему-то вызывали удивление: “Он делал полукруглое движение правой ногой, нарушая ритм, и очень мягко ставил ноги на землю или на линолеум бесконечно длинного коридора”, – вспоминает Ингрид Тулин, работавшая в театре в 1956– 1960 годах.

С другой стороны, они могли сидеть “молчком, как перепуганные мыши”, когда Бергман стоял за дверью гримуборной. “Мы чувствовали угрызения совести, потому что громко разговаривали и смеялись и, наверно, мешали чьим-то репетициям”. Коллега Тулин, Гудрун Брост, сыгравшая одну из ролей в бергмановском “Вечере шутов”, называла его “игрушечным Иисусом”, что уж она имела в виду, неизвестно.

Ингмар Бергман, как пишет Тулин в “Моих знакомых”, не был обычным соблазнителем. Он и не помышлял присылать цветы, не приглашал на роскошные пирушки, в путешествия или на ночь в гостиницу. Не старался произвести впечатление элегантной одеждой, напротив, чуть ли не кокетничал лохмотьями. Нет, как она считала, больше всего притягивали черты его лица за секунду перед вспышкой ярости, когда “рот напрягался и обнажались хищные зубы”. Ей вспоминаются полуопущенные веки, гипнотический взгляд и “вампирский изгиб верхней губы”.

Мифологизация Бергмана у Ингрид Тулин ярко свидетельствует, как окружающие выискивают объяснения: каким образом ему удавалось очаровывать стольких женщин? Чего недостает их собственным мужчинам? “Можно было видеть себя в его глазах, словно в зеркале”, – пишет она. И вместе с тем ей хочется демистифицировать его. Один французский тележурналист очень хотел написать, что у Бергмана была “железная рука в бархатной перчатке”, и буквально требовал, чтобы Тулин согласилась с его формулировкой. Но она с легким вызовом опровергла этакую славу, когда люди, полагавшие, что

им известно, каким был Бергман, спросили ее мнения. “Бергман демон? Он как младенец и шоколад”.

Критики с самого начала говорили о полной победе Ингмара Бергмана и Мальмёского городского театра. “Дагенс нюхетер” и датская “Берлингске тиднинген” расхваливали спектакль “Шесть персонажей в поисках автора”[27], премьера которого состоялась в ноябре 1953-го. Харриет Андерссон играла свою роль с непринужденным увлечением, пишет Хенрик Шёгрен в книге “Ингмар Бергман в театре”. За этой пьесой последовали “Замок” по роману Франца Кафки и “Соната призраков” Стриндберга. В бергмановской постановке “Дон Жуана” Мольера Харриет Андерссон и Гуннель Линдблум играли двух девушек, которые мыли полы на авансцене. “Мы тогда были слегка пухленькими и были одеты в блузки с большим вырезом, какие-то капюшоны и длинные парики. По-моему, в первых рядах зрителей на этом спектакле случилась потасовка. В ту пору в Мальмё были не избалованы такими вещами”, – рассказывает Андерссон в своей книге интервью.

Если работа в театре приносила один успех за другим, то за пределами сцены дело обстояло не столь благополучно. Кроме работы, времени ни на что не оставалось. В книге интервью Харриет Андерссон вспоминает, что ей вообще не удавалось подышать свежим воздухом, ведь она только и знай разъезжала между квартирой и театром, что по вторникам Бергман устраивал на квартире киносеансы, включал свой старый узкопленочный проектор, шумевший как паровоз, и что она засыпала, когда они ходили в кино. В общем, возлюбленный крепко держал ее в когтях, требуя постоянного присутствия в театре, даже когда она играла маленькие роли.

В то время Бергман был “чертовски хорош собой”. “Люди спрашивали, как он умудрялся заполучить всех этих молодых красоток. Но ведь он был интересный, выглядел очень здорово, на опасный манер. Красивый рот, удивительные глаза, но тем, кто видел его в старости, это в голову не приходило” – такой комментарий услышал от нее я.

Как-то раз Бергман спросил, не хочет ли она выйти за него. Андерссон вопрос удивил, но она пришла к выводу, что это скорее шальная мысль, а не обдуманное предложение: “Он сам толком не понял, что сказал”. Она ни секунды не думала принимать предложение. “Господи, какой ужас, он же был на четырнадцать лет старше меня!” К тому же он с большой вероятностью все равно бы ее бросил. “Несмотря ни на что, я никаких иллюзий не питала. Не знаю, все ли мы понимали, что

он вроде как порхает с цветка на цветок. И о многих порханиях понятия не имели”.

Андерссон забеременела и твердо решила сделать аборт. Бергман вовсе не обрадовался, когда она сообщила о беременности, да и ей самой не хотелось заводить ребенка. Она считала, что вполне достаточно тех детей, какие у него уже есть и еще будут позднее, и сама находилась на взлете карьеры и не имела времени.

Однако она посещала врачей и кураторов, а значит, ей приходилось действовать весьма деликатно, ведь отец ребенка был знаменитостью. Она не говорила, кто он, но, поскольку это была Харриет Андерссон, вычислить его не составляло труда. “Он женат, и у него то ли пятеро, то ли шестеро детей” – вот все, что она могла сообщить.

До аборта не дошло. У Харриет Андерссон случился выкидыш. Когда она вернулась домой после чистки, Ингмар Бергман ждал ее, собственноручно приготовив небольшой праздничный обед – форель под яичным соусом. Он позвонил сотруднице экономического отдела театра, попросил у нее рецепт и метался меж телефоном и кухней. Как Андерссон говорит в книге интервью, это был единственный раз, когда он приготовил для нее угощение.

Их роман был обречен. К счастью, ни Андерссон, ни Бергман не знакомили друг друга с родителями, и в дневнике Карин Бергман упоминаний об Андерссон нет.

Роман, как и ревность, угасал. Харриет Андерссон поняла, что ее ждет замена, когда побывала на съемках последнего ролика с рекламой мыла “Бриз”. Он назывался “Принцесса и свинопас”, а съемки проходили на студии в Росунде в 1953 году. Оператором, как обычно, был Гуннар Фишер, и готовый ролик продолжался всего одну минуту. Принцессу играла молодая актриса по имени Биби Андерссон. Она только начинала свою экранную карьеру и годом раньше исполнила одну из ролей в “Подводной лодке-39”, вместе с Харриет Андерссон и Ларсом Экборгом.

Идею этого ролика придумала Харриет Андерссон по дороге в Стокгольм после съемок “Вечера шутов”. В тот день хоронили ее тетушку, но на похороны Бергман ее не отпустил. Когда позднее Андерссон приехала на киностудию в Росунде и увидела коллегу-актрису в сценическом костюме, “прелестную, как карамелька, в кринолине и парике рококо”, Бергман приказал ей исчезнуть.

И тогда я интуитивно почуяла: “Ага, вот следующая

> Андерссон, которая меня сменит”. Я не обиделась, нет-нет. Просто почуяла, совершенно трезво. Даже не заплакала, как позднее Биби, она вообще была мастерица поплакать, не то что я”, —

рассказывает она Яну Лумхольдту.

Карин Бергман уже проведала о новом романе сына, когда летом 1954 года делала запись в своем тайном дневнике. Она писала о внутреннем прозрении, случившемся, когда она размышляла об Ингмаре и Маргарете, о двух маленьких детишках, которые рука об руку идут вечером по лугу в Дувнесе. Они навещали бабушку и теперь возвращались, потому что пора спать. Ингмар держал сестру за руку и что-то с жаром ей говорил, а она внимательно слушала.

> Мы с Эриком стояли у окна, смотрели на них и думали, что вместе они просто очаровательны. Так бывало и позднее. Даг оставался сам по себе, а эти двое держались заодно, и Ингмар влиял на Маргарету, причем не лучшим образом. Она долго была привязана к нему прямо-таки неестественно прочными узами, и ей стоило больших усилий освободиться от них. Да, в каком-то смысле Ингмар беззастенчиво открыт во всех своих начинаниях, но вместе с тем в душе он одиночка. Все знают, как он все время растаптывал чувства каждого человека, с которым был связан,—

писала она и продолжала:

> Теперь он бросает свою третью семью, чтобы, как он говорит, быть “совершенно свободным” и строить жизнь по своему усмотрению. У него есть что-то вроде дома в Мальмё, где он работает в Городском театре режиссером и художественным консультантом. Есть и холостяцкая квартира в Стокгольме, где он много работает для кино. Роман с киношной девушкой [Биби Андерссон. – *Авт.]* продлится, пожалуй, год или два, пока он в своем одиночестве не увлечется другой! Содержание кучи ребятишек стоит ему больших денег, и мне кажется, он похож на белку в колесе, которой некогда перевести дух. Давний дом, родительский, для него существует разве только когда он внезапно забегает к нам. Порой мы не видим его месяцами. А порой он заходит несколько раз подряд. Сам признается, что ставит во главу угла свою

работу и себя самого (именно в таком порядке), а все прочее для него почти не существует. Какого-либо нажима или обязанности он не выносит. Когда заходит домой или когда кто-нибудь, скажем, тяжело болел, он бывает ласковым, и непосредственным, и разговорчивым, можно даже подумать, что ты ему близок и что в нем нет ничего от Даговой суровой неприступности. Но внезапно все меняется – он становится так далек, что совершенно невозможно поверить, что он твой родной сын. И в конце концов осознаешь, что на него никогда нельзя рассчитывать, ни при каких обстоятельствах. Просто жди поодаль и надейся, что из всей этой неразберихи в итоге возникнет что-нибудь существенное. […] Для нас лично проблема всегда заключалась вот в чем: надо ли нам терпеть и, несмотря ни на что, всегда быть готовыми к встрече, хотя он растаптывает едва ли не все, что для нас важно и свято? Эрик много раз хотел с ним порвать. Но для меня дело обстоит вот так: если я с ним абсолютно честна, а стало быть, ему полностью известна моя позиция, но тем не менее я могу встретить его любовью, которая живет во мне, то я вправе думать, что по большому счету от терпения больше пользы, чем от разрыва. Ведь Ингмар – как и другие – живет в моем сердце каждый день и каждый час.

Сообщив Гюн о своем романе с Харриет Андерссон, Ингмар Бергман одновременно попросил ее набраться терпения и дать ему несколько месяцев передышки. Возможно, где-то в недрах его существа жила тщетная надежда, что они сумеют вернуться друг к другу.

Лишь спустя два года они наконец решились на развод после глубокого и продолжительного разрыва, как это называлось. Обычное посредничество ничего не изменило, и в октябре 1954 года стокгольмский городской суд вынес вердикт, что супруги должны разъехаться, а опеку над сыном Лилль-Ингмаром получила Гюн Бергман. Бракоразводный процесс полностью завершился только в июле 1959-го.

Однажды Харриет Андерссон и Гюн Бергман случайно повстречались. Столкнулись на уличном углу в Эстермальме, но столкновение, которое могло бы оказаться неприятным, вызвало у обеих лишь громкий смех. Позднее они виделись еще несколько раз, пили чай. “Она сказала, что не может больше злиться на меня и куда сильнее злится на Ингмара”. Андерссон считала Гюн Бергман фантастической женщиной, “очаровательной до мозга

костей”, и не понимала, как Ингмар Бергман мог бросить Гюн ради нее.

До какой степени неизгладимое впечатление Гюн Бергман оставила у Ингмара Бергмана, видно из того, что она стала прообразом целого ряда женщин в его фильмах – Карин Лобелиус в “Женщины ждут”, Агды в “Вечере шутов”, Марианны Эгерман в “Уроке любви”, Сюзанны в “Женских грезах” и Дезире Армфельдт в “Улыбках летней ночи”. “В несравненной Эве Дальбек я нашел ей интерпретатора. Обе они сумели сообща материализовать мои зачастую весьма расплывчатые тексты, и благодаря им непобедимая женственность заговорила так, как я и представить себе не мог”, – пишет он в “Волшебном фонаре”.

Стало быть, новую женщину Ингмара Бергмана звали Биби Андерссон, но сей факт он обходит в своих мемуарах полным молчанием. Ей было всего девятнадцать, когда они познакомились в 1954 году, и точно так же, как с Андерссон № 1, он уехал с Андерссон № 2 в Мальмё и устроил свою жизнь аналогичным образом.

Биби Андерссон совершенно не понравились знаменитые звездные дома, ей этот район казался до ужаса унылым, пишет она в книге “Мгновение”. Квартира была уже давно обставлена, вероятно, там стояла и кровать, которую Харриет Андерссон несколько лет назад заказывала у Весселя. Биби Андерссон оценила спартански хороший вкус Бергмана, но все же попробовала с помощью новых обоев, красок и гардин придать жилью что-то свое. В результате, пишет она в мемуарах, он сбежал к себе в кабинет и ночевал среди любимых коробок с пленкой. Опять-таки как во времена с Харриет Андерссон. Биби Андерссон, видимо, находилась под контролем. Ей не разрешалось подниматься наверх, пока Бергман не уйдет в театр, потому что он не хотел, чтобы к нему приставали по утрам. Но Андерссон приноровилась. Ей нравилось валяться в постели и слушать бергмановскую утреннюю музыку, лишь бы не ходить с ним на концерты, ведь тогда бы ей пришлось сидеть тихо и прикидываться заинтересованной, хотя думала она совсем о другом.

Харриет Андерссон играла в Городском театре второстепенные роли, а вот имя Биби Андерссон поднялось в списке повыше. В “Эрике XIV” Стриндберга она играла главную героиню, Карин Монсдоттер, а партнером ее был Тойво Павло в роли Эрика.

Летом 1955 года в Истаде и в замке Юрдберга в сконском Андерслёве шли съемки “Улыбок летней ночи”.

> Я уже несколько лет работал в Мальмё режиссером, период с Харриет закончился, и я обещал Карлу Андерсу Дюмлингу [тогдашнему шефу “Свенск фильминдустри”. – Авт.], что следующий фильм не будет трагедией. Вдобавок он намекнул, что если сценарий окажется хоть сколько-нибудь серьезным, то нынешним летом вообще нечего и думать о каком-либо фильме. Я нуждался в деньгах и решил, что лучше всего сделать комедию, —

рассказывает Бергман в “Образах”. Приключения в Сконе закончились отнюдь не весело. Бергман страдал от целого ряда недомоганий – хронического катара желудка, катарального воспаления кишечника, язвы желудка, язвы кишки, его часто рвало, мучили желудочные спазмы, за которыми следовала диарея, весил он всего 56 кило и был вынужден обратиться к врачу.

В июле, когда навестил мать, он выглядел измученным и исхудавшим, и позднее вечером она размышляла о том, почему он так испортил себе жизнь, что, в сущности, не имеет ни дома, ни опоры.

В одном из сентябрьских писем он писал Карин Бергман, что очень бы хотел купить Воромс в Даларне, который семья собиралась продать, но, увы, денег у него нет. И вообще неизвестно, как все сложится в дальнейшем. Его хотят положить в Каролинскую больницу, но, собственно говоря, он чувствует себя вполне хорошо, утверждал он, хотя немного устал после съемок, что вообще-то не удивительно. Тут он позволил себе задумчивое замечание: “Странно, время показывает, как глубоко уходят корни”, – имея в виду свое ощущение семейных уз; “никаких сантиментов”, добавил он на всякий случай, однако же подписался детским прозвищем – “преданный сын Малыш”.

Письма Ингмара Бергмана в родительский дом зачастую были адресованы обоим или же одной Карин Бергман. Непосредственно отцу он писал реже. Но как-то раз во время работы в Мальмёском театре почувствовал, что должен кое-что написать и пастору, и вновь затронул семейные узы:

> Дорогой отец! Я все больше стыжусь себя и своей неистребимой вялости по части писем. Вообще-то история весьма сложная. Хотите верьте, хотите нет, но я собирался написать вам, отец, фактически каждый день. Но ситуация необычная, и, как я уже сказал, душевная лень – штука упрямая. Да и говорить об этом трудно, но ощущение такое, словно думаешь об одном из родителей как о больном, который лежит в постели, и все обстоит

не так, как всегда. Находясь далеко, словно бы толком не можешь вникнуть во все это. К тому же мы не привыкли говорить друг другу нежности, особенно, разумеется, в письмах. И манера выражения у нас разная, возможно, мы понимаем друг друга превратно. Тем не менее хочу кое-что сказать, рискуя, что это покажется глупым или высокопарным. В последнее время я много думал о нас, детях, и нашем детстве и отрочестве. Ясно, что многое было ошибочно и глуповато, но иначе не бывает. Ведь все-таки главное, важное – огромная нежность и любовь, какую вы, родители, изливали на нас каждый день, каждый час, нас как бы окружала защитная оболочка заботы, духовной и телесной. Наверно, немного странно и, пожалуй, свидетельствует о позднем взрослении, что я не осознал реальности, о которой сейчас говорю, гораздо раньше. Но до сих пор моя жизнь была ужасно шумной и пестрой. Мне всегда недоставало покоя, чтобы понять, как много значила для нас, детей, огромная сила вашей и маминой любви. Вот я и шумел, и критиковал, и поступал совершенно безрассудно, в точности как большинство других. Теперь я это понимаю вполне отчетливо. Дорогой отец! Слова в такой ситуации ужасно глупы и корявы. Но я думаю о вас и о маме каждый день.

Отнюдь не исключено, что признание взрослого сына тронуло пастора. Ингмар Бергман определенно писал искренне, и легко представить себе, что подобные мысли возникали не раз. Одновременно он продолжал внушать миру, какими ужасными были его детство и отрочество. В “Дневнике с Ингмаром Бергманом”, книге Вильгота Шёмана о съемках “Причастия” в 1961 году, он вновь рассказывает о суровых наказаниях и заявляет, что “просто чудо, что я вдобавок не стал гомосексуалистом или мазохистом”. Он словно бы изначально решил никогда не отступать от официального образа своего жуткого детства.

Письмо к отцу показывает, во всяком случае, что все куда более нюансированно, чем тот образ, какой он большей частью рисовал окружающим.

Говоря о корнях, Бергман, видимо, соотносил их только с самим собой и своим отношением к родителям, ну, может быть, еще к брату и сестре. На собственных детей его сантименты распространялись редко. В сентябре 1954-го Эллен Бергман писала Карин Бергман, что с детьми все в порядке, Эва ходит в третий класс и уже настоящая маленькая барышня, а Ян перешел

во второй. Оба только что отметили дни рождения, и Эллен благодарила бывшую свекровь за присланные деньги. Но отец совершенно их забыл.

> На дни рождения они ничего от Ингмара не услышали, хотя собственноручно написали ему письма. Им все-таки обидно, что отец не удосуживается прислать им хотя бы поздравительную открытку ко дню рождения. А ведь они так стараются сочинить письмо, чтобы обсудить день рождения. Хуже всего, наверно, что они не могут рассказать товарищам, какой получили подарок.

Бергман, похоже, вовсе не считал, что его детям важно регулярно видеться с родителями отца. До 1956 года Матс и Анна ни разу не видели Эрика Бергмана. Сложные экономические обстоятельства вынудили Эллен Бергман задуматься о переезде с детьми в деревню.

> Я все больше замечаю, что не в силах одна заботиться о детях и в то же время справляться с работой. Это для меня чересчур. Страдает либо то, либо другое. Раз уж я родила четверых детей, то, наверно, лучше всего постараться понять, что важнее как можно лучше устроить все для них, а не метаться по театрам и балетным классам.

В Каролинской больнице Ингмара Бергмана обследовал доцент Стуре Хеландер, который отнес его желудочные недомогания за счет психосоматики, высказал мнение, что его мучают аллергические реации, и рекомендовал есть простоквашу. Уже в “период Харриет” диета Бергмана состояла из сметаны и вареного окорока, так что этот совет был ему не в новинку.

В то самое время Карин Бергман записала в дневнике:

> Письма и от Ингмара. На удивление теплые и милые. Несколько слов он пишет и о том, что начинает понимать, что связующие нас корни проросли очень глубоко. Я рада, что он начинает это понимать. […] Разговоры с Гюн об Ингмаре. Он, кажется, закончил обследование в больнице. Она говорила с ним по телефону. В т. ч. она рассказала о “его новой девушке”. я больше не в силах в этом участвовать. Утром звонил Ингмар. Услыхав мой приглушенный голос, держался прохладно. Я попросила его порадовать Эрика и прийти на богослужение 2.10, когда Эрик прочтет прощальную

> проповедь. “Сожалею, но у меня правда нет времени” – вот и весь сказ. […] Заезжал Ингмар. Он сбрил бороду, и было приятно снова видеть его лицо. Он был очень дружелюбен, такое с ним бывает, но надолго его не хватает, это чувствуется совершенно отчетливо.

На мать он произвел необычно измученное и унылое впечатление.

> Все его мысли сейчас о самом новом увлечении. Но Господь свидетель, я надеюсь, он поймет, что должен отступиться от этого нового человека и не вмешивать новых людей в свою запутанную жизнь.

Обстоятельства на съемках слегка эротичной салонной комедии ошибок “Улыбки летней ночи” примерно совпадали с реальной жизнью. Харриет Андерссон играла пухленькую и бесстыдную служанку Петру, а Биби Андерссон, преемнице Харриет в постели Бергмана, досталась маленькая роль “актрисы”.

Харриет Андерссон вспоминает бергмановские желудочные недомогания, а кроме того – его злость на Биби Андерссон, которая укатила с сестрой Герд в Испанию и не давала о себе знать. Когда он пытался позвонить ей, телефон-автомат вечно был занят, что злило его еще сильнее. И, как отмечает Харриет Андерссон в книге своих интервью, несчастливый Бергман не давал никому другому быть счастливым. “Разумеется, он ревновал, как в свое время меня и всех прочих своих женщин, во всяком случае поначалу. Но он использовал это в работе, преобразуя в жуткую энергию. Следил за всем исполнительским ансамблем и съемочной группой – а в этом фильме нас было много, – командовал и распоряжался, как никогда. Установил время отбоя, после чего все двери запирались, в общем сурово. Начисто забыл, что имеет дело с взрослыми людьми”.

Жажда держать все под контролем принимала порой комический оттенок, словно заимствованный из… ну да, из бергмановской комедии. Когда Оке Фриделль и Гуннар Бьёрнстранд на весь вечер уехали в Мальмё и вернулись позже, чем рассчитывали, они обнаружили, что все двери жилья на замке. Знаменитым и популярным киноактерам пришлось сидеть и ждать, пока утром придет сторож и отопрет.

Премьера “Улыбок летней ночи” состоялась на второй день Рождества 1955 года в стокгольмской “Красной мельнице”. Карин Бергман читала газетные рецензии, осыпавшие ее сына похвалами. Никогда раньше его так не превозносили. И все же,

писала она в дневнике, он никогда не был таким бесприютным, одиноким и усталым, как теперь. Порой она спрашивала себя, уж не кончится ли все это какой-нибудь катастрофой. “Его эротические переживания по-прежнему цветут пышным цветом! Он словно мало-помалу пожирает сам себя, притом самое лучшее в себе. И к нему теперь совершенно не подступиться. В особенности если осмеливаешься думать не так, как он. Тогда он вмиг становится жестоким. Но я не обращаю на это внимания. Хочу только, чтобы он чувствовал, что я наперекор всему и во всем молчаливо стою с ним рядом”.

В роли наперсницы сына Карин Бергман чувствовала себя неловко. Он рассказал ей о своем романе с Биби Андерссон, “молоденькой стажеркой из Драматического театра, весьма многообещающей, двадцати лет от роду, которой явно увлечен всерьез”. И теперь хотел познакомить мать с предметом своей любви. “Страшновато, ведь это как бы означает одобрение постоянной смены женщин. И мне трудно поверить в прочность Ингмаровых отношений с другими людьми. Вместе с тем я вижу, как он страдает от горького одиночества и как нуждается в близком человеке. Ужасно тягостно”.

Знакомство состоялось на Пасху 1956 года. Карин Бергман и Биби Андерссон были приглашены домой к Эббе Монтен, учительнице Андерссон в Кунгсхольмской муниципальной женской школе. Карин Бергман крайне немногословна насчет того, как прошел вечер, отмечает только, что новая любовь сына определенно хороша, но эта Биби Андерссон слишком для него молода.

> Да в общем-то, кто способен терпеть его долгое время? Боюсь, Ингмара ждет большое разочарование, ведь она долго не выдержит его перипетии. Но ничего не поделаешь. Как всегда, я могу только стоять рядом и смотреть.
>
> Гюн, по-моему, вообще единственная, кто бы с ним справился, и, не будь целой кучи мальчуганов, все бы, может, и уладилось. А ему надо самому быть ребенком у той, кого он любит.

В июне Карин Бергман дали посмотреть сценарий “Седьмой печати”, и вечером Иванова дня она его прочитала. И решила, что, пожалуй, перечитает еще раз, прежде чем рискнет высказывать какое-либо суждение. Одновременно она опасалась за новое “приключение” сына – то есть за Биби Андерссон, – которое он “собирается начать или уже закончил. На нем просто печать рока, он разрушает человеческие жизни, несмотря на свое

огромное обаяние”.

В сентябре вышел журнал “Нутид” с Бергманом на обложке, в берете и с козлиной бородкой. Фотография нелестная, вид у него худой, анемичный, а заголовок “Урок чародейства” намекает на его “единственную цель – зачаровать публику”. Статья весьма любопытна, потому что, с одной стороны, описывает его уже сложившиеся к тому времени диктаторские приемы, а с другой – еще усиливает представление о нем как о чем-то сверхъестественном, прямо-таки мифическом. Изображается его буйный темперамент – и оправдывается. Приступы ярости прощены или, по крайней мере, приняты.

Среди тех, кого интервьюировал журнал, был ровесник Бергмана, режиссер Ларс-Эрик Челльгрен, представленный как один из ближайших друзей Бергмана. Перечень его заслуг выглядит весьма пестрым: фильмы о солдате Боме с Нильсом Поппе и о персонажах комиксов Биффене и Банане, и драма “Пока город спит”, для которой он в соавторстве с Пером Андерсом Фогельстрёмом написал сценарий, а главного героя Йомпу придумал Бергман.

> Я считаю его ядовитым змеем, – сказал Челльгрен. – Чертовски обаятельным змеем, но и чертовски ядовитым. В нем сильно развиты самые противоположные качества, и при его невероятной интеллигентности он может играть на каких угодно струнах. В нем есть всё, он может быть любым. Спокойным до ледяного холода, яростным, язвительным, щедрым, жестким, мягким, чувствительным, бесчувственным. Он самоед и самообновитель. Чем больше он поедает и отдает себя, тем более неисчерпаем источник. Он не израсходует себя – он живой вечный двигатель”.

Корреспондент журнала констатирует, что многие актеры смотрели на Бергмана с восхищением и страхом. Как режиссер он сущий дьявол, зато успешен. Он издевается, топчет ногами, рвет личное “я” своих артистов. “В результате они превращаются в послушные орудия для исполнения его замыслов. Одновременно он хороший психолог: он не только точно знает, чего хочет от актеров, ему известно и чем добиться желаемого – спокойным разговором, истерическими выпадами или психической пыткой”, – писал автор статьи.

“Ингмара Бергмана редко видишь как частное лицо. Он почти всегда воплощает *понятие* Ингмар Бергман”, – отмечал Ларс-Эрик Челльгрен.

Журналист интервьюировал и продюсера Лоренса

Мармстедта, одного из бергмановских сподвижников и сотрудников, и тот рассказывает, каково было с ним работать:

> Случались горячие дискуссии и стычки, мы чуть ли не дрались. И когда расставались в жуткой ссоре, Ингмар мог писать мне “злобные письма”. Часто он тогда сам приходил с письмом, совал его мне в руку и сбегал вниз по лестнице. Не говоря ни слова. Но он отнюдь не злопамятен. Немного погодя, максимум через день, все было забыто.

А каково одновременно быть бергмановской любовницей и актрисой в его избранной группе? Это знает Харриет Андерссон. Свидетельством тому ее книга интервью. Она рассказывает о вспышках ярости, которые обрушивались на нее, причем она даже не всегда понимала почему (однажды он пытался “легонько” ее придушить); рассказывает, как он железной рукой управлял своими войсками, как порой набрасывался на кого-нибудь словно ястреб или гиена, которая выбирает в стаде раненое животное, чтобы вонзить в него когти или зубы. Рассказывает о всеобщем ужасе, когда Бергман заводился, и как его ругань становилась сама по себе театром, публичной казнью, когда жертва совершенно теряла лицо, а окружающие, вместо того чтобы защитить беднягу, помалкивали и только позднее, когда Бергман не видел, обнимали и утешали жертву.

Кроме того, Бергман по-разному относился к мужчинам и к женщинам. С мужчинами в своем окружении он держался с коллегиальной, почти интимной фамильярностью, тогда как в женщинах зачастую видел удобный объект для нападок, хотя постоянно твердил, что считает их просто изумительными. “Под вечер происходит стычка. Ингмар резко наводит критику, и одна из женщин в студии плачет. Меня при этом нет. Я только вижу ее слезы, заражаюсь настроем и впадаю в уныние”, – рассказывает о съемках “Причастия” в 1961 году Вильгот Шёман. Его самого пугала бергмановская способность жестоко и внезапно нанести удар – критикой и нападками. “Ингмар говорит, что нервы у него прямо под кожей: молниеносные рывки, которые он не может сдержать”. На съемках Бергман рассказывал ему, что балансирует на “тонкой грани агрессивности, которую очень легко преступить”.

Любопытно, что с этими тираническими приемами мирились. Возможно, потому, что Бергман был обаятелен и быстро просил прощения. Все знали, какой он, и, принося извинения, он беззастенчиво использовал свое реноме: “Ты же знаешь, какой я”.

“И ясное дело, извинения принимаются – что тут возразишь?

“Да, черт побери, я знаю, какой ты. Но это не повод вести себя подобным образом”, – говорит Харриет Андерссон интервьюеру Яну Лумхольдту. Есть, конечно, и другое объяснение – его общепризнанное режиссерское мастерство. Не делай Бергман таких хороших фильмов и спектаклей, капризы и манипуляции никогда бы не сошли ему с рук. “Тогда бы он получил хорошую взбучку”, – говорит Андерссон.

Ёста Экман работал у Бергмана помощником режиссера на съемках “Земляничной поляны” и “У истоков жизни” в 1957-м, а затем перешел с ним в Мальмёский городской театр. Экман привык уважать профессию и понимал, как важно соблюдать временной распорядок. Бергман был невероятно пунктуален, хоть часы по нему проверяй. Экман постоянно боялся проспать. В книге Класа Густафсона об Экмане “Дядюшка, который не хотел взрослеть” приведен эпизод, показывающий другую сторону бергмановской жажды контроля. Экман влюбился в актрису Мод Ханссон, премьер-стажерку городского театра, которая уже снялась в “Земляничной поляне” и “Седьмой печати”. Не подозревая о последствиях, Экман доверился шефу, рассказал о своей любви к Ханссон. Бергман его не одобрил. В письме близкому другу Экман писал, что режиссер сделал все, чтобы испортить их с Ханссон отношения. “Он чертовски странный. Мне он не нравится”. По словам Мод Ханссон, Бергман считал себя хозяином своих актеров. Шпионил за ними, вмешивался в их личную жизнь, пытался командовать ими в выборе партнеров и прибегал к нажиму, если полагал, что необходим развод. В книге о Ёсте Экмане она рассказывает Класу Густафсону:

> Сценарии, которые он писал – в особенности женские роли, – были убедительны и продуманны, но в личной жизни он ничегошеньки не понимал. В ту пору я думала, что великие художники и как люди тоже великие. Но Ингмар Бергман таким не был.

Пожалуй, следует добавить, что Бергман был главным конкурентом Хассе Экмана (отца Ёсты) и они соперничали по поводу имеющихся ограниченных ресурсов. Бергман проиграл один из раундов, режиссерскую работу в “Интимном театре” у Лоренса Мармстедта, ее получил Хассе Экман, но зато выиграл весь матч, а тем самым и звание чемпиона.

Ёста Экман поначалу не понимал, почему Бергман хотел взять его с собой в Мальмё. Объяснение он получил много лет спустя от Эллен Бергман. “Он просто не мог видеть, что у вас с Хассе такие хорошие отношения, вот и решил их поломать”, – пишет Клас Густафсон в “Дядюшке, который не хотел взрослеть”.

И Харриет, и Биби Андерссон едва вышли из тинейджерского возраста, когда завели роман с Бергманом, и можно задаться вопросом, почему его тянуло к таким молоденьким женщинам. Прежние его подруги и жены были его сверстницами. Вильготу Шёману он рассказывал о снах, когда с ужасом старался различить жену и мать; обе сливались в одно лицо, как некогда для отца-пастора. Возможно, поэтому он, сам того не сознавая, в один из периодов своей жизни тянулся к все более молодым женщинам, просто чтобы как можно дальше уйти от этой путаницы.

Сестра Маргарета тоже на себе ощутила, каково попасть под обстрел Ингмара Бергмана. В детстве они вместе играли и особенно сблизились, занимаясь творчеством – театром и сочинительством, – Бергман поздравил сестру с окончанием школы, как старший брат советовал ей сохранять самостоятельность и достоинство человека и художника. Когда же осенью 1956 года она послала рассказ в журнал “Хусмудерн”, судьбу ее рукописи решала издательский редактор Гюн Бергман, бывшая невестка. И тут произошло два события, которые надолго омрачили сочинительство Маргареты Бергман. Во-первых, бывшая невестка отвергла рассказ, потому что он-де не подходит для “Хусмудерн”. А потом последовал убийственный удар – рукопись попала в руки брата, который разнес ее в пух и прах. Маргарета Бергман плакала от отчаяния, ее и без того слабая уверенность в себе не выдержала уничтожающей критики брата. Унижение проникло так глубоко, что она целых пятнадцать лет вообще не бралась за перо.

Сам Бергман вспоминает только то, что узнал от Маргареты: мол, по юношескому недомыслию он как-то раз раскритиковал один из сестриных “писательских опытов”.

Став старше, брат и сестра часами вели разговоры обо всем на свете. В первую очередь, конечно, о своем детстве, отрочестве и отношениях с родителями, но и об искусстве. Если не раньше, то как раз тогда и выяснилось, что Ингмар Бергман читал произведения сестры и находил ее книги совершенно замечательными, даже гениальными, а ночами, лежа без сна, мысленно задавал себе риторический вопрос, почему не экранизировал их. Она отвечала, что, конечно, поздновато, но все равно для нее очень важно услышать от него такие слова. Вообще-то в нескольких фильмах брата Маргарета Бергман узнала фрагменты своих произведений.

Бергман рисует в мемуарах совсем иную картину. Его самого “прикончили” как писателя, поскольку писал он “плохо, манерно,

вдобавок под влиянием Яльмара Бергмана и Стриндберга”. У сестры он обнаружил ту же напряженную, натужную манеру письма и “убил” ее попытки, не задумываясь о том, что для нее это единственный способ выражения.

“По ее словам, она тогда перестала писать. Не знаю, в наказание ли мне или себе самой или от трусости”. Он помнит ее страдальческое лицо, а странно тусклый голос просто напугал его.

Спустя много лет Маргарета все-таки снова взялась за перо и в 1971 году выпустила первую книгу – “Горбун. Романтическая повесть”. Художница и режиссер Мари-Луиза де Геер Бергенстроле одно время собиралась экранизировать эту книгу, но так и не реализовала проект.

Пианистка

Сидя в туалете – или в “нужнике”, как он сам говорил, – Ингмар Бергман прочитал в газете, что на Каннском кинофестивале с успехом прошел шведский фильм. Когда он сообразил, что речь идет о его фильме, то сперва не поверил собственным глазам. Ведь даже не знал, что фильм участвует в конкурсе.

Комедия из жизни начала века “Улыбки летней ночи” стала для Бергмана международным прорывом. “Лето с Моникой”, правда, было в прокате за рубежом, например в США, под названием *Monika, the Story of a Bad Girl*[28], то есть дистрибьюторы расчетливо использовали роль Харриет Андерссон. Но “Улыбки летней ночи” номинировались на “Золотую пальмовую ветвь” в Каннах и завоевали *Prix de lHumour Poetique*[29]. Кроме того, этот фильм номинировался по трем категориям на *BAFTA Film Award*[30] и получил датскую премию “Бодиль” как лучший европейский фильм.

На премьере в стокгольмской “Красной мельнице”, состоявшейся на второй день Рождества 1955 года, Бергман и Биби Андерссон украдкой пробрались на галерку кинотеатра, хотели выяснить реакцию публики. Бергман никак не мог избавиться от глубокого недоверия к себе по части комедий. Временами они, конечно, слышали смешки, но в целом настрой казался выжидательным. Бергман сбежал с галерки, проверил звук и пошел в туалет, а выйдя из кинотеатра, “мобилизовал свой победоносный смех, хотя я знала, что он боится”. Бергман и Андерссон не сомневались, что фильм провалился. “Я старалась утешить его, но без особого успеха”, – вспоминает она в мемуарах.

В общем, отзывы были неоднозначные. “Моргонтиднинген” писала, что это один из лучших шведских фильмов, и “Арбетарен” присоединился к похвалам. Однако в историю вошел комментарий Улофа Лагеркранца: “Скверная фантазия прыщавого юнца, дерзкие грезы незрелого сердца, безграничное презрение к художественной и человеческой правде – вот силы, создавшие эту “комедию”. Я стыжусь, что смотрел ее”.

Биби Андерссон стала одной из самых прилежных и надежных бергмановских звезд и, как и остальные, участвовала в его разноплановых и успешных художественных предприятиях: осенью, зимой и весной – в театре, летом – в киносъемках. Конечно же она присутствовала на регулярных бергмановских кинопоказах в росундском киногородке. Гости этого особенного

мероприятия составляли избранное, элитарное общество. Тот, кто не удостоивался приглашения, обижался и объявлял все это сектантством. В описании Биби Андерссон киновечера здорово напоминают приемы у диктатора, когда гости не смеют рта открыть, не рискуя впасть в немилость и стать жертвой неведомой, но определенно жестокой судьбы. Никто не смел ничего сказать о фильме, который показывал Бергман, пока он сам не выражал неудовольствие или одобрение. Если кто-то не давал себе труда прийти, он обижался. Нельзя же появляться только тогда, когда тебе удобно. Как полагает Андерссон, таким образом он режиссировал и дружбу, требовавшую особых отношений. Хотешь остаться Бергману другом, принимай его условия и дружи на них.

Биби Андерссон чрезвычайно метко характеризует Ингмара Бергмана. Как все режиссеры, он хотел влюбиться (и в самом деле все время именно так и поступал). Его привлекали талант и яркость, а люди для него были словно кино– или театральные персонажи. Подобно тому, как он создавал публичный образ “Ингмара Бергмана”, пишет Андерссон, он создавал и людей, какими себя окружал. Мог быть невероятно беспощадным, и она боялась того дня, когда придет ее черед впасть в немилость. И не удивительно. Она рассказывает об инциденте на съемках “У истоков жизни”, фильма, произведшего огромную сенсацию сценой родов, от которой народ падал в обморок. Перед самым важным своим эпизодом она каталась в павильоне на беговых санях и пришла на съемку потная, возбужденная и рассеянная. После репетиции Бергман сразу остановил работу, повернулся к актрисе спиной, и холод, каким веяло от него, так ее напугал, что она навсегда забыла о развлечениях между съемками.

Бергман, без сомнения, бранил своих наиболее доверенных ключевых сотрудников, и будь на его месте кто-либо другой, такое обращение было бы весьма рискованно. Во время съемок “Молчания” Свена Нюквиста, преемника Гуннара Фишера на посту бергмановского лейб-оператора, вызвали в больницу, где умирала от рака его мать. Конец близок, гласило безжалостное известие. Нюквист пришел к Бергману прямо посреди репетиции, что само по себе уже было грубым нарушением кода поведения. Бергман рассвирепел и запретил Нюквисту уезжать со съемок. “Если уедешь, гнида, можешь вообще катиться на все четыре стороны!” – крикнул он. “Раз ты называешь меня гнидой, когда моя мать при смерти, то я и в самом деле не вернусь!” – ответил Нюквист и ушел, хлопнув дверью.

Кинооператор уровня Нюквиста мог бы, пожалуй, и не вернуться. Но работодателем был Ингмар Бергман, и Нюквист

вернулся. Бергман, конечно, попросил прощения, однако добавил: “Пойми, Свен, все-таки самое важное всегда то, что продолжает жить. То, что видишь на белом экране. Ничего другого для тебя не существует”.

Нюквисту не составило труда намотать на ус бергмановскую премудрость. Позднее эти слова даже стали его девизом.

С 1953 по 1958 год Ингмар Бергман осуществил в Мальмёском городском театре шестнадцать постановок. Одновременно он снял девять полнометражных фильмов. Огромная работа, и невольно задаешься вопросом, как он находил время на что-то другое, например на личную жизнь. Тем не менее женщины продолжали приходить и уходить неиссякаемым потоком, и измены стали чуть ли не рутиной. Когда в марте 1957-го состоялась восторженно принятая критикой премьера “Пера Гюнта”, Карин Бергман писала о мимолетной встрече с сыном: “Почему-то кажется, будто он постарел, переступил через многое из окружающего его теперь внешнего почета, успеха, популярности. Кажется, теперь он видит свою задачу прежде всего в честной и большой работе. Он спешит жить. Ведь ему еще нет и сорока. Но почему-то кажется, будто он закончил жизнь”.

Делая записи в дневнике, она явно испытывала потребность уточнить, кого навещала, будто хотела пояснить ситуацию вымышленному, непосвященному читателю: “Мы гостили у Гюн, третьей жены Ингмара. Там была елка, и чайный стол, и музыка, и уют, а главное – трое мальчиков Гюн, младший из которых, Лилль-Ингмар, приходится нам внуком”. И снова она ничего не понимала в мотивах поступков сына. “Вечер прошел очень мило и приятно, я просто диву даюсь, почему Ингмар никак не может быть здесь. Теперь она бы дала ему большую свободу и понимание. Ведь, в сущности, он такой бесприютный, бездомный!”

В жизни Бергмана конец 50-х годов период во многом знаменательный, однако, как это ни парадоксально, вполне обычный. Роман с Биби Андерссон близился к завершению, и весьма примечательно, насколько схожи ее опыт и опыт Харриет Андерссон. В точности как Харриет, положение любовницы шефа внушало Биби неуверенность; она боялась, что и режиссер, и труппа сочтут ее главным источником сплетен. На съемках “У истоков жизни” Биби Андерссон старалась привлекать к себе как можно меньше внимания, полагая, что для него так будет лучше всего. Он устал, ему необходимо было регулярно питаться, работать и спать, а когда писал, он перебирался в гостиницу

“Сильянсборг” в Даларне. Как и в случае с Харриет Андерссон, не очень-то веселое время для женщины, которая значительно моложе Бергмана и которой приходилось жить так, как хочет он. Родная мать называла ее “режиссерской шлюхой”, вдобавок она потеряла контакт с ровесниками и вообще чувствовала себя последней спицей в колеснице, пишет она в своих мемуарах.

Бергману, очевидно, надоело гоняться за юными партнершами, так как теперь он нацелился на женщину всего четырьмя годами моложе. А когда рассказал Биби Андерссон, что нашел себе “зрелую” женщину и получает от этого намного больше, она пришла в ярость, скинула туфлю и принялась колотить его острым каблуком, выкрикивая: “Как же здорово будет отвязаться от тебя!” Потом села в машину, поехала к морю и долго не возвращалась – пусть думает, будто она покончила самоубийством. Но когда она вернулась домой, Бергман уже лег и запер дверь, явно нисколько не встревожившись.

Новой женщиной была Кэби Ларетай, известная концертирующая пианистка, которая, в частности, сотрудничала с Игорем Стравинским, чьи “Похождения повесы” Ингмар Бергман через несколько лет поставит в Королевской опере. Биби Андерссон прекрасно знала, кто она, ведь Ларетай выступала с концертами в Мальмёском городском театре, в красном платье до полу. Редкостная красавица, и Бергмана как подменили. Он все чаще носил смокинг, который раньше, уступив уговорам Андерссон, надевал один-единственный раз. Неожиданно он стал выглядеть как подобает, думала Биби. Контраст между красавцем в вечернем костюме и мужчиной, которого она привыкла видеть в потрепанных фуфайках и нечищеных ботинках, бросался в глаза.

Формально они пока не расстались. Андерссон по-прежнему жила в его квартире, но отошла на периферию, он лишь время от времени слегка рассеянно ее замечал. С растущей ревностью она следила, как он менялся, ходил по концертам и вдобавок писал множество писем. В своей книге она рассказывает, что поехала в Стокгольм на разведку. Обшарила квартиру на Грев-Турегатан в поисках писем от Ларетай – где же им быть, как не там. Но нашла письма от женщины, которая сообщала о совершенно повседневных вещах и будничная жизнь которой, видимо, состояла из походов по магазинам, присмотра за детьми, детских праздников и фрикаделек.

Письма были подписаны именем Ингрид. Значит, их автор не Кэби Ларетай. В окружении Бергмана Биби Андерссон знала единственную Ингрид – Ингрид Тулин, одну из его любимых актрис. Но та была замужем за актером Харри Шайном и не имела детей, требующих присмотра, детских праздников и

фрикаделек. В результате Биби Андерссон почувствовала некую общность с Ларетай. Красивая и зрелая пианистка, которую она до сих пор считала ведьмой, пишет Андерссон в своих мемуарах, вдруг стала по-человечески близкой. Один и тот же мужчина просто-напросто обманывал их обеих. У Бергмана были будущая жена с международной карьерой, новая возлюбленная, очевидно домохозяйка, и давняя, уже уходящая. И куча детей.

Ингмар Бергман и Ингрид фон Розен, жена графа Яна-Карла фон Розена, познакомились поздней осенью 1957 года или, возможно, несколькими годами раньше. Дружба обернулась романом, и очень скоро Ингрид забеременела. В то же время Бергман, еще не закончив отношений с Биби Андерссон, познакомился с опять-таки замужней Кэби Ларетай, а официально еще был женат на Гюн Бергман.

На первый взгляд кажется загадкой, как Ингмар Бергман снова и снова впутывался в такого рода перекрестные отношения. Можно лишь гадать, сколько энергии все это требовало. Помимо постоянных конфликтов с родителями и в особенности вечного беспокойства и обвинений Карин Бергман по его адресу, существовали еще и бывшие жены и дети, которым надо было помогать финансово, а в известном смысле и эмоционально, хотя в этом плане Бергман, похоже, на неопределенное время взял тайм-аут. Сам он пишет в “Волшебном фонаре”, что избегал заходить к матери, с одной стороны, потому, что чисто по-бергмановски не хотел мешать, навязываться, а с другой – потому, что она постоянно заводила речь о детях: “Я не могу говорить о детях, так как никогда их не вижу”. Бергман преувеличивает. Иногда он, конечно, виделся с детьми, но создается впечатление, что происходило это не слишком регулярно. Осенью 1958 года, встретив в росундском киногородке (на его поле, а не на ее) свою дочь Лену, он чуть ли не удивился, какая она очаровательная и как хорошо им вдвоем. К его радости, они говорили друг с другом как взрослые люди. Вообще он писал о детях и бывших женах скопом, словно хотел побыстрее отделаться от как можно большего их числа. “Навестил также Гюн и Лилль-Ингмара. Там очень мирно и очень дружелюбно. […] Эллен выглядела необычно веселой и спокойной. Так что все пока вполне хорошо и под контролем”.

Есть по меньшей мере несколько вероятных объяснений вечных историй с женщинами. Одно из них таково: речь шла о чисто сексуальных злоупотреблениях и очевидной нехватке достаточно глубокого контакта с собственной эмоциональной жизнью. Другое – на самом деле это была погоня за необходимым

вдохновением. “Моя постоянная увлеченность женским полом – одна из великих движущих сил”, – говорит он в “Бергман о Бергмане”. Именно страсть вдохновляла его творчество, и, как только страсть гасла, пропадала и созидательность. Бергман любил делать детей своим женщинам. Хотел видеть тех, с кем сотрудничал или занимался любовью, в пору расцвета, а женщина, забеременев, расцветает. Ему вообще хотелось, чтобы люди в его непосредственном артистическом и эмоциональном окружении полностью раскрывали свой потенциал. Хотелось видеть их в развитии. Но страсть уходила, когда обнаруживался ее логический результат – дети, пеленки, бессонные ночи, крик. Иными словами, обычные будни родителей младенцев. С этим он не справлялся.

Анна Бергман, его дочь от второй жены, от Эллен, в “Не папиной дочке” описывает, как родители были сексуально поглощены друг другом и мама говорила, что надо спать с Ингмаром, чтобы вступить с ним в рабочие отношения; то есть личное и профессональное полностью перемешивались. Папа, пишет Анна Бергман, не знал удержу в своей потребности владеть и в ревности. Хотел, чтобы его женщины ожидали его детей. “В ходе этого процесса он чувствует себя хорошо. Но стоит ребенку родиться, возникает пустота. Некоторое время он гордится и хвастается. Потом это становится помехой. Участвовать в воспитании ребенка выше его сил”. Спустя годы, когда отец и дочь вместе смотрели какой-то фильм, где женщина рожает одного ребенка за другим, он якобы сказал: “Когда я вижу эти противные сморщенные комки, которые появляются из нее, мне становится дурно”. И Анна Бергман делает вывод: великий режиссер боялся детей. “Ему не хотелось по-настоящему брать на себя ответственность. Его хватало только на работу, на творчество”.

Детские воспоминания Анны едва ли не ужаснее отцовских. Дети режиссеру мешали.

> Ингмар приходил домой и громко кричал: “Где зверюшки?” Зверюшки – это мы. Нас надо было убрать с глаз долой, запереть. Иногда мы нарочно мочились на пол. И никогда не обедали, не завтракали и не ужинали вместе с Ингмаром и Эллен. Они ели в столовой. Мы – на кухне. За компанию с Ингой-Лилль [няней. – *Авт.]*. Всегда.

Анна Бергман дает отцу беспощадную характеристику. По ее мнению, он глубоко ущербный человек с множеством страхов.

> Он боится встречаться с людьми за пределами своего заколдованного круга, не любит ходить на ужины и устраивать частные встречи. До ужаса боится собственных премьер. И после них часто удирает через заднюю дверь, в такси его рвет, он стремится только домой, чтобы спрятаться. Нередко по окончании работы над фильмом или театральной постановкой он заболевает. По-моему, он тогда ощущает пустоту. Еще он боится, что люди, критики, начнут трепать его творение, трактовать и перетолковывать, разрушая его магию.

“Ингмар меня предал”, – сказала Харриет Андерссон Харри Шайну. Они сидели в буфете Мальмёского городского театра, и, поджидая свою жену, актрису Ингрид Тулин, Шайн пытался утешить плачущую Андерссон. Спросил, ради кого Бергман ее бросил.

“Ради пианистки. Ее зовут Кэби Ларетай”.

Шайн, который много лет назад был влюблен в пианистку, и она его бросила, мог теперь успокоить Андерссон: “Я ее знаю. На сей раз Ингмар дал промашку. Скоро он к тебе вернется”.

Но тут самоуверенный Шайн ошибался.

Кэби Ларетай, родом эстонка, с 1940 года в шведской эмиграции, и ее муж Гуннар Стэрн, главный дирижер Евлеборгского губернского оркестрового объединения, ходили на “Седьмую печать”. Ларетай фильм настолько потряс, что по дороге домой они только о нем и говорили. Потом она сказала мужу, что хочет написать Ингмару Бергману, поблагодарить его. “Так возьми и напиши”, – ответил Гуннар Стэрн.

Но Ларетай медлила, и переписка началась лишь после того, как осенью 1957 года они познакомились в Мальмёском городском театре, на генеральной репетиции бетховенского Концерта для фортепиано с оркестром соль мажор. И какие это были письма. От первых несмелых вежливых фраз до страстных объяснений в любви, сдобренных признаниями собственных слабостей и тоски по защищенности, близости и общности. А зачастую и малоприятной способностью смоделировать самое слабое звено отношений – Бергмана – и предугадать распад семьи. Они также свидетельствуют об исключительном умении Бергмана держать на замке двери в те или иные эмоциональные сферы, где он в данный момент находился, и таким образом ловко балансировать на тонкой грани между двумя одновременными романами.

На сей раз встретились единомышленники. У обоих в жизни была одна задача – служение искусству. Все остальное имело

второстепенное значение. Вполне можно допустить, что Ингмара Бергмана такая ситуация устраивала как нельзя лучше, и в каком-то смысле это правда. Он избежал угрызений совести из-за порабощенной и брошенной жены, которая сидела дома с детьми. Зато его мучила ревность к ее успехам, нередко достигнутым за рубежом, в окружении восторженных поклонников.

В первых письмах 1958 года Ларетай писала Бергману, что они слишком торопятся, что ей хотелось бы узнавать его не спеша. Он намекнул, что ему любопытно, любит ли она своего мужа Гуннара Стэрна, обманывала ли его и насколько личными могут быть его письма. Она ответила встречными вопросами – женат ли Бергман или одинок? “Вы думаете, я изголодалась, напр. эротически, или заскучала и ищу приключений?” Она писала, что любит мужа, но способна хранить верность одной лишь музыке. Ей суждено быть вероломной, в точности как и Бергману, но она верит в полную честность. “Если нарушаешь верность, надо отвечать за это с чистой совестью”. Жить с ней очень трудно, в браке у нее нет будней. Она любит одиночество и деревенскую тишину. Что он был трижды женат и теперь живет с Биби Андерссон, она не знала. Ей по душе рот Бергмана и его меланхоличная улыбка. В тот день, когда не выдержит в своем браке, она по-настоящему придет к нему.

Письма Ингмара Бергмана к Ларетай? Как объяснения в любви они удивительно красивы, и романтическая натура перед ними не устоит. В марте 1958 года он написал ночью из Мальмёского городского театра письмо, состоящее из ряда пунктов:

> 1-2. Он поставил ее фотографию так, чтобы смотреть на нее, лежа в постели, а когда посмотрел, то “просто сошел с ума”.
>
> 3. Она затронула в нем самые глубинные струны и сломала привычную жизнь: “…я уже не я, а ты, твой, полностью твой (без сожалений и требований). Каждая секунда – биение твоего пульса, каждый вздох, каждое движение моей мысли устремлены к тебе”.
>
> 4. Ему казалось чуть ли не непристойным, что она разговаривала с другим мужчиной (то есть с мужем, Гуннаром), дотрагивалась до него, обнимала. “Твой рот, твои руки, твое лоно не для меня!”
>
> 5. Она “бесспорно” первая его женщина, и потому совершенно логично, что он рвется и тянется к ней, любит ее.
>
> 6. Он ревнивый и “чертовски глупый”. Ему хочется,

чтобы она тосковала, горела огнем.

7. Снова и снова повторялась мысль, что Ларетай его первая и единственная жена.

Что есть брак, если не то, что существует между тобой и мной. Почему же тебе нельзя выйти за меня? Кто сказал, что это невозможно? […] С какой стати нам быть особенно несчастливыми! И кто сказал, что надо быть счастливыми всегда? Но ты единственная жена, которая у меня была или будет.

В декабре Кэби Ларетай оставила мужа и трехлетнюю дочь Линду и переехала к Ингмару Бергману. Гуннар Стэрн подал на жену в суд за нарушение брачных обязательств через прелюбодеяние и потребовал единоличной опеки над дочерью. Знаменитого режиссера снова вызвали в суд, чтобы он под присягой засвидетельствовал свою связь с замужней женщиной.

В своих мемуарах Ларетай описывает, как 4 июня 1959 года она, ее муж Гуннар Стэрн и Бергман собрались в холодной комнате евлеского городского суда. Повестку Бергман получил неделей раньше: “Допрос касается Вашей связи с Кэби Стерн *[sic!]”*. И вот они, как школьники перед устным экзаменом, стояли и пытались вести беспредметный разговор, пишет Ларетай в “Как бы в переводе”. Комната наполнена болью, нечистой совестью, виной, любовью и сочувствием. Бергман и Стэрн говорили об общих интересах – о музыке и театре. Ларетай молчала.

Одного за другим их вызывали на допрос. Ларетай толком не знала, что ее ждет, но друзья предупреждали, что ей будут задавать вопросы о внебрачных связях. Запинаясь и покраснев, она отвечала, что они с Бергманом встречаются уже три месяца.

Когда вызвали Бергмана, она осталась наедине с обманутым мужем. Видела боль в его глазах и чувствовала желание обнять его. Ей хотелось заплакать и искать утешения в его объятиях, но она держалась поодаль.

Бергман принес присягу, и ему напомнили о ее важности. Затем он сообщил члену городского суда Ёрану фон Посту, что познакомился с Ларетай двумя годами раньше, а интимные отношения они поддерживают уже полтора года.

Когда все закончилось и они сидели в машине, по дороге домой она спросила, что он сказал. “Больше года. Чтобы наверняка”, – ответил он. И оба рассмеялись, испытывая облегчение оттого, что этот тяжкий экзамен остался позади.

Но Бергман не был бы Бергманом, если бы вскоре не устроил одну-две драмы. Осенью после процесса в евлеском городском суде он лег в Софийский приют. Он частенько пользовался этим

прибежищем, чувствовал себя защищенным в обстановке детских лет и без помех мог работать. Но Ларетай не понимала, почему у него случился сбой, и была готова отказаться от планов замужества. Впрочем, ей удалось уговорить Бергмана поехать с ней в другое его прибежище – “Сильянсборг” в Даларне, поскольку с Воромсом семье пришлось расстаться. По пути они, по просьбе Ларетай, заехали в Евле, так как она хотела забрать кое-какие личные вещи из квартиры, где раньше жила с дочерью и бывшим мужем.

Вероятно, с Бергманом что-то произошло, когда он вошел в прежнюю квартиру своей новой женщины, увидел большой стейнвеевский рояль, заглянул в детскую маленькой Линды и заметил, как Ларетай, собирая вещи, старается сдержать слезы.

По дороге в Даларну они попали в снежную бурю и гололедицу, и Бергман до смерти боялся угодить в канаву, подобно множеству других автомобилистов. Спокойствие Ларетай раздражало его. “Его постоянная готовность к катастрофам наталкивалась на мое фаталистское: “Все обойдется”.

После поездки в “Сильянсборг” Бергман покончил с этим романом. Все обречено на неудачу, так он решил, и больше им встречаться не стоит. Поэтому он снова спрятался в Софийском приюте. И только длинное письмо от Ларетай, которое она закончила словами “Ты не знаешь, чего лишишься!”, в итоге зацепило заартачившегося жениха и привело к алтарю.

В то же самое время Карин Бергман, как всегда, следила за успехами младшего сына, большей частью издали. Она посмотрела “Земляничную поляну”, которая произвела на нее глубокое впечатление, и не могла понять, как сын мог знать, что чувствует старик [персонаж Виктора Шёстрёма – Исак Борг. – *Авт.]*. Она с удовольствием разговаривала с Ингмаром, пока он был в Софийском приюте, поскольку ее муж Эрик, пастор, предпочитал общаться с покойниками. “Он много читает Гейера, Тегнера и т. д., и это, конечно, замечательно, только вот свое, нынешнее время он не понимает”, – с обычной иронией писала Карин в дневнике. Слава сына росла у нее на глазах: “Теперь он то и дело получает награды. Конечно, прекрасно, что он приезжает! Но как же он далек от моего маленького Ингмара! Я-то ищу у него душевность!” Ей звонили из “Дагенс нюхетер”, хотели получить комментарий Бергмана по поводу того, что он и Виктор Шёстрём поделили золотую медаль Общества кинематографистов. По радио она слышала, что за “Земляничную поляну” он получил на Берлинском кинофестивале “первую премию”, то бишь “Золотого медведя”, а затем в “Эхе дня”

передали и его интервью, для матери, пожалуй, весьма самоуверенное: “Мне бы хотелось, чтобы он был поосторожнее в своих высказываниях, но это ведь Ингмар. Удивительно для такого молодого человека – столько шумихи и успеха”. В декабре 1958 года она и Эрик Бергман побывали в “Красной мельнице” на премьере “Лица”, и этот фильм ей не понравился:

> О, какая мешанина. Примерно то, чего я опасалась. На сей раз он зарыл свой талант, хотя в целом все сделано профессионально. […] Как ни странно, рецензии Ингмар получил отличные. Не понимаю!

В январе 1959-го он уверял ее, что о браке с Кэби Ларетай даже речи нет. И она надеялась, что так оно и есть. Но в феврале узнала, что они собираются съехаться, а это с большой вероятностью был шаг на пути к бракосочетанию.

> Вечером Ингмар провел у нас несколько часов. Кажется, его переполняет радость, что в Юрсхольме он обзаведется настоящим домом. Это связано с “новенькой” в его жизни? Сегодня вечером мы видели и слышали ее по телевизору, она играла Шопена. Действительно большая артистка. Но я никогда не поверю, что все продлится дольше обычного. Кстати, Ингмар был дружелюбен и предупредителен, как он умеет.

В апреле мать навестила Бергмана в Софийском приюте, где он находился после несложной операции. И вечер прошел необычайно приятно. Никогда раньше она не видела его настолько спокойным, искренним и ласковым. “Может, в новой связи все же есть что-то постоянное. Он ведь довольно много говорил об этом, и я честно сказала ему, что настроена скептически. “Будь тебе 60, я бы еще рискнула поверить в прочность, но сейчас?” Однако он не обиделся, и расстались мы дружески. Дай бог, чтобы все у него сложилось хорошо”.

В мае, приехав на несколько дней в Корстеппанский пансион в Даларне, она решила повидать Ингмара и его новую подругу, которые проживали в гостинице “Сильянсборг”. Ей было любопытно и страшновато. Сын встретил ее, одетый к ужину, загорелый и “внутренне дружелюбный”. Ларетай ожидала в холле. Непосредственное впечатление Карин Бергман – от новой женщины веет аристократизмом и опасностью. Но в ходе вечера все утихло. Ингмар Бергман пригласил также Макса фон Сюдова, и после ужина они сидели в просторной комнате с чудесным

видом на озеро Сильян, пили кофе. Очень удачно, что с ними фон Сюдов, думала Карин Бергман. Он человек воспитанный и скромный. Вероятно, сын так и планировал – привести “судью”, то есть мать, в доброе расположение духа, возможно слегка под обаянием большого актера, и избежать нежелательных комментариев и многозначительных взглядов. Очевидно, план удался, потому что, по мнению радостной матери, сын был “полон шарма и фонтанировал идеями”, весь вечер они разговаривали на нейтральные темы, не затрагивая щекотливых проблем, чем Карин Бергман осталась в душе очень довольна. Потом сын и его подруга отвезли ее в Корстеппанский пансион, и, прежде чем лечь в постель, она записала в дневнике: “Что до нее, все для меня как-то неясно. Искренна ли она? Пока не рискну ничего говорить. Но надеюсь, Ингмаровы испытания будут не слишком трудными”.

Потом пришло то самое письмо от Ингмара Бергмана. Такого рода известия предпочитают передавать не устно, глаза в глаза, а спешат записать, отправляют, а затем надеются, что оно не окажется неудачей.

Письму предшествовала большая статья на развороте июльского номера “Векку-Журнален”. В течение некоторого времени за знаменитой парой Бергман – Ларетай охотились журналисты, и в конце концов они согласились на что-то вроде домашнего репортажа, хотя на самом деле все происходило в помпезном отеле “Сильянсборг” в Даларне. Это был классический репортаж, и снимки делал не кто-нибудь, но Леннарт Нильссон, через несколько лет прославившийся на весь мир новаторской фотосерией “Ребенок приходит на свет”.

На обложке Ларетай смотрит в объектив, поразительно красивая. На ней широкополая летняя шляпа. Наискось за ее спиной сидит Бергман в небрежной спортивной рубашке, с довольной улыбкой на лице, взгляд устремлен на мочку ее левого уха, которое он любит ласкать рукой. Фотографии внутри журнала продолжают ту же игриво влюбленную тему – они понарошку ссорятся, смеются, улыбаются, смотрят друг другу в глаза, лежат на пледе в зеленой траве и читают. Эстетика невольно наводит на мысль о роковом романе циркачки Эльвиры Мадиган и лейтенанта Сикстена Спарре.

В целом это чувственное описание чудесного мгновения в жизни двух людей, и, казалось бы, оно не должно пробуждать у Ингмара Бергмана и его матери неприятных ощущений. Но уже текст на обложке вызвал в пасторском доме негодование: “Ингмар Б. – Кэби рассказывают о своей предстоящей свадьбе – Чудесные

фотографии”. Можно себе представить, как реагировали Карин и Эрик Бергман, прочитав статью:

> Ингмару Бергману, гению режиссуры, предстоит один из важнейших спектаклей в его жизни. На родине об этом лишь перешептывались. Но когда Мальмёский театр приехал на гастроли в Лондон, перешептывания проникли в заголовки крупных газет. Английская пресса во главе с “Дейли мейл” сообщила, что мистер Бергман вскоре вступит в брак с Кэби Ларетай. А в Англии знают, кто такая Кэби Ларетай. Задолго до того, как она стала одной из популярнейших телезвезд Швеции, англичане использовали эту превосходную пианистку, а вдобавок красавицу, на своем телевидении. Однако английскую прессу тревожило, что же теперь станется с выступлениями Кэби Ларетай на музыкальном фестивале в Гастингсе, где будет дирижировать ее бывший муж. Все предугадывали так называемую щекотливую ситуацию. Но тревога оказалась напрасной. Круги, близкие к паре Ларетай – Стэрн, знают, что из-за бесконечных турне этот музыкальный брак фактически распался. Он, талантливый дирижер, работающий с Евлеским городским оркестром и успешно стремящийся к международной карьере, и она, знаменитая пианистка, концертирующая на родине и в особенности за рубежом, – они толком не справлялись с репетиционными стрессами, страхом перед выступлениями, напряжением перед совместными встречами с концертной публикой. Такие вещи изматывают людей в будничной жизни и совершенно непереносимы под одной крышей в Евле. По обоюдному согласию они решили расстаться, тем более что сейчас обоим сопутствует международный успех. Артистические контакты они сохранят, музыкальное сотрудничество не прервется. Слухи о бракосочетании набирают силу, особенно с тех пор как Ингмар Бергман приобрел виллу в Юрсхольме, с красивым местоположением у залива Фрамнесвик, – старинный живописный дом а-ля *Mon oncle*[31], по его собственным словам. Новоиспеченный домовладелец уже не делает секрета из того, что он и Кэби Ларетай осенью поженятся. Но когда и где – наше личное дело, добавляет он.

Много места журнал отвел описанию Кэби Ларетай. От нее веяло огромной жизненной силой, внешне броская и вместе с тем

пикантная – стильная и породистая актриса.

> Тонкий, немножко курносый носик придает пикантность ее в остальном чисто классическим чертам. Прямой, высокий лоб говорит о музыкально-математических способностях. Руки – большие и сильные для такой грациозной женщины, как она. […] Она не носит колец и не красит ногти. Из украшений охотно надевает по-южному крупные серьги. Ее жизнеутверждающий смех еще долго звенит в ушах после расставания с нею. Голос теплый, певучий. Наверно, он лучше всего звучит, когда напевает печальную колыбельную.

Эта порция сплетен, инсинуаций и анатомических штудий, хотя и помещенная в благоприличном “Векку-Журнален”, на Стургатан пришлась не по вкусу. “Эрик возмущен, и я думаю, можно было избавить от этого и нас, и всех близких Ингмару по прежним временам”. Родители опять метались между надеждой, радостью и разочарованием. Всего несколько месяцев назад состоялась конфирмация внучки Лены, и в пасторском доме надлежащим образом отметили это приятное событие. Эрик Бергман произнес речь в честь конфирмантки, Ингмар Бергман сказал речь в честь родителей, которую Карин не скоро забудет. Поэтому репортаж в “Векку-Журнален” прозвел эффект холодного душа.

Нетрудно понять, что Ингмару Бергману хотелось объясниться. Он начал письмо с “безгранично огромной” благодарности за родительское поздравление, присланное ко дню рождения. Возможно, опасался, как бы родители не истолковали его превратно: “Это стало вроде как традицией, и я бы здорово загрустил и обиделся, если б в этом году писем не пришло”.

Затем он еще раз поблагодарил за то, как замечательно они все устроили в день конфирмации Лены. “Праздник получился совершенно особенный, из тех, какие в детстве запоминаются на всю жизнь. Чувство близости и защищенности в близости”. Он рассказал, что после съемок “Источника” ужасно устал и отдыхал в “Сильянсборге”, бродил по траве и, лежа в старой лодке, покачивался на волнах посреди Сильяна. Некоторое время он кружил возле подлинной темы, но в конце концов перешел к щекотливой сути:

> В середине августа, когда я закончу сценарий следующего фильма, мы опять поедем в “Сильянсборг”. И поженимся, потихоньку, под строгим секретом, без

посторонних. Хочу сказать вам об этом сейчас, чтобы вы так или иначе не узнали от других. Я прекрасно знаю, вы оба настроены весьма критически, и, разумеется, есть причины, чтобы высказать множество возражений, особенно если считаешь, что человек не способен изменить свои поступки и мысли. Уверяю вас, я не питаю романтических иллюзий касательно вечного счастья и прочего. Но первый и единственный раз в моей жизни я не одинок. Знаю, с вашей точки зрения это, наверно, звучит как нонсенс, но я говорю, что думаю, невзирая на ваши представления о том, как полагается вести себя в мире. Одиночество все больше завладевало мной, все казалось мне безразличным, лишенным смысла, мертвым. Не знаю, как сложится будущее, но я очень-очень хочу, чтобы оно было прямее и чище прошлого. Пишу об этом, чтобы просить вас: постарайтесь понять и принять происходящее. Не судить и не осуждать. Не обрывать и не затруднять контакты между вами и мной и Кэби. Я просто ужасно боюсь за свои взаимоотношения с родителями. С годами они стали мне очень дороги и важны. Да, и вот еще что: репортаж в “Векку-Журнален” был вынужденным. Чтобы помешать публикации статьи, которую не контролировали, мы решили, что будет лучше и менее рискованно, если напечатают статью, которую мы сможем проконтролировать. В нашей профессии порой приходится выть с волками и из двух зол выбирать меньшее! Буду рад, если вы так или иначе дадите о себе знать. Простите дурной почерк, он почти неразборчивый. Но прошло столько лет с тех пор, как барышня Стерки мучилась со мной.

Ваш сын Ингмар.

Письмо любопытно во многих отношениях. Во-первых, оно написано взрослым сорокаоднолетним мужчиной, всемирно известным театральным и кинорежиссером, чей жизненный опыт гораздо больше родительского. И все же пишет он как ребенок, испуганно ищущий у папы и мамы согласия и прощения. Во-вторых, фотографии счастливой пары, сделанные Леннартом Нильссоном, противоречат заявлению, что их вынудили к сотрудничеству, в таком случае они прекрасно сыграли перед камерой. В-третьих, рассуждения об одиночестве и притязании на более прямую и чистую жизнь плохо вяжутся с тем, как все выглядело на самом деле. Он не только повторял фразы из начатых ранее и уже законченных романов, но еще и утаивал

секрет. В апреле родилась Мария – дочь Бергмана и Ингрид фон Розен. Чтобы примириться с некоторым вероломством, Кэби Ларетай требовала полной честности, однако же в этом пункте он, стало быть, не мог пойти ей навстречу. Дочь родилась в сентябре 1958-го, через семь месяцев после того, как Бергман в одном из писем к Ларетай написал: “Приветы от того, ЗА КОГО ТЕБЕ СЛЕДУЕТ ВЫЙТИ ЗАМУЖ”.

Карин Бергман подозревала, что Кэби Ларетай отнюдь не возражала против репортажа из “Сильянсборга”: “Да она наверняка была согласна”. А реакция на письмо сына? “Он просит нас не позволять его четвертому браку разбить наше к нему отношение. В этом письме тот же Ингмар, с которым я встречалась апрельским вечером в Софийском приюте. Эрик очень сомневался, но я отвечу так, как подсказывает сердце. Если они хотят, то добро пожаловать”.

Если Ингмар Бергман совершенно искренне писал, что очень боится за свои отношения с родителями, он очень плохо их знал.

“Источник” частью снимался в Даларне, в Реттвике, тогда-то они и посетили белую известняковую церковь в Буде, построенную в середине XIX века, со средневековым створчатым алтарем. Она стоит на высоком холме и величаво смотрит на чудесный ландшафт. Идея повенчаться там принадлежала Ингмару Бергману. Написав родителям, что они поженятся потихоньку и в секрете, он запретил и Кэби Ларетай рассказывать ее родителям, где и когда состоится свадьба. “Так решил Ингмар, никому не говорили ни слова, чтобы новость не попала в заголовки вечерних газет”. Но, утверждая в письме, что все произойдет “без посторонних”, Бергман лгал. Он пригласил своего врача Стуре Хеландера, писательницу Уллу Исакссон (сценаристку “Источника”), своего ассистента Ленна Юрцберга, а также Бритт Арпи, хозяйку гостиницы “Сильянсборг”.

Несмотря на скрытничанье и клятву молчать, взятую со всего гостиничного персонала, пресса все же пронюхала о свадьбе, и они тщетно пытались отделаться от репортеров и фотографов, которые на автомобилях преследовали их до самой церкви. Бергман на “вольво-амазоне” пробовал оторваться от них, Ларетай прятала лицо под шарфом. В церкви заперли дверь, и бракосочетание сопровождалось громким стуком – фоторепортеры барабанили в дверь.

Бергман был в темном костюме, Кэби никогда не видела его таким стройным и элегантным и думала, что он с его валлонскими корнями выглядит как испанский дворянин. Он взял ее руку и со словами: “Теперь нас двое – ты и я”, – надел ей на палец купленное в Реттвике обручальное кольцо.

Прочитав в газетах о венчании, Карин Бергман рассердилась, что отнюдь не удивительно. “Я не получила ни строчки в ответ на письмо, написанное 9 августа. Мне очень больно!” Впрочем, в конце осени и зимой напряженные отношения нормализовались. Карин и Эрик Бергман посмотрели по телевизору один из концертов Ларетай, который им очень понравился, хотя Карин Бергман, упоминая о невестке, неизменно заключала это слово в кавычки. Накануне ужина, на который в пасторском доме ожидали “Ингмара и Кэби Ларетай, его новую жену”, он послал родителям подарок – большой красивый глобус с подсветкой изнутри. “Вечером позвонил Ингмар, вправду очень мило с его стороны”, – писала Карин в декабре.

Но, как всегда в семье Бергман, в новом году их взаимоотношения опять подвергнутся испытаниям.

Прежде чем переехать в юрсхольмскую виллу, молодожены некоторое время жили в однокомнатной квартирке на Грев-Турегатан, той самой, где Бергман жил с прежними своими женщинами. Там вообще было очень тесно, а оттого, что они взяли для Кэби напрокат фортепиано, просторней не стало. Когда она жарила ему ежедневное телячье филе, вся квартира наполнялась чадом, даже при открытой балконной двери. Как вспоминает Ларетай, они были счастливы, но на заднем плане виднелись темные полосы.

Переехали они осенью 1959 года. Красивая вилла располагалась в тенистом саду из яблонь и вишен. Неподалеку, всего в нескольких минутах езды на автомобиле, жила графиня Ингрид фон Розен с семьей, и это безусловно не случайность. Ларетай часто бывала в отъезде, и режиссер мог с легкостью перезваниваться и видеться с матерью своего недавно родившегося ребенка. Но жене Бергман говорил, что решил поселиться в Юрсхольме, поскольку именно здесь жил его близкий друг Стуре Хеландер.

Вполне возможно, Кэби Ларетай, по крайней мере на первых порах семейной жизни, была единственным предметом его желаний. Письма, которые он подписывал “Имми”, имели двоякий смысл. В январе 1960-го, когда Ларетай спросила его, почему он так любит именно ее, она получила поэтичный и одновременно сдержанный ответ. Слово “любить”, писал он, странное, затертое и к тому же печальное. Он объяснит ей свою любовь иначе. Она переполняет его, когда играет на фортепиано и становится “таинственным, неуловимым измерением за гранью разговоров и движений, иногда за гранью тебя самого, находящегося в комнате”. В этом заключены огромная радость,

богатство и защищенность. Его уважение к ее профессионализму и артистической ясности совершенно естественно. Он благодарен и горд. Подрезая ему ногти, читая вслух, она притягивает его поближе к себе, окружает своей красотой словно мягкой защитной оболочкой. Ее тело полно тайн, неразгаданных и волнующих загадок. Ее способность наслаждаться не похожа ни на что, с чем он сталкивался раньше. Она единственная говорит с ним о его работе, не огорчая его и не обижая. И красива именно так, как ему нравится. Красиво двигается и говорит, хорошо одевается, и руки у нее красивые, и зад крепкий. И пахнет она “хорошо, по-женски”. Ее требование правдивости, “предельной правдивости”, если надо, – штука трудная, но, пожалуй, все-таки хорошая. Он писал, что ощущает рядом с нею невероятное – защищенность, “хотя, возможно, это иллюзия”, и закончил письмо словами, что тоскует по “новизне, которой я так боюсь”.

Их продолжающаяся переписка – чтение неизменно завораживающее, так как показывает дорогу к концу; это словно крик утопающего, он молит о помощи, а помощи нет, ведь он сам тянет себя ко дну.

Бергман в марте 1960-го:

> Я говорю так много лишних, неподходящих слов. […] Я отравлен тем злом, с каким соприкасался в профессии. […] Любимая! Прошу тебя об одном: имей со мной терпение. Я стану лучше, обещаю стать лучше. Буду работать над собой и вырвусь из этого проклятия, в котором живу. Мне лишь надо знать, что ты со мной, что ты любишь меня и прощаешь. Я ведь вижу, как обижаю тебя, знаю, как плохо поступаю. Если бы это мое письмишко достало до глубин твоей души. Я всегда был до ужаса истеричен. Знал об этом и презирал себя. А одиночество было звеном в борьбе с истерией. Мне стыдно за себя, и из-за публичности, свалившейся на меня как раз сейчас, я чувствую себя раздетым, выставленным посреди площади на всеобщее обозрение.

Бергман в январе 1961-го:

> Ужасно тоскую по тебе, любимая. Уезжая, ты забираешь с собой жизнь, и мне приходится существовать как бы на резервной батарейке, которой в лучшем случае хватит до твоего возвращения, когда ты вернешь мне жизнь.
>
> Я воспринимаю нас как неделимое целое, чувствую, что мы делим всё и что помехи и досады, возникающие

меж нами, это пустяки, не имеющие значения. Они не препятствуют необходимости работать над собой и измениться, еще больше открываться, тянуться к тебе, искать тебя еще энергичнее. Всему этому я должен учиться, ведь всю жизнь, с самого детства, усваивал прямо противоположное.

Ларетай в дневнике, в январе 1962-го:

> Бог свидетель, с Имми не заскучаешь… разве что когда он не снимает. а не снимает он уже довольно давно. Усталый и невеселый, дома он только смотрит телевизор. Наверно, отсутствие стимула и заставляет меня досадовать на телевизор, не позволяет дать ему покой и отдых? Не знаю. Но приезд (и уже отъезд) в Хельсинки оживил меня, хотя расстаться было трудно. […] Между мной и Имми что-то сломалось, и меня гнетет это смутное ощущение? […] Оттого, что Имми вроде как страдает от моей радости и оживления, когда они приходят с тех сторон, с какими он сам никак не связан? Всему виной интенсивная жажда общности? Он боится потерять нашу общность из-за моей любви к какому-либо месту или человеку – к моей Линде, – к которым он ничего такого не испытывает? […] Мои восторженные рассказы о концертах, эти отчеты о стимулах (людях, местах, успехах) пробуждают у Имми, похоже, лишь ревность и демонов. […] Какие глубины в Имми так ущербны, что он даже раз в жизни не способен просить, принимать, искать, умолять!

Бергман в январе 1962-го:

> Помоги мне не думать так плохо обо мне самом, Кэби, любимая! […] Любимая Кэби. Дай нам бог долгую совместную жизнь, чтобы мы обрели зрелость и опыт.

Ларетай в дневнике, февраль 1962-го:

> Слегка больно сознавать, что ощущение дома дает Имми “Сильянсборг”, а не Юрсхольм. […] Новое намерение Имми: не все время смотреть телевизор.

Когда в феврале стало ясно, что Кэби Ларетай забеременела, Бергман сказал ей, что получил доказательство ее любви, которого так долго ждал. “Правда ли, что ребенок, которого мы

ждем, может быть причиной новой, поразительной, потрясающей зрелости и гармонии, какую сейчас выказывает Имми?” – писала она в дневнике.

Седьмого сентября, накануне кесарева сечения, она писала: “Скоро меня повезут в операционную. Как хорошо, что у меня есть Имми. Теперь нас будет трое, но наше с Имми единство неразделимо, мы одно”.

Рождение сына Даниеля стало кульминацией их отношений. Бергман наградил ребенком еще одну женщину, и, по известному и глубоко укоренившемуся образцу, именно это событие стало началом его ухода из супружества.

Позиционная война

Новое десятилетие началось с двух больших статей, которые вновь подвергли отношения Бергмана с родителями тяжким испытаниям.

В феврале он дал интервью на радио, и Карин Бергман с удивлением и радостью услышала, сколько он мог сказать о том, как важны для него она и Эрик. Затем состоялась премьера "Источника", и фильм очень растрогал Карин: "Слезы катились по щекам, а ведь глаза у меня отнюдь не на мокром месте". Фильм рассказывал о "величайшей муке в жизни, и о высочайшей красоте, и о тайне искупления". Ей не терпелось поделиться переживаниями, и она незамедлительно написала сыну письмо, в надежде, что он получит его уже на следующий день. Огромное впечатление побудило ее написать и актрисе Биргитте Петтерссон, героиню которой жестоко насилуют и убивают. Карин Бергман с удовольствием читала хвалебные рецензии, но расстроилась, что писатель, журналист и литературовед Свен Стольпе раскритиковал игру Петтерссон. Ингмар Бергман полагал, что актрисе будет приятно прочитать несколько утешительных и уважительных слов от пасторши.

Однако всего неделей позже в руках Карин Бергман оказался последний номер американского журнала "Тайм".

Обложку украшал портрет ее сына. Иллюстрация – лицо Бергмана в цвете на фоне зловещего черно-белого лесного пейзажа, где за женщиной гонится мужчина с явно недобрыми намерениями – начальный кадр сцены насилия из "Источника".

Оказаться в знаменитой красной рамке на обложке "Тайма", популярного во всем мире, значит войти в эксклюзивный клуб лиц, которых редакция считает самыми влиятельными на свете. Таким образом, через СМИ Бергман сделал решающий шаг в общество бессмертных, к которому, в частности, принадлежали президент Дуайт Д. Эйзенхауэр, королева Елизавета, советский политик и министр иностранных дел Андрей Громыко, австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд, нацистский министр пропаганды Йозеф Геббельс, Никита Хрущев, индийский борец за независимость и политик Джавахарлал Неру, американский сексолог Альфред Кинси и американский кандидат в президенты Ричард Никсон. Все они побывали на обложке "Тайма" до Бергмана.

Статья представила сына Карин Бергман в манере, типичной для англосаксонских журналов:

> *In the last four years the films of Ingmar Bergman (pronounced Bear ih mahn), almost unknown outside Sweden before 1956, have captured an impressive amount of screen-time in more than a dozen countries. One after another* – Smiles of a Summer Night, The Seventh Seal, Wild Strawberries, Brink of Life, The Magician – *they have carried off top prizes at the big film festivals and set the turnstiles twirling on the commercial circuits as no Scandinavian film has done since Garbo was a girl. And last week Stockholm was looking aghast at the latest product of Bergman's imagination, a religious horror picture called* The Virgin Spring *that contains "the most terrible rape and murder scenes ever seen in a film." A Stockholm critic called it "Bergman's best." The U. S. was touched by Bergmania late in 1958, when* The Seventh Seal *was released by Janus Films. Skeptics tried to write off Bergman's work as Norse opera for the intellectuals, but a few months later the smash success of* Wild Strawberries *made the U. S. aware that there was much more to Bergman than that. This winter as many as five Bergman films have been running at once in Manhattan. Next week another, a lustily ironic comedy of morals called* A Lesson in Love, *is scheduled to open. Week after that* The Magician *is booked into the big Fox West Coast chain; in late March it will ride the circuits from coast to coast. And among the art-house exhibitions Bergman is acknowledged as "The big Swede" who pulled the foreign-film business out of a substantial slump. "It's incredible," says an sociologist. 'As though the visions of Zosimos had hit the bestseller list."*

[За последние четыре года фильмы Ингмара Бергмана, до 1956 года почти неизвестного за пределами Швеции, захватили внушительные объемы экранного времени в десяти с лишним странах. Один за другим эти фильмы – "Улыбки летней ночи", "Седьмая печать", "Земляничная поляна", "У истоков жизни", "Лицо" – завоевали главные премии крупных кинофестивалей и заставили коммерческую машину проката работать на полных оборотах, чего со скандинавскими фильмами не случалось с времен юности Греты Гарбо. На прошлой неделе потрясенный Стокгольм смотрел последний плод бергмановской фантазии – религиозный фильм ужасов "Источник", содержащий "самые страшные сцены насилия и убийства в истории кино". Один из стокгольмских рецензентов назвал его "лучшим фильмом Бергмана". Бергманомания затронула США еще в конце 1958 года, когда "Джейнес-фильм"

> запустил в прокат "Седьмую печать". Скептики

пробовали отмахнуться от произведения Бергмана, мол, это скандинавское кино для интеллектуалов, однако спустя несколько месяцев сногсшибательный успех “Земляничной поляны” вынудил Штаты осознать, что Бергман представляет собой нечто много большее. Нынешней зимой на Манхэттене одновременно прошли пять фильмов Бергмана. На следующей неделе объявлен показ еще одного – изящно-иронической комедии нравов “Урок любви”. Неделей позже в кинотеатрах сети “Фокс” на Западном побережье пройдет “Лицо”, а в конце марта этот фильм будет демонстрироваться по всей стране. Прокатчики арт-хаусного кино называют Бергмана “Великим шведом”, который вывел прокат зарубежных фильмов из серьезного застоя. Как выразился некий социолог, “просто не верится. Словно видения Зосимы угодили в список бестселлеров”.]

Столь замечательная презентация должна бы вызвать у матери восторг и гордость. Карин Бергман продолжила чтение и добралась до абзаца, где говорилось о детстве, и вот тут-то она, наверно, и потеряла самообладание:

A strange child was father to this strange man. Second son of an ambitious Evangelical Lutheran parson who eventually became chaplain to Sweden’s royal family, Ernst Ingmar Bergman grew up in a home filled with cold constraint and deep unhappiness. His mother and father, a friend relates, were “sealed in iron caskets” of duty, he to the church, she to the household. They had little to do with each other and considered it “sinful to fuss over the children.” Father held frequent court on the “confession couch”, where he heard the children recite their sins. Little Ingmar soon developed a stammer and a chronic stomachache, retreated into a life of fantasy. Only in the last few years has he been reconciled with his parents. “I survived," he says with a shrug. “And they gave me something to break.” They also gave him, as a French critic has pointed out, “the themes of his future work: God and the Devil, Life and Death, the drama of the couple and the tragic solitude of beings”.

[Странный ребенок превратился в странного взрослого. Эрнст Ингмар Бергман, второй сын амбициозного лютеранского пастора, ставшего в конце концов капелланом шведской королевской семьи, рос в доме, полном холодного принуждения и глубокой печали. Как рассказывал один из друзей, его отец и мать

были “закованы в железные доспехи” долга; отец исполнял долг перед церковью, мать – перед домашним хозяйством. Они мало общались между собой и считали “греховным возиться с детьми”. Отец часто устраивал детям “сеансы на кушетке”, где выслушивал их исповеди в грехах. У маленького Ингмара вскоре развились заикание и хроническое заболевание желудка, и мальчик погрузился в мир фантазии. Лишь в последние годы он помирился с родителями. “Я выжил, – говорит он, пожимая плечами. – И они кое-что мне дали”. По словам французского критика, они дали ему “темы будущих произведений – Бог и дьявол, жизнь и смерть, драма супругов и трагическое одиночество человеческих существ”.]

Пожалуй, рассердило ее как раз понимание, что впечатления сына от атмосферы пасторского дома теперь впервые стали достоянием всего мира.

> Как он допускает, чтобы о его родительском доме писали такое? И кто источник, если не сам Ингмар? Я возмущена до глубины души, но, как обычно, говорить об этом не смею. Ведь что тогда будет? Может, написать Ингмару? И что мне вообще делать? […] Сегодня вечером Ингмар позвонил, и я немного поговорила с ним о статье в “Таймс”. Конечно, она задела его, но главным образом из-за Кэби и его самого. Он вряд ли понимает, какую боль испытала я. Эрик, к счастью, ни о чем не знает.

Не успела она оправиться от статьи в “Таймс”, как свалилась новая беда. Журналистка Марианна Хёк работала над биографией Ингмара Бергмана, и вот теперь отрывок из ее книги будет опубликован в газете “Рёстер и радио”, поскольку на второй день Пасхи 1960 года по первой программе передадут его постановку стриндберговской “Пасхи”. Получив 9 апреля экземпляр рукописи, Карин Бергман с ужасом прочла, что Хёк писала о родительском доме Ингмара и его взаимоотношениях с отцом. Она не понимала, как сын мог выставить свою семью в таком виде. После бессонной ночи она позвонила Хёк – вероятно, чтобы выразить свое негодование, – а затем сделала запись в дневнике: “Боже мой, необходимо остановить публикацию, иначе я не знаю, что будет”. На следующий день ей сообщили, что “Рёстер и радио” уже ушли в печать и ничего изменить нельзя. Она даже думать боялась, что случится. Навестила Гюн Бергман, принесла

пасхальный подарок Лилль-Ингмару, и бывшая невестка тоже возмутилась, услышав, что произошло.

Лишь три дня спустя Карин Бергман смогла поговорить с сыном. “Ингмар позвонил. И, когда я сказала, что ему следовало остановить эту ужасную статью, первым делом нагрубил мне”. В начале мая она пересмотрела “Травлю”, которую повторно демонстрировали в “Красной мельнице”, и поняла, что тяжелые семейные сцены в фильме непосредственно взяты из пасторского дома. “И Ингмаровы вспышки я в точности узнаю. Вообще-то удивительно, что все это написал девятнадцатилетний парень”.

Отрывок из написанной Хёк биографии встревожил Карин Бергман. Выход в свет ожидался через два года, и она пыталась завязать контакт с авторшей. Вместе с тем книга стала и больным местом в отношениях между матерью и сыном. Ингмар, конечно, время от времени появлялся в пасторском доме и, желая быть дружелюбным, приносил коробку шоколада, но это мало что меняло. Он был как никогда неприступен, и в конце концов жизнь превратилась в сплошное ожидание, писала Карин в дневнике. Она старалась заставить сына выслушать ее, понять ее мотивы и выступить против публикации книги Хёк; ведь он попросту обязан остановить публикацию. Встретившись в итоге с Хёк, она надеялась, что авторша в какой-то мере поймет ее. “Я сказала, что обращаюсь к ней как к человеку, а не как к журналистке”.

Карин Бергман не могла знать, что у сына был роман с автором книги и что он ее бросил. Другу Вильготу Шёману Бергман сказал, что она воспользовалась привилегированной ситуацией и все, что она написала о его родителях, надо вычеркнуть из рукописи и он в лепешку расшибется, чтобы так и случилось. Бергман заметил у Хёк агрессивность, потребность выплеснуть на письме свои эмоции. А потом дал Шёману добрый совет убедиться, что ни одна из отвергнутых любовниц “не портретирует” его.

Когда книга Хёк вышла в свет, некоторые наблюдения, опубликованные в “Рёстер и радио”, были убраны: “К числу обычаев пасторского дома принадлежали регулярные сеансы с отцом на доверительном диване, когда дети исповедовались в совершенных прегрешениях, получали наказание и прощение”, и “Он рано обнаружил трещину меж тем, что говорилось, и тем, что делалось, меж фасадом и содержанием, меж проповедью и практикой. Пропасть расширялась, и он рухнул в нее”. Иными словами, чистейшей воды лицемерие, и совсем нетрудно разделить опасения Карин Бергман, что двойная пасторская мораль, которую она сама отчаянно старалась скрыть, теперь распространится и займет в истории более правдивое место, чем

то, какое могла обеспечить статья в газете “Рёстер и радио”.

Однако сохранилась, например, такая фраза: “С точки зрения ребенка ситуация в доме, словно маятник, резко колебалась меж защищенностью и незащищенностью, меж идиллией и кошмаром”.

Таким образом, сокращения не изменили впечатления в целом, разве только слегка смягчили его. Кто именно – мать или сын – добился этой легкой редактуры текста Хёк, неизвестно. У Вильгота Шёмана на сей счет сомнений не было: “Конечно, приструнил Марианну Ингмар. Ведь эмоционально он держал ее под контролем, их связывала общая история”.

В сентябре Эллен Бергман написала Карин Бергман письмо. Она еще не читала книгу Марианны Хёк и надеялась, что автор действовала осторожно и пасторше не придется тревожиться о реакции мужа. “Надеюсь также, что там нет ничего, что может повредить детям. Вообще забавная штука – биографии, написанные при жизни человека. Все как бы принимается авансом”.

В конце июня 1960 года Ингмар Бергман и Кэби Ларетай, по ее предложению, отправились в Швейцарию, в городок Риффельальп неподалеку от Церматта, откуда открывается вид на могучий Маттерхорн. В воспоминаниях Ларетай муж предстает как ужасный привереда, недовольный всем, в особенности едой. “Это же телятина, Ингмар!” – воскликнула она, когда в бернской гостинице “Швайцерхоф” он с гримасой отвращения заявил, что требуху есть нельзя.

“Я говорила с ним как с ребенком”. Но Бергман оказался прав. С заказом Ларетай вышло недоразумение, им подали телячью зобную железу, а не телятину. Вечер был испорчен, и она уже приуныла. Бергман сетовал на все. Швейцария слишком маленькая. “Окружена горами. Ни тебе горизонтов. Ни моря. Ни голубых холмов, как в Даларне”. Погода стояла скверная, он нервничал, простыл и заработал ангину. Полная неудача.

Забавно, что воспоминания Ларетай весьма отличны от того, что он сам писал родителям:

> Дорогие мама и папа!
>
> Мы в самом деле нашли умиротворение, которого искали и в котором так нуждались. Живем высоко над миром (2200 метров) у подножия Маттерхорна в чудесной старинной гостинице, построенной в конце девятнадцатого века. Постояльцы главным образом чудаковатые англичане, старые супружеские пары,

каждое лето гостящие здесь с времен постройки. Все дышит стариной, но очень ухоженно и очень уютно. Автомобильная дорога заканчивается в трех десятках километров, в низовье долины, а сюда ведет только малюсенькая горная железная дорога, больше всего похожая на ту, что существовала в Скансене, когда я был ребенком. Кормят здесь превосходно, мы много спим и гуляем. Дни бегут невероятно быстро, но тем не менее мы успеваем поговорить о многих вещах, о каких не удается поговорить в будничной гонке. Эта полная, безусловная близость и общность, оставляющая без внимания все одиночества, – почти непостижимый дар. В первый и покуда единственный раз в жизни я живу в спокойном совершенстве, в счастье, которое вправду досталось недешево, и безмятежным его не назовешь. Потому-то мы благодарны за каждый день и каждый миг. Сейчас вот идет тихий, меланхоличный дождь. Тишь кругом, слышен лишь стук капель и плеск, шумят ручьи, а на лужайке пониже гостиницы бренчат коровьи колокольцы.

В бергмановском описании собственной жизни много таких “в первый и единственный раз”, особенно когда речь идет о его переживаниях вместе с той, что волею случая оказалась его женщиной или будущей женой.

Судя по дневнику Карин Бергман, осень прошла сравнительно спокойно. Общение сына с родителями, видимо, шло на уровне нормальных разговоров. В октябре он побывал в датском Орхусе, где студенты увенчали его лавровым венком и чествовали речами, а проезжая с Кэби Ларетай мимо Воромса, видел прискорбное обветшание тамошнего дома. Однажды утром он зашел в пасторский дом с корзиной яблок из юрсхольмского сада и за завтраком долго разговаривал с родителями о “правильных вещах”.

В ноябре они посмотрели его последний фильм “Око дьявола”, где Ларетай исполняет сонаты итальянца Доменико Скарлатти, и получили подлинное удовольствие: “Живой, остроумный диалог и чудесное развитие главных героев. Как только мы пришли домой, сразу позвонил Ингмар, спросил, как нам понравилось, и обрадовался, услышав, что мы очень довольны. Я долго с ним разговаривала”.

В декабре Эрика и Карин Бергман пригласили на виллу в Юрсхольм. Пили чай, Кэби Ларетай играла для них на рояле и рассказывала о своей телевизионной программе, которую будут

транслировать на Рождество. Карин Бергман была очень довольна. “Ее великие композиторы прямо-таки оживают перед нами, когда она о них рассказывает, а затем играет. Ингмар кажется на удивление спокойным. И дом такой красивый”.

Жизнь дышала гармонией. Но Карин Бергман не была бы Карин Бергман, если б не находилась одновременно в другом мире, где отношение к младшему сыну определялось весьма контрастными чувствами:

> Ингмар непредсказуем – и случиться может что угодно. Сейчас, с Кэби, он кажется счастливым и спокойным. И по-моему, она способна справляться с ним, как никто до сих пор. Ведь она сама – сильная личность. Теперь для Ингмара много значит и Лена. Из-за болезни Эльсы ему пришлось заботиться о Лене и действительно быть ей отцом, поэтому они сблизились. Ингмар умеет быть нежным, веселым и приветливым, как никто, но, если чем-то ему мешаешь, может с тем же успехом быть и крайне жестким. Вот почему с Ингмаром или с Кэби и Ингмаром никогда не встречаешься по-будничному. Встречи происходят всегда в более или менее праздничной и безмятежной обстановке. И тогда они оба просто очаровательны.

Ингмар Бергман продолжал воевать на нескольких фронтах. Успехи и неудачи чередовались, точь-в-точь как на полях сражений. Это касалось и профессиональной жизни, и брака, и отношений с родителями. Следить за военными действиями очень интересно, но выявить прямую и последовательную линию практически невозможно. Собственно, все не таково, каким представляется. Парадоксов не счесть. Полная амбивалентность.

В 1961 и 1962 годах Бергман пожинал успехи, один за другим. “Источник” принес ему “Оскара” и “Золотой глобус” за лучший зарубежный фильм, а год спустя “Оскара” за лучший зарубежный фильм получил “Как в зеркале”. Возможно, в душе он ликовал, но внешне выглядел на удивление спокойным. Статуэтки и премии как будто бы мало его интересовали, главным для него были скорее бóльшие возможности делать то, что хочется. С каждым международным триумфом шведская кинематография предоставляла ему все больше свободы.

Но когда Карин Бергман говорила с сыном по телефону, голос его зачастую звучал устало. Репетиции “Похождений повесы” Игоря Стравинского в стокгольмской Опере отнимали у него все силы. Вильготу Шёману он признался, что предпочел бы отказаться, но шеф Оперы Сет Сванхольм раз за разом убеждал

его все-таки взять на себя эту задачу. Однажды, сидя в кабинете на киностудии, он услышал, что в Опере объявили пожарную тревогу. “Я был в восторге. Ведь если Опера сгорит, мне не придется ставить “Повесу”.

Но усталость себя оправдала. И критика, и публика приняли постановку восторженно, называли ее легендарной. Сам Стравинский оценил его работу на пять с плюсом, а Бергман был очарован знаменитым композитором и дирижером. Его интервьюировала “Нью-Йорк таймс”, хвалил журнал “Опера ньюз”, издаваемый престижной Гильдией “Метрополитен-опера”.

Карин Бергман с энтузиазмом писала в дневнике:

> Фантастический вечер. Настроение по-настоящему праздничное. Присутствовали король и королева, а после спектакля устроили овации. Целых тридцать минут люди стояли и аплодировали. Снова и снова вызывали Ингмара. Кричали “Браво, Ингмар!” и проч. Потрясающе. […] Нынче я весь день пыталась связаться с Ингмаром. Но это оказалось невозможно. Отвечают только, что сегодня он не принимает телефонные звонки. […] Газеты не скупятся на превосходные степени, расхваливая его постановку. Интересно, когда человека превозносят до небес, он способен с этим справиться?

Как обычно, участвуя в успехах сына, она не могла не выразить определенный скепсис. Возможно, это полезно, но ее постоянные оговорки насчет событий в профессиональной жизни сына нередко выглядят завистливыми.

Не исключено, что Карин Бергман на самом деле ревновала. Его жизнь слишком часто напоминала ей о том, чем она сама пожертвовала. Заперла себя в пасторском доме, с мужчиной, который все больше и больше отмежевывался от жизни за пределами церкви – “Одиночество идеально”, могла бы сказать она, – и следила за эскападами сына с завистью, камуфлируя ее беспокойством и критикой.

Ситуация не улучшилась еще и оттого, что оба они не приехали на семидесятипятилетие Эрика Бергмана, поскольку были заняты работой – Бергман снимал фильм, а Ларетай выступала с концертами. Теперь пианистка символизировала для Карин Бергман трудности сближения с сыном:

> Сегодня вечером здесь были Ингмар и Кэби. Я приготовила отличный чайный стол, достала Эрикову “памятную книгу” и множество фотографий времен Ингмарова детства и юности, они выказывали интерес,

> но я теперь ни секунды не чувствую спонтанного контакта между Ингмаром и мной. Он пропал после появления Кэби. И ничего тут не поделаешь. […] Сегодня вечером позвонил Ингмар, уже после того, как я пожелала Эрику “доброй ночи”, и мы довольно долго разговаривали, ведь телефон стоит теперь возле моей кровати. В таких случаях он куда больше похож на себя, чем в присутствии Кэби. Ведь тогда он как бы постоянно должен окружать ее поклонением.

Вильгот Шёман строил домыслы по поводу теории ревности. Карин Бергман заботилась о детях сына и охотно поддерживала контакт с его бывшими женами. Но, как Шёман пишет в “Л-136. Дневник с Бергманом”, с Кэби Ларетай у нее ничего не вышло. “Год за годом Карин твердит: существует настоящий Ингмар. И этот настоящий Ингмар совершенно для нее недоступен, когда он вместе с Кэби. “Тогда он как бы постоянно должен окружать ее поклонением”. Что это говорит об Ингмаре? Что он не способен балансировать между этими двумя женщинами? Предположение отнюдь не рискованное. Ведь он сам говорит, что всю жизнь “путал” мать и жену. “Именно поэтому меня тянуло к все более молодым женщинам – просто чтобы подальше уйти от этой путаницы”. С Кэби он вновь начал борьбу против путаницы и мешанины”.

В январе 1962 года, когда Эрику Бергману предстояла операция по поводу рака простаты, Ингмар Бергман отказался навестить его в больнице. Даже позвонить отцу не желал, хотя персонал поставил телефон возле койки больного. Карин, как всегда, изливала душу в дневнике:

> Я позволила себе возразить, и он немедля стал резким, нетерпимым и жестким. Давно я не слышала его таким. Он сейчас переутомлен, потому что Кэби вернулась из турне усталая и расстроенная, а в подобных случаях он не выносит ни малейших резонов. Я плохо спала, причем больше из-за мыслей об Ингмаре, а не об Эрике. Для меня совершенно непостижимо, что он может быть таким. […] Эрику я ни слова про Ингмара не сказала. Посмотрим, может, он все же заглянет к Эрику завтра перед отъездом. […] Дома пусто, и так тягостно думать об Ингмаровом отношении к нам. […] Ингмар отмалчивается. […] Эрик получил письма от Ингмара. Для меня ни привета! Меня мучит эта странная неприязнь, которой я не понимаю и которой прежде не

было.

Отца Ингмар Бергман не навестил из-за того, что запланировал в даларнском “Сильянсборге” ужин с Уллой Исакссон и Вильготом Шёманом. Шёман вспоминает, каким измученным казался Бергман. И злым. И слегка захмелевшим и одуревшим от крепкого пива. Он, как ребенок, уткнулся в колени Исакссон, и друзья услышали, как он удивлялся, что “эта женщина”, то бишь мать, по-прежнему способна довести его до бешенства. Рассказал о ссоре по телефону, когда Карин Бергман просила его навестить отца в больнице. “Я же по два раза в день говорил с ними по телефону, сейчас, когда предстоит операция”, – заявил он Исакссон и Шёману.

Вероятно, чтобы заглушить угрызения совести, Ингмар Бергман вызвался затем оплатить отцу реабилитацию в Софийском приюте, но пастор отказался, наверно, самолюбие не позволило. Он хотел как можно скорее вернуться домой.

Разговоры с матерью по телефону часто кончались тем, что Ингмар швырял трубку и конец вечера был испорчен. Часто он снова звонил матери, снова с ней ссорился и звонил третий раз, чтобы попросить прощения. Не умел бунтовать, не чувствуя вины.

После одного из его редких визитов на Стургатан родители были огорчены и обижены отчужденностью.

> Он отошел от нас так далеко, как только возможно, и холодно наблюдает, а в остальном до крайности эгоцентричен. Я лучше понимала его, когда он был одинок и почти непонят. […] Я думаю о своих странных отношениях с Ингмаром и ужасно хочу, чтобы мне удалось приблизиться к нему.

Вот так все и продолжалось. Непомерная гордыня и нарушенные обещания. Временами позиционная война прерывалась случайными перемириями. Как, например, когда Ингмар Бергман пришел на послеобеденный чай у камина в салоне и они имели возможность спокойно побеседовать. Карин поняла, что брак с Кэби Ларетай забирал у него все свободное от работы время.

> Теперь и Кэби ждет ребенка, и они, кажется, очень этому рады. Позднее я постараюсь никогда больше ничего от Ингмара не ждать. Но, по его словам, а звучат они правдиво, со мной и с Эриком его соединяют крепкие узы, и он нас понимает.

Потом они иной раз не виделись месяцами, и Карин Бергман мечтала встретиться с сыном.

Пусть все будет хорошо, когда мы увидимся! […] Кстати, в газете опять большой анонс об Ингмаре. Я прямо-таки боюсь этой писанины. Только бы все не кончилось кошмаром! Я имею в виду огромную пустоту и в итоге молчание.

В ноябре Эрик Бергман предложил жене больше не обращать внимания на сына, но уже месяцем позже они радостно встретились в юрсхольмской вилле на крестинах малыша Даниеля. После крестин Карин Бергман в лирическом настроении записала:

> В большом музыкальном салоне все было устроено очень красиво – высокая елка с зажженными свечами, а рядом крестильный столик. […] Обстановка просто замечательная, и нам понравились родители Кэби, сестра и зять, все прошло превосходно. Кэби выглядит намного жизнерадостнее, и оба счастливы своим красивым домом. Повсюду лежал белый снег, а когда Ингмар вез нас обратно в город, в домах горели елочные огни.

Конфликты между Ингмаром Бергманом и родителями и резкие метания в его личной жизни были настолько обычны, что однажды он счел нужным уже в начале письма попросить их не удивляться: “Я пишу не затем, чтобы сообщить о каком-нибудь злоключении, внезапном решении или вроде того. Пишу просто потому, что все в полном порядке, а вдобавок вы, по-моему, давненько не получали писем от своего сына”. Это письмо он написал во время поездки в Данию с дочерью Леной. Им было очень хорошо, они жили в Хельсингёре в “Мариенлюсте”, похожем на собор отеле и казино с видом на Эресунн, и Бергман “жутко” тосковал по Кэби и Даниелю.

Эрик и Карин Бергман наверняка облегченно вздохнули.

Третий фронт, на котором воевал Ингмар Бергман, был в собственной семье. Еще в 1958 году в одном из писем к Ларетай он писал, что никогда не верил в счастье, в любовь или в подобные слова. Напротив, он ими злоупотреблял, использовал их “в самых странных обстоятельствах”. Теперь, когда они женаты, он мог полностью наплевать на то, как его воспринимает жена. Мог пойти на концерт в шерстяном свитере и неглаженых брюках, хотя эстетку Ларетай это раздражает. К себе домой он никого не приглашал и сам приглашений не принимал. А что, по ее мнению, хуже всего: он не скрывал приступов агрессии. Мог

разозлиться и откровенно, без прикрас высказать свою позицию. Самое настоящее культурное столкновение. В семье Ларетай никому в голову не приходило хлопать дверью или стучать кулаком по столу.

Такое впечатление, что куда легче быть влюбленными и тосковать друг по другу в письмах, а не в реальности. В “Волшебном фонаре” Бергман пишет, что они говорили обо всем, большом и малом, но в действительности не имели общего языка. А в “Образах” он пишет: чем очевиднее становилось, что постановка, которую они так старались осуществить, выдыхается, тем больше оба пытались подправить ее этакой вербальной косметикой.

В январе 1961 года Бергман написал довольно длинное письмо, которое начал с рассказа, как меланхолия и тоска по жене заставили его искать утешения в онанизме. Но дело неизменно кончалось “унылым спадом, ведь возбуждение было принужденным и не приносило ни малейшего наслаждения и удовольствия”. Он нервничал, пал духом и чувствовал себя отвратительно. Изнывал от страха перед одинокими, бессонными ночами. Боялся призраков и пугался собственных криков, “словно исторгнутых из бездны и горя”. Держался он лишь благодаря сознанию, что жена скоро вернется к нему.

Многое здесь кажется театральным, и легко согласиться с Бергманом, хотя по части вербального реквизита у него явно некоторый перебор. Вполне допустимо предположить, что как раз бурный словесный поток, риторика, как бы гипнотизируя контрагента, поочередно спасали его от разных затруднений и в итоге он развил в себе способность постоянно быть прощенным и оправданным.

Когда в 1963 году ему предложили возглавить Драматический театр в Стокгольме, то есть перед ним вставала самая престижная культурная задача в стране, он спросил у жены, что она думает. Она высказалась достаточно ясно: “Я знаю, ты согласишься. И думаю, это станет началом конца нашего брака”.

Как выглядела повседневная жизнь в семье, где каждый из родителей достиг в своем искусстве таких высот? В их спальне весь пол был затянут желтым ковром. Ингмар Бергман поначалу выказал недовольство, но позднее постелил такой же ковер в своем кабинете, где все чаще ночевал. Между кабинетом и спальней они устроили “примирительную комнату” с дверью на балкон. Там они спокойно вели дискуссии и улаживали недоразумения, пишет Кэби Ларетай в своих воспоминаниях. Когда приезжала погостить Линда, спокойствие оборачивалось хаосом. Дочка носилась по дому и устраивала тарарам, и, если

Ингмара Бергмана заблаговременно не предупреждали, гостья ему мешала. “Я убью того, кто смеет мешать мне, когда я пишу”, – мог сказать он.

В браке со знаменитым режиссером были особые стороны, и дело тут не только в его темпераменте. Он навлекал на себя общественное недовольство, проникавшее в самую сердцевину их жизни. Ларетай выслушивала по телефону брань и анонимные угрозы по ее и Ингмарову адресу. После премьеры “Источника” по почте пришло письмо с использованной туалетной бумагой. После “Молчания”, тоже весьма спорного ввиду сложной сексуальной темы, ее преследовала слава жены человека, который сломал сексуальные табу. В Германии пресса развлекалась словесными играми насчет “молчание – золото”. Бергман, утверждали тамошние газетчики, сколотил состояние, спекулируя на сексуальных табу, а Ларетай, стало быть, извлекала из этого золота выгоду.

Во многих случаях Кэби Ларетай напоминали о давних бергмановских изменах. Жена шефа эстонского представительства в Лондоне предостерегала ее во время гастролей в английской столице, что на такого человека, как Бергман, положиться нельзя: “Держитесь от него подальше. Он бросит вас, как бросил своих прежних женщин”.

А после одного из ужинов с его родителями Карин Бергман отвела ее в сторонку и задала вопрос, который уже некоторое время ее тревожил. Народ начал расспрашивать ее о сыне, и до нее дошли слухи про какую-то певицу из Оперы, которая якобы ждет ребенка. А отец якобы Ингмар Бергман. Ларетай заверила свекровь, что на самом деле обстоит совершенно не так, что все это не более чем сплетни. Кстати, певица замужем и счастлива в браке. Карин Бергман ответила, что Ларетай – единственный шанс ее сына: “Если он бросит тебя, надежды больше не будет. Тогда я откажусь от борьбы”.

Третий инцидент случился после концерта в Нью-Йорке. Ларетай отдыхала, лежа в постели в гостинице “Дрейк”, на углу Парк-авеню и Пятьдесят шестой улицы. Гостиница в стиле ар-деко пользовалась популярностью у самых знаменитых звезд, там останавливались, например, Фрэнк Синатра и Джуди Гарланд. Когда зазвонил телефон, она сперва подумала, что звонит ее импресарио, который без зазрения совести звонил в любое время дня и ночи. Однако звонил репортер газеты “Экспрессен”, хотел зайти и задать несколько вопросов, потому что Ингмар Бергман сказал по телевидению, что он и Ларетай собираются разводиться. Красавица-пианистка без комментариев все это отмела, но по возвращении в Швецию и в Юрсхольм ее ждала

записка от мужа: “Не верь тому, что болтают, пока мы не поговорим”.

На следующий день все выяснилось. Бергман признался, что его сразила страсть. Сказал, что не знал, как получится с этой влюбленностью, и в обычной своей манере попросил жену не предпринимать поспешных шагов, а набраться с ним терпения, в точности то же самое он говорил Гюн Грут, когда влюбился в Харриет Андерссон.

В своих воспоминаниях Ларетай описывает, как происходил ее постепенный уход из жизни Бергмана, красноречивое свидетельство тому – возвращения домой из турне.

> Первое: Ингмар встречает на аэродроме, с желтыми розами. Второе: Ленн [Юрцберг, Бергманов фактотум. – Авт.] на аэродроме, с желтыми розами. Ингмар на крыльце в Юрсхольме. Третье: Ленн с розами, Ингмара на крыльце нет, он шеф Драматического театра. Четвертое: никто не встречает. Никого на крыльце. Розы и приветственная карточка ждут на моем туалетном столе. Пятое: никого на крыльце. Никого дома. Никаких желтых роз. Шестое: Бербель [секретарь и домработница Ларетай. – Авт.] встречает на аэродроме. Ингмар переехал. У меня с собой большие букеты, полученные на концертах.

Эрик и Карин Бергман со смешанными чувствами наблюдали результат сыновней манеры постоянно черпать материал для своих произведений из собственных переживаний. Когда они сидели в темноте кинотеатра или на неудобных театральных стульях, то казалось, встречались два параллельных мира. Мир реальный, который они знали и в котором жили, и другой, возникавший на белом экране или на сцене, как когда они смотрели “Травлю”.

Еще один пример – “Причастие”. Главный герой – пастор небольшого сельского прихода, сомневающийся в своем призвании, вере и существовании Бога. В поисках подходящей церкви и вдохновения Бергман вместе с отцом, Эриком, объездил на машине весь Упланд. Пастор одной из церквей опоздал к обедне, так как прихворнул, и настаивал на сокращенной службе. Эрик Бергман возмущенно потребовал полного богослужения и провел его сам.

Гуннар Бьёрнстранд играл сомневающегося пастора, Тумаса Эрикссона, чью фамилию можно трактовать как “сын Эрика”, то есть это сомневающийся пасторский сын Ингмар Бергман, вдобавок такое же имя, Тумас, носил давний возлюбленный

Карин Бергман. Когда в феврале 1963 года родители посмотрели фильм, Карин записала в дневнике, что муж был невероятно растроган и для него в чем-то ожило время собственного пасторства в Форсбакке. В остальном фильм не вызвал у нее особого доверия. “Он грубо реалистичен, и, по-моему, люди в большинстве не обратят на него внимания”. Кстати, того же мнения придерживался и сам режиссер. А Кэби Ларетай откровенно заявила: “Это шедевр, но шедевр скучный”.

Позднее в тот год, посмотрев вместе с одной из экс-невесток поставленную сыном в Драматическом театре пьесу Эдварда Олби “Кто боится Вирджинии Вулф?”, где, в частности, играла его бывшая возлюбленная, Биби Андерссон, Карин Бергман записала в дневнике:

> Совершенно ужасная история супружества, но сыграна так, что в течение нескольких часов сидишь и слушаешь затаив дыхание. Нас с Гюн усадили в ложу Ингмара, и мы обе наслаждались, что можем спокойно сидеть и переживать. Одновременно ужасно и гениально.

Остается лишь догадываться, какие параллели она провела с собственным браком и тем, что видела в беспорядочных связях сына.

Казалось бы, в означенной ситуации взаимоотношения родителей и Ингмара Бергмана улучшатся, неровный и отчужденный настрой обоих лагерей смягчится, сменится более великодушным и понимающим. Однако все по-прежнему шло вверх-вниз, как раньше.

> Нынче вечером заходил Ингмар, но было совсем невесело, ведь он нам теперь как чужой, не расспрашивает ни о нас, ни о Даге, ни о Нитти. Все как-то неестественно, а оттого, что Эрик весь вечер молчит и считает меня лицемеркой, когда я пытаюсь расспросить Ингмара о работе и делах, легче не становится. Лучше бы мы сидели одни. […] Я пытаюсь вспомнить что-нибудь хорошее из вчерашнего вечера и, конечно, чувствую, что у Ингмара свой внутренний мир и живет он не внешней жизнью, но, что ни говори, так много всего стало рутиной и холодом. Не удивительно при всех его успехах и постоянной публичности. Только вот удивительно быть его родителями.

Отзывы Карин Бергман, как всегда, интересны, чистосердечны и совершенно лишены материнской предвзятости.

Вот что она пишет о бергмановских постановках двух одноактных пьес Сэмюела Беккета: “В высшей степени мучительное переживание. Я начинаю думать, не слишком ли Ингмар руководствуется в своем выборе собственным несколько негативным вкусом, одновременно ожидая, что люди будут довольны этим обнаженным, печальным театральным событием”. И о его постановке “Саги” Яльмара Бергмана: “Воздушная. тонкая. красивая”.

Карин Бергман не подозревала, что ее сын уже несколько лет имел любовницу в лице замужней Ингрид фон Розен и что у графини была от него дочь.

Но в марте 1964 года она заметила, что брак Бергмана и Кэби Ларетай, пожалуй, не столь безоблачен, как кажется. И по-видимому, была к этому вовсе не готова. Ей позвонила подруга и сообщила, что Ингмар разводится с Ларетай. “Она вела себя ужасно. Я сказала, что ничего такого не слышала, а она прямо-таки рассмеялась над моей наивностью. Потом я позвонила Ленну, потому что действительно была в шоке, и попросила рассказать, что ему известно. Он ответил, что все это сплетни, и был очень любезен. Ах, если бы и вправду было так!”

Вслед за этим потрясением у нее апрельской ночью случился инфаркт, и не первый. Она давно чувствовала, что с сердцем непорядок, а та ночь оказалась сущим кошмаром – сильнейшие боли и удушье. В больнице ей дали кислород и обезболивающее, а наутро Ингмар Бергман и Кэби Ларетай прислали большой букет ландышей и роз. Лечение в Софийском приюте оплатил сын. И там, в ее личной палате, мать и сын впервые за долгое время сумели сблизиться.

> Бесконечно приятно и тепло, отстраненность исчезла, он действительно был любящим сыном, который заботился о своей старушке-матери, приходил к ней, когда она в нем нуждалась. Я ужасно мучилась из-за огромного расстояния между нами и из-за того, что находила Ингмара совершенно неприступным. Моя болезнь как бы взорвала эту толстую стену, и мы можем встречаться так, как и прежде не бывало почти никогда. На первых порах Ингмар приходил каждый день, несмотря на свою загруженность работой, и я не могу выразить, как это помогло мне вернуться к жизни. […] Ингмар, который дарит мне время, иной раз приходит, сидит рядом, смотрит на парк и на пасторский дом и говорит о том, как любил это место. Вообще Ингмар

> старается навещать меня как можно чаще, и нам так хорошо вместе, мы говорим обо всем, о новом и о былом. Доброта и тепло Ингмара – огромное переживание, и оно помогло мне больше, чем я могу передать словами. Хорошо бы этот вновь обретенный контакт между нами сохранился и впредь, когда я выпишусь отсюда. Здесь он любит окружение, с пасторским домом на заднем плане, и наше с ним одиночество.

Как-то раз Ингмар пришел с женой, и они говорили о его следующем фильме, для которого он только что закончил сценарий. “Когда я спросила, о чем там пойдет речь, он ответил: “О демонах”. Надеюсь, ты помнишь, что есть еще и добрые духи, сказала я”.

Изредка он проведывал одну из оставленных семей. Эллен Бергман так описала его приезд в Гётеборг:

> Короткий визит Ингмара принес огромную пользу. К сожалению, сам он не понимает, как много это значит. Особенно для детей, для их чувства защищенности много значит, что он хоть немного заботится о них. Кроме того, им очень важно видеть, что он уважает их мать. И потом, мы можем поговорить о нем. На сей раз Ингмар тоже показал себя в выгодном свете. Во всех отношениях. Спокойный, дружелюбный, заботливый. Я понимаю, ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы все бросить, приехать сюда и вдобавок вправду быть здесь. За это я ему искренне благодарна.

Но когда у его сына, пятнадцатилетнего Яна, гостившего у брата матери в США, обнаружилась грыжа и ему пришлось лететь домой на операцию, Эллен писала бывшей свекрови:

> Я рассказываю об этом не для немедленной передачи Ингмару. Пусть он узнает задним числом. Думаю, он и сам предпочтет именно такой вариант. Тогда он избежит тревог. Если вообще тревожится.

Весной 1965 года Ингмар Бергман заболел и с воспалением легких, пенициллиновым отравлением и вирусной инфекцией угодил в Софийский приют. Чувствовал он себя, впрочем, не настолько скверно, чтобы одновременно не исполнять свои обязанности как шеф Драматического театра, хоть и на расстоянии, временами он ненадолго выходил в город, бывал в кино и навещал родителей. В феврале он вместе с Чарли

Чаплином получил нидерландскую премию Эразма за значительный вклад в европейскую культуру и общество.

Еще летом все, казалось, было так, как хотелось Карин Бергман. Поездка на Дроттнингхольм к матери Кэби Ларетай: маленький Даниель в саду, “очаровательный и славный мальчуган”, окруженный огромной любовью. Хороший ужин и показ фильма, который Ингмар Бергман снял о первом годе жизни сына. “Приятное и дружелюбное настроение, в обществе Кэби, Ингмара и матери Кэби можно забыть будничные неурядицы”.

Четырнадцатого июля Ингмару Бергману исполнилось сорок семь. В тот же день Кэби сравнялось сорок три. Карин и Эрик Бергман послали каждому по письму. “Пусть этот день будет для них хорошим!” На другой день сын позвонил, держался “очень мило, прямо бальзам на сердце”. Через неделю Ингмар Бергман уедет на Форё, начнет съемки “Персоны” – и заведет роман с исполнительницей одной из главных ролей – Лив Ульман.

В сентябре, пока Бергман и Ульман наслаждались страстью на порядочном расстоянии от его семьи в Юрсхольме, сыну Даниелю исполнилось три года. Карин Бергман написала Кэби Ларетай и послала в подарок малышу книжку “Путте в черничном лесу”.

В ноябре окончательно выяснилось, что Ингмар Бергман оставит пост шефа Драматического театра, его сменит Эрланд Юсефсон. А в декабре она заметила первые признаки, что между Ингмаром Бергманом и Кэби Ларетай что-то назревает. “Только бы Ингмар не отправился по новым опасным дорожкам!” На публике она неохотно говорила о своем знаменитом сыне. Его путаная личная жизнь мучила ее, а притворяться она совершенно не умела. На одном из спектаклей во дворце Карлберг рядом с нею оказалась некая дама из высшего общества, которая принялась допытываться, каково быть матерью Ингмара Бергмана. “Я быстро перевела разговор на ее детей”.

Та зима выдалась самой холодной с 1870 года, и Карин Бергман почти все время сидела дома, поскольку не выносила метель и холодный ветер. А от Ингмара и Кэби Ларетай большей частью вестей не было. В начале декабря сын все же ненадолго заглянул. “Завтра он уезжает в “Сильянсборг”. Именно сейчас он настроен на одиночество, и мне кажется, Кэби тоже нуждается в покое, учитывая все ее концерты”.

Наверно, ей хотелось позвонить невестке, но не хватило духу, потому что она чувствовала себя посторонней, чужой. На Рождество Карин записала в дневнике: “Кэби определено

выступала в Америке с большим успехом, но я чую нелады между ними". И на следующий день: "Во второй половине дня разговаривала с Кэби. Наверно, ей сейчас нелегко с Ингмаром".

Однажды вечером в начале марта 1966 года Ингмар Бергман позвонил матери и попросил ее зайти к нему в кабинет в Драматическом театре. Ему хотелось поговорить, и Карин Бергман была на седьмом небе: оказывается, она по-прежнему нужна.

О чем они говорили, известно только им обоим. В своих мемуарах Ингмар Бергман об этом не упоминает, а Карин Бергман записала в дневнике лишь нижеследующее:

8 марта:

> Вечером звонил Ингмар, он дежурил в театре и попросил меня прийти туда, мы проговорили несколько часов, и все мои предчувствия оправдались. Только бы они все это преодолели! Дай-то бог!

9 марта:

> Сегодня вечером Ингмар прислал мне с Ленном чудесную азалию. А сам позвонил и поблагодарил за вчерашнее. Правильно ли я поступила, молча выслушав все, что он рассказывал. Но ведь я знала, что в тот самый миг, когда я вроде как начну морализировать, я воздвигну между нами стену. И он знает, что мои молитвы и мое сердце борются с ним, чтобы он все-таки поступил правильно.

Вероятно, Бергман рассказал о кризисе в браке с Кэби Ларетай. Наверно, рассказал и о любви к норвежской актрисе Лив Ульман и о том, что она ждет от него ребенка, хотя это менее вероятно. Подобную информацию – новая, беременная любовница при живой жене – он, насколько можно судить, до сих пор от матери утаивал. Через два дня после встречи с сыном в театре она записала в дневнике, что видела Кэби и Ингмара в музыкальном салоне невестки на телевидении: "Изящно и весело".

В ночь на 13 марта Карин Бергман почувствовала боли и удушье. Она была одна в квартире, так как Эрик Бергман лежал в больнице после операции. Утром вызвали ее врача, профессора Нанну Сварц, но та уже ничего не могла сделать. В половине одиннадцатого Карин Бергман скончалась от инфаркта, в возрасте семидесяти шести лет.

Записи в дневнике оборвались, и пасторше уже не довелось пережить очередную влюбленность сына. Вероятно, последнее, что она узнала, было вот что: брак сына с Кэби Ларетай распадался. Как бы она реагировала на то, что теперь сын встречался с Лив Ульман, нам неизвестно, однако логично предположить, что она бы ответила обычным образом – беспомощностью, тревогой, болью. Наверняка она молила Бога продолжить ее безнадежную борьбу и вывести сына на путь истины.

Заупокойная служба состоялась 28 марта в церкви Хедвиг-Элеоноры. Обряд провел старший пастор Ханс Океръельм. Гроб утопал в желтых розах, любимых цветах Карин. Этот цветок Ингмар Бергман обычно преподносил и Кэби Ларетай.

Народу на похоронах собралось много. Присутствовали дочь Маргарета с мужем и старшей дочерью Вероникой. Они жили в Англии и паромом приехали в Гётеборг, откуда добрались до Стокгольма на красном “вольво-Р-1800”. Вероника сидела на церковной скамье между своим отцом Полом Бриттеном Остином и дядей Ингмаром. Мама похожа на мумию, думала она, лицо набеленное, вся в черном.

Все годы в Англии Вероника ужасно тосковала по бабушке, но сейчас плакать не могла. Озиралась по сторонам и заметила, что остальные плачут. Видела, как слезы струятся по лицам папы и деда, и ей казалось, будто весь мир сошел с ума.

Годом раньше она забеременела. Тягостный опыт. Мама Маргарета, помнившая ужасный аборт, который поневоле пережила в юности, умоляла мужа позволить дочери выносить ребенка; она считала, что Эрик Бергман, дав разрешение на аборт, убил ее собственного нерожденного ребенка. Маргарета даже соглашалась выдать ребенка дочери за своего. Ингмар Бергман, с которым они постоянно поддерживали телефонный контакт, был того же мнения: “Пусть рожает”. Ведь в его мире беременные женщины не были диковиной, напротив, он их любил.

Но это, разумеется, было невозможно. Во-первых, сама Вероника не хотела ребенка. Во-вторых, ее, по всей вероятности, исключили бы из школы, а образование – самое главное. Так что аборт оказался неизбежен. Веронике запретили говорить об этом кому бы то ни было, даже лучшей подруге, и потому она стала отдаляться от людей. Поневоле закрылась, чтобы держать свои чувства в узде. Была не в силах участвовать в развлечениях школьных товарищей, не могла смеяться. Она выросла в убеждении, что очень похожа на бабушку, ведь так ей твердили все окружающие: Вероника волевая, как пасторша, Карин, которая

контролировала и режиссировала все происходящее и которой, собственно говоря, самое место в театре, где она, вероятно, была бы счастливее.

Именно умение владеть собой и выставило всех собравшихся в церкви сущими безумцами. Все они безудержно рыдали, взрослые мужчины, которых Вероника никогда прежде не видела в слезах. Плакал даже ее отец, всегда чисто по-английски сдержанный. Только одного человека не одолели слезы – Ингмара Бергмана. Она посмотрела на него и увидела, что он улыбнулся ей. Какое же сильное и прекрасное чувство: вот еще один не хнычет, умеет владеть собой. Позднее – она уже легла в постель в гостинице Армии спасения на Дроттнинггатан, где под высоким потолком царила угрюмая тишина, – к ней зашел отец, принес старого игрушечного медведя, которого она много лет назад, когда семья переезжала в Англию, забыла взять с собой. Медведь был потрепанный, одноглазый. Вот тогда ее, наконец, прорвало. Она, не верившая в слезы, расплакалась навзрыд.

В следующий раз Вероника встретилась с дядей, когда ей исполнилось восемнадцать. Скончался дед, Эрик Бергман, и квартиру на Грев-Турегатан, куда он переехал после смерти Карин, надо было освободить. Разгар лета, жара, в квартире пыльно, Маргарета Бергман близка к истерике. Вероника предпочла бы находиться в другом месте. Потом пришел Ингмар Бергман, и они поехали ужинать в Ердет, в ресторан телебашни Какнестурн.

С племянницей он вел себя очень мило и по-товарищески. “Все говорят, что ты ужасно похожа на маму”, – сказал он. Веронике он показался ужасно скучным, а съела она одно-единственное глазированное пирожное. Потом Бергман отвел ее в сторонку, серьезно посмотрел в глаза и сказал: “Да, ты вправду похожа на мою маму. Но что ты сделала с девочкой, которую я видел на маминых похоронах? Как только увидел тебя, я сразу подумал, что у тебя самые сексапильные голубые глаза, какие я видел у женщин”.

За четыре года, минувшие после похорон Карин Бергман, Вероника заработала анорексию, и комментарий Бергмана вызвал у нее лишь раздражение. Она не хотела быть женщиной, тем более сексапильной, как говорит дядя. Но позднее, сообразив, что он фактически имел в виду, она досадовать перестала. Бергман не сказал “До чего ты худая” или “Тебе надо как следует питаться” и не твердил, что она уничтожила ту женщину, какую он видел на похоронах, он имел в виду, что Вероника спрятала ее в себе. А значит, где-то внутри она существует. Именно это он и разглядел в ее “сексапильных голубых глазах”. Вероника поняла, что дядя

отметил скорее ее стремление к контролю, что она повернула этот контроль против себя самой и что за всем этим стояла та же железная воля, как у его матери.

Вероника и Ингмар Бергман разделяли здоровое увлечение противоположным полом. Как и великий режиссер, она переходила от одного романа к другому, с последующими беременностями. Когда однажды утром ее отец Пол нашел ее в постели с парнем сестры, он гонял ее по гостиной и кричал: *You're just like your bloody uncle*![32]

Став старше, она поняла, что, по сути, любовь к мужчинам – это постоянные поиски вдохновения. Как и дядя, она человек творческий, движимый страстью. Восторг становится в искусстве настоящей движущей силой, и его легко спутать с любовью; в случае Вероники и Ингмара Бергмана – с величайшей любовью. Когда партнер затем говорит какую-нибудь глупость или делает что-нибудь им не по вкусу, они знают, что с этой минуты развод лишь вопрос времени.

Бывший муж Кэби Ларетай, дирижер Гуннар Стэрн, женился на оперной певице Берит Фруди. Ему не терпелось, она была молода и очаровательна.

Познакомились они в Городском театре Евле в сентябре 1957-го. Фруди играла небольшую роль в одной из постановок Упсальского городского театра, и как-то раз во время гастролей в Евле Стэрн репетировал в фойе со своим оркестром. Фруди попросила у дирижера разрешения спеть для него на пробу, и, послушав ее, он воскликнул: “Поздравляю! У вас есть все, на будущий год непременно включу вас в концерт”. Но затем, встретив Фруди в поезде на перегоне между Стокгольмом и Евле, он ее не узнал. Как и годом позже на генеральной репетиции в Оркестровом обществе Стокгольма. Не узнавал, и всё.

Казалось бы, странно. Несколькими годами раньше Берит Фруди исполнила главную роль в фильме “Девушка без имени”, в котором, в частности, снимались также Альф Челлин и Стиг Йеррель, причем, как писал один из еженедельников, ее игра основывалась на чисто физической выразительности, напоминавшей Ярла Кулле в женском варианте. В 1959 году, когда она получила в Мальмёском городском театре роль Кармен, “Векку-Журнален” поместил ее фото на обложке. Один из рецензентов восхищался ее сценическим обликом:

> Стройное девичье тело, пластика которого выдает зрелую сексуальность и изрядный эротический опыт. Курносая экзотическая девчонка с блестящими черными

волосами и соблазнительной белозубой улыбкой. Опасная самочка, насквозь испорченная, но с закаленной гордыней.

Так или иначе, Фруди получила обещанный Стэрном концерт и после в глубине души сожалела, что он женат. Однако она произвела впечатление на дирижера, и меж тем как Кэби Ларетай все больше увлекалась Ингмаром Бергманом, Стэрн увлекся Фруди. Первую ночь они провели в квартире для ночевок, которой совместно владели Бергман и Ларетай. В гадеробе висели красивые платья пианистки. Фруди подумала, что есть много способов провести ночь с Ингмаром Бергманом и вот этот – один из самых необычных. Она даже сомневалась, что они сменили белье на постели, в которой она сейчас лежала с дирижером.

Стэрн хотел немедля съехаться с Фруди. Она понимала, что для него это способ утешиться после потери жены. Фруди стала третьей женой дирижера, и он еще в начале их романа предупредил, что обыкновенно его брак длится десять лет.

В первый год он показал ей все узкопленочные фильмы о себе и Ларетай. А если покупал ей украшения, то как раз такие, что подошли бы пианистке. Фруди сделала вывод, что Стэрн хотел сделать из нее точную копию бывшей жены. “Гуннар не мог вновь жить в чьей-то тени, как было с Кэби”, – говорит Фруди. Она понимала и что ему нужен кто-то, кто позаботится о его дочери, опеки над которой он хотел добиться и в итоге добился.

Обе пары начали общаться, ради дочери, Линды. Когда Фруди и Стэрн приехали в гости на юрсхольмскую виллу, им устроили экскурсию по дому. Пока бывшая жена водила Стэрна по комнатам, Бергман показал Фруди свою спальню, где он развесил несколько декоративных мобилей. Фруди вспоминает, что эти мобили – он называл их “своими демонами” – оставляли впечатление редкостной гармонии. Фруди понимала, что у хозяев есть повод иметь раздельные спальни. Оба они испытывали трудности со сном, оба превыше всего ценили артистизм, в том числе и превыше совместной жизни, к тому же Бергман страдал неуверенностью и страхом перед интимностью. “Он не хотел подпускать людей слишком близко”.

Фруди и Бергман обнаружили, что во многом схожи – юмором и особенно темпераментом. И как бы по молчаливому уговору позволили своим партнерам играть затем первую скрипку в разговоре. Уселись на диван, словно благовоспитанные дети, и с легким любопытством ждали, как Стэрн и Ларетай, бывшие супруги, справятся с неординарной ситуацией, сидя в креслах

друг против друга.

Кэби Ларетай, дочь дипломата, всегда искавшая надлежащей гармонии и решительно действовавшая в любых обстоятельствах, и гибкий, уступчивый Стэрн, прошедший ее выучку. Темой разговора они выбрали музыку, общую страсть.

“Мы с Ингмаром слушали этих двух гигантов красноречия и сами не очень-то много говорили”, – вспоминает Фруди.

Позднее, когда гости собрались домой, Фруди и Бергман на минутку задержались на лестнице, а Ларетай и Стэрн прошли вперед. Бергман проводил их взглядом. “На редкость романтическая пара”, – сказал он без малейшей иронии. Они с Фруди были единодушны в том, что их партнеры – очень красивые люди, овеянные музыкой.

Сходства привели к тому, что между Бергманом и Фруди не возникло даже намека на эротическую искру. Они были скорее как брат и сестра. Потому-то никогда и не могли работать вместе, во всяком случае в кино, поскольку как бы нейтрализовали друг друга. Вместе они чувствовали себя защищенными, между ними недоставало напряженности.

В свою очередь Бергман и Ларетай ходили в гости к Стэрну и Фруди. Как-то раз хозяйка приготовила восхитительный ossobuco, но Бергман к телятине под белым вином не притронулся. Зато уничтожил огромное количество десерта – безе со сбитыми сливками и шоколадным соусом. Что полезнее для его капризного желудка, можно поспорить.

Общались они, как уже сказано, ради Линды, дочери Стэрна и Ларетай. Фруди вспоминает, что уже в самом начале Ларетай предложила перейти на “ты”, ведь теперь Фруди станет для ее дочки новой матерью. Ларетай с трудом балансировала между своей карьерой, отнимавшей у нее так много времени, ожидаемой материнской ответственностью и тем фактом, что Ингмар Бергман не хотел, чтобы ее дочь жила в юрсхольмской вилле.

И, когда она радостно сообщила, что муж в конце концов принял Линду, Берит Фруди поняла, что режиссер собирается оставить свою пианистку.

Жизнь с Лив

Выбор одежды, видимо, играл определенную роль в отношениях Ингмара Бергмана с женщинами. Молоденькую Харриет Андерссон он посылал покупать удобные рубашки, брюки и носки у “Георга Сёрмана”. Встретив более зрелую и эстетически более взыскательную Кэби Ларетай, чаще появлялся в смокинге. Женщины Бергмана неоднократно отмечали его элегантность или отсутствие оной, а его предпочтения до некоторой степени символизировали, на какой стадии находились отношения, вернее, какой характер они носили.

Бергман вполне мог бы почаще одеваться приличнее. Фотографии с презентаций фильмов и праздников 50-х, 60-х и 70-х годов показывают, что в смокинге он мог выглядеть весьма светским и непринужденным. Обаятельным благодаря слегка опасной и самоуверенной улыбке, на которую попалась Харриет Андерссон, окруженным невероятно красивыми женщинами.

Но в иных обстоятельствах отсутствие вкуса поражало. И дело не в том, что он этого не сознавал, ему просто было наплевать или недосуг. Умудрившись надеть к смокингу черные ботинки с коричневыми шнурками и явиться в таком виде на премьеру, он мог чувствовать себя едва ли не Франкенштейном и думать, что все только и смотрят на его ботинки. А порой мог и игнорировать личную гигиену. Словно не понимал, каков будет результат, когда ноги (мужчины) в тепле слишком долго обуты в резиновые сапоги, как, например, на оперном спектакле в середине 40-х годов. Его спутница запомнила тот вечер на многие десятки лет. Литературовед, музейщик и специалист по Бельману Улоф Бюстрём как-то раз присутствовал на ужине в доме писателя и члена Шведской академии Олле Хедберга и его жены Рут, которую все звали Хлоей. У Бюстрёма остались самые неприятные впечатления, как он писал Вильготу Шёману:

> К несчастью, меня усадили прямо напротив известного режиссера, и потому я волей-неволей хорошо его рассмотрел. […] Олле, как обычно, держался светски дружелюбно, а энергичная Хлоя, к моему удивлению, сохраняла хорошую мину по отношению к главному гостю – наверно, по чисто тактическим соображениям. Я предпочитал помалкивать. Десять лет я председательствовал в художественном объединении Местер-Улофсгорден. И там часто слышал, как Свен Ханссон с огромным энтузиазмом рассуждает о

> блестящих работах Ингмара, но в ту пору до них было еще далеко. Н-да, так вот насчет И. Б. Одет он был, мягко говоря, скверно, одежда грязная, потрепанная, вдобавок чернота под ногтями. Громким голосом он верховодил в разговоре о “Бешенстве” [телефильм Бергмана по сценарию Хедберга, который демонстрировался в ноябре 1958 года, а также театральные постановки на разных сценах. – *Авт.]* и о себе самом, причем безудержно хвастался. Все это было весьма утомительно.

Но Бергман не хотел целиком и полностью разменивать себя на компромиссы. Одна из серьезных стычек между ним и Кэби Ларетай произошла из-за берета и кожаной куртки, пожалуй главной внешней его приметы. Она не могла понять, как такая изношенная и грязная вещь может означать для него защищенность, и отказывалась обнимать его, когда на нем была эта куртка. В куртке заключалось его прошлое, и она смотрела на нее с чем-то вроде ревности. “Куртка говорила о его неспособности к изменению и о том, что он по-прежнему хотел быть мальчишкой”, – сказала Ларетай в одном из интервью “Свенска дагбладет”. И берет, его тоже надо ликвидировать. Бергман пошел на уступку – с беретом он расстанется, но, черт побери, не с курткой! И не со старым “вольво”. Это уже предел.

Однако речь, конечно, шла о внешних знаках чего-то более глубокого, не действовавшего между ними. Их соединила общая любовь к искусствам – его театру и ее музыке. Но, выражая одобрение музыкальному произведению или театральной пьесе, они все же не понимали друг друга. То, что нравилось Бергману, не нравилось Ларетай, и наоборот. Или вилла в Юрсхольме. Она стала крепостью, недоставало разве только рва. Привычка Ларетай приглашать домой родных, семью, друзей и коллег шла вразрез с бергмановским желанием, чтобы его оставили в покое.

Вообще буржуазная жизнь в фешенебельном стокгольмском предместье была очередной кулисой, временным отступлением от богемного бытия, к которому он привык, так он пишет в “Волшебном фонаре”:

> Все это было новым героическим спектаклем, быстро превратившимся в новую героическую катастрофу. Двое людей в погоне за идентичностью и защищенностью сочиняют друг другу роли и принимают их в стремлении угодить друг другу. Маски быстро трескаются и падают наземь при первом же ненастье. Ни у одного не хватает терпения рассмотреть лицо другого. Оба кричат, пряча глаза: посмотри на меня, посмотри! – но не смотрят.

> Усилия бесплодны. Два одиночества – факт, неудача – непризнанная реальность. Пианистка уезжает в турне, режиссер режиссирует, а ребенка доверяют компетентной воспитательнице. Отсюда возникает образ стабильного брака с успешными контрагентами. Декор преисполнен тонкого вкуса, освещение установлено прекрасно.

Все это весьма напоминает борьбу Карин Бергман за соответствие не только представлению окружающих об идеальном браке, но и своему собственному.

Теперь, когда в принципе все кончилось, новость о разводе разлетелась по стране в газетных анонсах. Пресса буквально осаждала обоих. Ведь это недюжинный развод, самые знаменитые люди в Швеции, каждый в своей области. Заголовки ускорили процесс. Бергман обвинял жену, что она открыла перед прессой их личную жизнь, а Ларетай мучила тенденциозность, с какой газеты трактовали ее высказывания. Обязательное посредничество между супругами, как обычно, ничего не дало, и бракоразводные документы были подписаны. Через два года они официально развелись.

Одновременно еженедельники начали копаться в новом романе – между Ингмаром Бергманом и Лив Ульман. Впервые они столкнулись на углу улицы, когда Ульман приехала в Стокгольм и прогуливалась со своей подругой Биби Андерссон. Прежде всего он подумал, что напишет роль для этой норвежки. Немногим позже он увидел фотографии обеих женщин: они сидели на солнце у стены какого-то дома. Сделал снимки добрый друг Стуре Хеландер, женатый на Гуннель Линдблум, тоже постоянной актрисе Бергмана. Режиссера заворожило сходство между Ульман и Андерссон, и он решил, что обе они сыграют главные роли в драме о двух женщинах, которые настолько похожи, что теряют друг в друге собственную идентичность.

Эта интрига Бергману, видимо, очень нравилась. Он закончил роман с Биби Андерссон, чтобы жениться на Кэби Ларетай, и оставил Ларетай ради Ульман. А теперь займет Андерссон и Ульман в своем следующем фильме. Существует киноэпизод с пресс-конференции перед началом съемок “Персоны”. Совершенно довольный Бергман, а по бокам две его любовницы, прежняя и новая. Говорит он, женщины молчат. Их присутствие – декорация. Все должны видеть, как они похожи. И все видят.

Харри Шайну Бергман позднее скажет, как чудесно было иметь в павильоне Лив и Биби и “обращаться с ними как с любимыми рабынями, объяснять им, что надо делать, в надежде,

что его слова через них дойдут до мира”.

Уже во время съемок “Как в зеркале” Бергман влюбился в Форё. Действие фильма целиком разыгрывается на этом скудном и суровом острове к северу от Готланда, и там нашлось все, чего он желал, сам о том не зная. Даларна, с рекой, холмами, лесами и пустошами, с детства жила у него в крови. Но Форё вмиг стал для него вожделенным, и, в точности как бывало с женщинами, он завладел предметом своей пылкой страсти. Летом 1965 года, вернувшись на остров снимать “Персону”, Бергман лишь укрепился в своем первом впечатлении. Здесь он нашел свой ландшафт: формы, пропорции, краски, горизонт, звуки, тишину, свет. Здесь мог дать выход ярости, мог кричать. “Чайка свободно взмывает ввысь. В театре это станет катастрофой”, – пишет он в “Волшебном фонаре”. На Форё он мог уединиться, наслаждаясь добровольным одиночеством, когда заблагорассудится. Мог читать, размышлять, очищать душу.

Потом он и Лив Ульман влюбились друг в друга, что еще углубило его чувства к этому острову. Разговаривая по телефону с матерью, он казался счастливым и увлеченным работой, что, пожалуй, не удивительно. Он опять нашел новое вдохновение в энергии влюбленности.

Ситуация сложилась пикантная, поскольку давняя любовница Бергмана, Биби Андерссон, играла в этой драме о близнецах вторую главную роль. Андерссон, уже знакомая с обстотельствами, догадывалась, к чему все идет, и пыталась предостеречь подругу. Она ведь знала бергмановский *modus operandi*[33] в любовных связях. Но Ульман была на седьмом небе и чувствовала себя как первая женщина на свете, влюбленная и любимая. Впервые в жизни она встретила кинорежиссера, который позволил ей раскрыть чувства и мысли, никому другому неведомые. Бергман слушал и понимал все, что она стремилась выразить. Однажды они сидели, глядя на спокойное, солнечное море, и Бергман сказал: “Сегодня ночью я видел сон. Что мы с тобой крепко, до боли связаны”.

Сильные слова, проникающие глубоко в любящее сердце, и Лив Ульман вряд ли могла знать, что это стандартный прием. Возможно, Бергман вправду испытывал такое чувство и в ту минуту, и в будущем, но взгляд на список его грехов показывает, что примерно то же самое он говорил и своим прежним женщинам. Если исходить из того, что Ульман запомнила правильно, реплика выглядит хорошо заученной. Однако она достигла намеченной цели, и Ульман безнадежно пропала. Так начались любовная история, которая продлиться всего несколько

лет, и дружба на всю жизнь.

Впрочем, в “Волшебном фонаре” он немногословен и посвящает роману с Ульман меньше десятка строк. Собственную книгу, “Изменения”, она написала десятью годами раньше, и диву даешься, насколько больше места Ульман отводит своим воспоминаниям о нем, чем он воспоминаниям о ней.

Ульман полагает, что они вошли в жизнь друг друга слишком рано – и слишком поздно. Она искала надежности и защиты и очень нуждалась в близком человеке. Он искал тепла и безыскусности материнских объятий. Вообще-то они бы могли удовольствоваться друг другом, ведь потребности были примерно одинаковы. Но жизнь на острове, где Бергман через год после съемок “Персоны” построил дом, вскоре прославившийся на весь мир, стала для Ульман тюремным заключением, там она изведала страшную бергмановскую ревность, с которой рано или поздно сталкивались все его женщины. Описывая тогдашние события, она использовала такие выражения, как “наш ад, наша драма”. На двери его кабинета они начертили несколько символов – сердце, крест, слезы, черные кольца, – отражавшие их отношение друг к другу. Вдобавок Бергман изобразил на двери что-то вроде календаря. Некоторые дни были красными, некоторые – черными, некоторые отмечены жуткими молниями на горизонте, а вокруг хоровод из давних чертенят.

Ульман быстро поняла, что должна приспосабливаться к его потребностям в покое и тишине. Когда ему не спалось, она лежала рядом в постели и не смела спросить, о чем он думает, опасаясь, что, возможно, не является естественной частью его вселенной, его острова.

В августе 1966 года родилась их дочь Линн. Длинный репортаж в “Векку-Ревюн” от декабря следующего года рисует как будто бы полное семейное счастье на суровом острове: “Эксклюзивное интервью Лив Ульман о карьере, будущем, частной жизни и дочурке Линн”. Фотографировал опять-таки Леннарт Нильссон, на сей раз снимки были цветные, а не черно-белые, как в Даларне, где он снимал Бергмана и Ларетай. Репортер, Бритт Хамди, записала, что Ульман и Бергман оставили позади целый ряд тяжелых событий, “которых посторонним касаться не стоит. Теперь, как видят все и подтверждают они сами, у них необычайно добрые отношения”.

Когда приехал погостить Вильгот Шёман, Лив Ульман “слабым голосом” сообщила, что Бергман сказал о дочери Линн: “По словам Ингмара, он впервые чувствует себя отцом”. Шёман лишь отметил про себя, что именно это пятнадцать лет назад говорила ему Гюн Грут о сыне, Лилль-Ингмаре.

Ульман приготовила спагетти под мясным соусом, за едой они пили вино. Дочка Линн, как показалось Шёману, существовала где-то в тени. Ульман не очень-то занималась ею. Бергман говорил о дочери примерно так же, как о сыне Даниеле, которого имел с Кэби Ларетай, – он, мол, очень счастлив и охотно играет с ребенком.

Что-то в этих комментариях о ребенке и отцовской роли зацепило Шёмана. Слишком уж часто повторялись одни и те же фразы, возможно означавшие что-то большое и важное, а возможно, и нет. Возможно, это была просто поза.

Лив Ульман пишет, что пыталась полюбить Форё так же, как его любил Ингмар Бергман. И, вероятно, уже в этом коренилась причина неудачи. Бергман влюбился в Форё сразу, инстинктивно, Ульман же делала над собой усилие. И когда родилась дочь, она поняла, что они останутся вдвоем. Отец, конечно, будет поблизости, но отнюдь не с ними. В “Изменениях” она пишет:

> В одиночестве на острове я частенько бывала нервной и задерганной матерью. Моя жизнь с ребенком зависела от обстоятельств, в каких находилась я сама. А они не всегда были благоприятны. Порой я срывала на дочке свое разочарование. Случались дни, полные чувства вины, когда я ковриком стелилась перед ними обоими. Перед ним, что сидел один в кабинете и желал безраздельно владеть мной. И перед ней, что едва выучилась ходить и плачем призывала меня с другого конца дома. Я металась от одного к другой, вечно с нечистой совестью. И никогда не умела дать то, что хотела получить.

Ульман и Бергмана объединяло еще одно – темперамент. Никто не злился так, как он, пишет она, “разве только я”. Однажды он до того напугал ее, что она заперлась в туалете, а Бергман стоял за дверью, молотил по ней ногой и пробил насквозь, причем одна его тапка угодила в унитаз. Сцена курьезная, но ужасно похожая на эпизод из “Сияния”, где герой Джека Николсона, Джек Торранс, врубается с топором в ванную, чтобы убить жену. В другой раз он так сильно толкнул Ульман, что она отлетела на другой конец гостиничного номера.

В итоге все кончилось. В них обоих выросло отвращение, пишет Ульман, “бессловесное и совершенно неожиданное”. Во время поездки в Рим она написала ему письмо и сообщила, что все кончено.

Выход из отношений с Лив Ульман следовал той же модели, что и расставание с Ларетай, – в обрамлении газетных анонсов и

крикливых заголовков. “Его новая жизнь без Лив” конечно же замечательный заголовок. Жадные до скандалов представители бульварной прессы не давали Ульман проходу, названивали ей по телефону и нагло предъявляли ультиматум – или она дает интервью, или они все равно напечатают статью. Одному понадобился телефон новой возлюбленной Бергмана, и он спрашивал, не знает ли его Ульман. Она искала поддержки у подруг, в том числе у Биби Андерссон, которая пятью годами раньше тщетно пыталась предостеречь ее от последствий связи с Бергманом.

Но прежде чем расстаться, Ульман и Бергман договорились, что на его похороны она придет в длинном черном платье. Если Бергман тогда будет женат на другой, она сядет в церкви на заднюю скамью, во время пасторской речи потеряет сознание, и под звуки псалма ее вынесут на улицу.

Это обещание она не сдержала. Пришла, конечно, в черном, но не в платье, а в длинной кофте и брюках. А поскольку Бергман умер вдовцом, Ульман не понадобилось ни скромно сидеть на задней скамье, ни падать в обморок. Напротив, она могла спокойно общаться и с Бергманами, и с четвертой женой режиссера, Кэби Ларетай, которую он бросил ради нее, и с прежними возлюбленными Бергмана Харриет Андерссон и Биби Андерссон.

Ментор и цензор

Вильгот Шёман был учеником Ингмара Бергмана. Сидел у ног режиссера и алчно подбирал крошки со стола корифея. Жаждал одобрения мастера и одно время чуть ли не одержимо следил за каждым его шагом.

Его восхищение режиссером не осталось безрезультатным. Первая большая документация по одной из работ Бергмана вышла в 1963 году под названием “Л-136. Дневник с Ингмаром Бергманом”. Шёман наблюдает за съемками “Причастия” с самого близкого расстояния, какое только возможно. Присутствует не только на съемках, но и на всех предварительных, промежуточных и последующих обсуждениях. Вооружившись блокнотом, ручкой и диктофоном, он сумел собрать уникальный материал – режиссер свободно говорил, а Шёман все записывал и зафиксировал огромное количество комментариев, которые Бергман ронял о чем угодно, но в первую очередь о себе, о своих родителях, женщинах, коллегах и сотрудниках.

О браке с Ларетай, на которой в ту пору еще был женат, Бергман рассказал, что они мало-помалу обнаружили, что оба – люди донельзя ущербные: “Пожалуй, я в большей степени. Для нее период скитаний был уже позади. А мне, мне казалось, будто я умираю”… Начиналось все очень романтично, однако романтичность вылилась в нечто другое, “куда более реальное”.

Своего отца, пастора, он называл “старикан”, правда, с нежностью в голосе. “Старикан прочел сценарий трижды, можете себе представить?” – напрямик спросил он своих сотрудников и добавил, что Эрика Бергмана интеллектуалом не назовешь, ведь он все воспринимал скорее эмоционально. Выясняется, что Бергман, появляясь на съемках, шел быстрым шагом и топал ногами, как ребенок, который требует всеобщего незамедлительного внимания.

Читатель узнаёт, что Бергман ел шоколад “Дросте” и гётеборгское “желудочное” печенье, от своих критиков отделывался заявлением, что они даже не читали лютеровского малого катехизиса, не одобрял высказывание Харриет Андерссон, что она не какая-то там глубокомысленная девчонка (“Так она говорить не должна”), но все же считал, что ее ответы интервьюеру не могут повредить его фильму.

Еще читатель узнаёт, что одним из любимых словечек Бергмана, в разговорах и в режиссуре, было “не так ли?”. “Употребляя его, он не ждет ответа. Это просто наводящее слово. Электрифицирующее. Горячая просьба к собеседнику пойти ему

навстречу, понять. Если собеседник слушает и кивает – контакт замкнут, ток пошел".

Выясняется, что на кого-то он обозлился, а этот кто-то обиделся и в результате Бергман был вынужден скрывать свою агрессивность и оттого опять-таки обозлился на этого кого-то. Шёман очень наглядно обнажает особые диктаторские приемы Бергмана, описывая нижеследующий инцидент:

> Он, Ингмар Бергман, обнаруживает ошибку; виноватый просит прощения – и извинение приводит к унылому и раздраженному спору о том, как, черт побери, упомянутая ошибка вообще могла возникнуть. Поэтому обо всех промашках надо сообщать заранее, прежде чем Бергман сам их заметит. Такая предпосылка может вызвать преждевременные сообщения об ошибках вроде нынешнего – от страха. Собственная Ингмарова проблема в подобных обстоятельствах, по-моему, состоит вот в чем: его отягощает огромное недоверие. В рабочих конфликтах такого рода он действует зачастую слишком поспешно, на пределе, пробуждающем это недоверие. Контрагент слаб и неуверен, мямлит, боится его косого, бдительного взгляда, страх же действует на Ингмара в точности как признание вины, словно совесть у человека вправду нечиста и ему есть что скрывать, – и Ингмара мгновенно захлестывает недоверие.

Шёман, конечно, указывает, что сам Бергман терпеть не мог подобные ситуации, но, если недоверчивость пробуждалась, он уже не мог ее "усыпить".

Читатель узнаёт, что после тяжелого съемочного дня Бергман тосковал по телевизору и что он только что посмотрел американскую программу об Анголе, которую нашел скучной и пропагандистской: "Черные выскочили из джунглей, принялись жать американцам руки и кричать *FREEDOM, FREEDOM*[34]. Ой-ой-ой".

Узнаёт, что, если бы "в раннем детстве с ним не носились как с писаной торбой", он бы лучше переносил одиночество. Вдобавок ему казалось, что все женщины метят в мученицы, а самое интересное, пожалуй, его взгляд на верность: "В этом пункте я похож на женщину: чтобы загореться, мне необходима душевная составляющая, необходима возможность душевного обмена с партнером. Таких, с кем меня соединяло что-то иное, можно перечесть по пальцам одной руки. И в глубине души я верный, хотя никто этому не поверит. Собственно говоря, верность – моя суть: всем, к кому я так или иначе привязан, я храню верность".

Возникает вопрос, до какой степени он сам верил в то, что говорил, и как все разные его женщины, читая книгу, реагировали на эти странные рассуждения. Кто попадал в какую категорию? Кому из них – Марианне фон Шанц, Карин Ланнбю, Эльсе Фишер, Эллен Лундстрём, Гюн Грут, Харриет Андерссон, Биби Андерссон, Кэби Ларетай, Лив Ульман, Ингрид фон Розен – он хранил верность по той единственной причине, что так или иначе к ней привязался?

Присутствие Вильгота Шёмана на съемках “Причастия” предполагало взаимное доверие. Чтобы иметь возможность свободно передвигаться и вести запись любых разговоров, он заверил ключевых персон, что даст им прочитать рукопись, прежде чем она уйдет в печать. Большинство сделали лишь замечания по поводу мелочей, которые Шёман мог легко поправить в корректуре.

В одном из несколько щекотливых разделов речь шла о том, как поступил Бергман, когда Гуннара Бьёрнстранда сразила во время съемок тяжелая мигрень. Вместо того чтобы отложить съемку, актер договорился с режиссером отыграть сцену, когда боль была сильнее всего. Добавочное напряжение на лице и мука в глазах обеспечат отличные крупные планы. А Бергману вовсе не хотелось, чтобы больного и несчастного пастора играл человек, выглядевший здоровым, бодрым и загорелым. Однако, оказывается, за этой внешне тривиальной ситуацией таилась маленькая драма, наглядный пример, что ради создания своих шедевров Бергман не останавливался перед манипулированием. Друг Бергмана, врач Стуре Хеландер, обследовал Бьёрнстранда, поставил диагноз и назначил режим: полный покой и тишина по окончании рабочего дня, ни капли спиртного, ни капли пива, не полуночничать и никаких сексуальных контактов с женой, Лилли Бьёрнстранд. В противном случае есть риск получить инсульт и провести остаток жизни в инвалидном кресле.

По словам Шёмана, актер заподозрил сговор – в смысле, что Бергман убедил Хеландера поставить более серьезный диагноз, чем на самом деле, чтобы привести его, Бьёрнстранда, в нужное для роли настроение. Актер был здорово напуган. Плохо спал и мучился страхом смерти. Но когда обратился к другому врачу, ему сразу же сказали, что показатели артериального давления значительно снизились. Поэтому можно уменьшить дозы лекарств и постепенно отказаться от назначенных таблеток.

Писал Вильгот Шёман и о том, как Бергман смотрел на актеров. Когда-то Шёман сказал итальянскому журналисту, что этот шведский режиссер превращает актеров в “подопытных

кроликов", и Бергман не возражал против такой оценки. Кроме того, он имел тенденцию относиться к актерам по-опекунски. "Те, кого это сильно задевает, могут испытывать затруднения", – замечает в книге режиссер и рассказывает, что пользовался так называемой режиссерской позицией, "когда сидишь внизу, в темном партере, за режиссерским столом и смотришь на актеров. Некрасивое зрелище – спать там, запрокинув голову. А вот когда наклоняешь голову, они думают, ты читаешь сценарий".

Шёман также писал, что в своих снах Бергман путал жену Кэби Ларетай и мать Карин и как сцены в пасторском доме и на вилле в Юрсхольме сливались в одно.

Прочитав рукопись, Бергман написал автору письмо:

Дорогой Вильгот! Лучше напишу тебе сразу, пока я еще так взволнован, потрясен и доволен. Если постараться не болтать ерунду и не прятаться за кулисами гордыни, для меня это полезный урок. Прежде всего я имею в виду то, как я обращался с Гуннаром Бьёрнстрандом. Мне вправду стыдно, и по заслугам, и, разумеется, этот эпизод должен остаться в книге. Но каким же я был идиотом, что ни черта, ни черта не понимал. Это злит меня и по-человечески, и профессионально. Но я, пожалуй, попробую все уладить – если получится. Бедняга Гуннар. Ужасно жалко его. И ведь я ничего не замечал. Не знаю, помогло бы или нет, если б ты мне что-нибудь сказал, все-таки вряд ли. […] В книге есть абзац насчет моего презрения к актерам. Это очень щекотливый момент, с тех пор как я сделался шефом Драматического театра и постоянно твержу об актерском благоденствии и моральных правах. Нельзя ли снять этот абзац или смягчить? Иначе мне придется трудновато, ведь нет уверенности, что, когда актеры становятся подозрительными и кислыми, достаточно сказать "Так было тогда!". Меня же считают ДРУГОМ АКТЕРОВ. И в принципе это верно. Или? Пожалуй, ты подходишь к правде настолько близко, насколько вообще возможно в этой книге. Со своей стороны я ничего возразить не могу, хотя краснею, когда ты рассказываешь о моих снах про маму и Кэби. Они здесь вполне на месте, и все же неловко видеть это написанным черным по белому. […] Кстати, как ты себя чувствуешь? Мы по-прежнему любим друг друга? Во всяком случае, я тебя люблю, потому что нуждаюсь в тебе почти что как в сексе. Или ты теперь вроде как покончил со мной? Я бы не удивился. Милый ты мой. Не бойся сказать прямо, если так. Ты все равно будешь ставить "Бодиль" в Драматическом.

Однако Шёман боялся. Боялся ссориться с людьми, но больше всего боялся риска помешать своему ментору Ингмару Бергману или рассердить его. Почтительное отношение к нему сложилось у

Шёмана, когда он в семнадцать лет попросил у Бергмана отзыв на свою первую драму и они встретились в одном из стокгольмских кафе. “По какой именно причине он имел такой авторитет, что я сразу же поверил всему, что он говорил? Тот час за кофе в “Норме” стал для меня вехой на годы вперед – укрепил мою веру в себя и связал меня с Бергманом дружеской зависимостью, которая с тех пор и сохранялась. Догадываюсь, что многие из его сотрудников привязаны к нему подобным образом: он помог им обрести веру в себя. Тем самым роли были распределены. Я нуждался в авторитете и нашел такого человека – так начались типичные ученические шатания между горячим восхищением и боязливой критикой”.

В конце 50-х годов Шёман написал первый сценарий полнометражного фильма под названием “Игра на воде” и послал Бергману на оценку и решение – вдруг Бергман вздумает снять по нему фильм? Ответ заставил себя ждать. Долго.

Когда он, в полной фрустрации от отсутствия бергмановского ответа, в конце концов сел за пишмашинку, чтобы написать ему письмо, то написал не сразу, а лишь после ряда попыток. Снова и снова делал наброски, подбирал прилагательные, взвешивал каждое слово, добавлял и вычеркивал.

Один из набросков он начал с полной исповеди:

> Ингмар, я ужасно боюсь поссориться с людьми, из сил выбился, стараясь быть учтивым и вызывать симпатию, и уже потому боюсь писать это письмо. К тому же ты столько сделал для меня, в самых разных ситуациях, а главное, нашими разговорами на протяжении лет ты научил меня очень многому о театре и кино. Технические приемы, серьезность, уважение. И как раз теперь я жутко разочарован и совершенно не могу высказать это, в устном виде.

И дальше:

> Ты ободряешь других, говоришь, что нужны оригинальные сценарии. А когда я три года выкладываюсь со сценарием и мне позарез необходимо, чтобы его прочитали, ты не находишь на это времени. Прошло ведь уже 4 месяца.

Вероятно, он понимал, что зашел слишком далеко, и потому смягчил тон. Знал, что должен держать равновесие между полной честностью и стратегической осторожностью, когда писал самому могущественному человеку в шведской кинематографии. В

результате получилось вот что:

> Ингмар!
>
> Я никак не могу свести здесь концы с концами! С одной стороны, ты усиленно поощрял меня работать с кино – и в этой отрасли так поступаешь один ты, притом щедро, с увлечением! С другой стороны, когда я заканчиваю сценарий, над которым работал три года, он лежит у тебя нечитаный! Предчувствуешь, что “Игра на воде” плохой сценарий? Или неохоту вызвало что-то другое? Я могу понять и отнестись к этому с уважением – за книги и сценарии надо браться с удовольствием, – но в таком случае лучше бы мне получить свою писанину назад, чтобы я попробовал найти другой выход. Ты хорошо меня изучил и, полагаю, знаешь мой характер: мне ведь намного, намного легче смолчать, сделать хорошую мину и скрыть разочарование. Вдобавок я еще и боюсь афишировать свое разочарование именно перед тобой, поскольку ты очень много сделал для меня за эти годы. Без наших разговоров я был бы куда беднее. Ты единственный человек, на которого можно опереться во всей киноиндустрии. “СФ” – это ты, и никто другой: твое слово решает там все. Я это знаю – и ты знаешь, что я знаю, – и будь я разумным, хитрым и невзыскательным, я бы не стал с тобой ссориться, тем более сейчас, когда ты можешь дать мне шанс сделать то, чего я так жажду, – снять пробный фильм! Ради этого я тебе и пишу, я же только выиграю, если успокоюсь и наберусь терпения. Но я не могу и не хочу!
>
> Твой друг Вильгот.

Шёман не впервые посылал сценарий Бергману на просмотр. Еще в 40-е годы он неоднократно просил у друга благословения. И уже тогда ему приходилось выпрашивать отзыв: “Я знаю, что ты в замоте и работы у тебя выше головы, но тем не менее: ты успел просмотреть “Святой лик”?” Когда отзыв наконец пришел, он был ловко упакован и начинался с заявления, что Бергман – в ту пору руководитель театра в Хельсингборге, – несмотря на “ужасно суматошный рабочий день”, прочитал шёмановский сценарий три раза.

> Ты по-прежнему чертовски хороший драматург, и я жду от тебя значительных произведений, только вот все дается тебе слишком уж легко. Помни, написание пьесы, рождение драмы медленно, но верно разрушает кору

головного мозга. Иначе ничего хорошего не получается. Обнаружив это, я перестал писать пьесы, потому что, когда руководишь театром, кору мозга надо беречь. Думаю, тебе хватит сил и дерзости не сдаваться, не останавливаться на “полуфабрикатах”, как сейчас. Думаю, в один прекрасный день ты сам поймешь, что настоящую драму не пишут, ее вырывают из себя с риском истечь кровью, опозориться и проч. Когда ты придешь ко мне с первой пьесой, которая достойна твоего дарования и которая покажет мне, что ты готов пожертвовать деланой интроспекцией ради безоговорочной правды и неотступной потребности что-то сказать, тогда я обещаю, что, где бы я ни был и какова бы ни была ситуация, я немедля поставлю твою пьесу и сделаю это с уверенностью, что работаю ради нового, настоящего, хорошего драматурга, уникального явления в нашей стране. Добрый совет: не посылай “Святой лик” в театры. Пожалуйста, пиши мне, если в связи с вышеизложенным и вообще хочешь что-либо сказать.

Твой преданный друг, Ингмар Б-н.

Замечательный отказ, и можно себе представить, как он подействовал на робкого ученика.

Поэтому результат письма насчет сценария “Игры на воде” наверняка изумил Шёмана. Бергман не только дал добро, но поручил своему другу Ларсу-Эрику Челльгрену режиссуру, а камеру дал в руки своему оператору Гуннару Фишеру. В ролях выступили сплошь бергмановские актеры: Май Зеттерлинг, Альф Челлин, Биргер Мальмстен, Инга Ландгре, Гуннар Шёберг.

Пресса приняла картину неоднозначно. Критика сочла ее амбициозной, относящейся к своим персонажам всерьез, однако по-настоящему не реализовавшей заявленных амбиций. Сценарий Шёмана многие рецензенты полагали слабым звеном фильма. Тем не менее “Игра на радуге” (в итоге фильм получил именно такое название) стала началом его карьеры кинорежиссера и еще увеличила и без того длинный список его благодарностей Бергману.

Сотрудничество их продолжилось. Они смотрели фильмы друг друга и читали сценарии. Затем, по словам Бергмана, между ними возникло слишком много сложностей, “поэтому пришлось эту общность расторгнуть”. Шёмана как бергмановского дискуссионного партнера сменил другой молодой режиссер.

Челль Греде стал новым адептом Бергмана, и теперь Бергман просил его смотреть свои фильмы. Греде, как считал Бергман, был “парнем остроумным, тонким и восприимчивым, с необычайно острыми, ясными и четкими суждениями”.

Шёман, впрочем, его не отпустил. Вернулся к Бергману в своих мемуарах, “Мой именной указатель”, где подробно описывает дружбу с Бергманом. Опубликовал он и нижеследующие заметки, которые свидетельствуют о его душевном состоянии непосредственно после их первой встречи в кафе в начале 40-х годов; Бергман здесь предстает прямо как этакий мессия:

> Если некто говорит: ты талантлив, он всаживает в плоть крючок. Незримый крючок. Внезапно – выбирает тебя! Показывает на тебя пальцем! Видит твое своеобразие! Устанавливает твою ценность!.. Ты прицеплен к нему на всю жизнь. Однако. Это не может быть КТО УГОДНО. Сперва тебе необходимо возвысить того, кто тебя выбирает. Надо вылизать себя, как вылизывает себя кошка. Вылакать молоко, целую миску, от ненасытного голода.

Шёман выставляет себя до унижения преданным псом, который по пятам следует за хозяином, виляет хвостом в ответ на похвалу и пристыженно сидит в углу при малейшем укоре. Весьма любопытно, как деспотизм по отношению к более слабым личностям сочетался у Бергмана с покорностью перед теми, кем он восхищался. Тех, кто ниже, он бил, к тем, кто выше, подлизывался. Когда в 1951 году знаменитый Улоф Муландер поставил в радиотеатре его пьесу “Город”, он написал ему письмо, и довольно забавно видеть, как обычно высокомерный Бергман раболепствует перед своим учителем, легендарным театральным режиссером и давним шефом Драматического театра, снискавшим дурную славу тем, что мучил своих актеров и в каждом спектакле выбирал себе жертву, которая не могла ему противостоять. По словам Херберта Гревениуса, театрального критика, драматурга и друга Бергмана, увешанный орденами Муландер был садистом и тираном, и, вероятно, восхищение Бергмана вызывал не только его режиссерский талант.

В письме Муландеру от июля 1951-го Бергман титуловал его “доктор Муландер”, писал, что стыдится, что должен был написать раньше, и благодарил за то, что Муландер помог продвижению его радиопьесы “Город”. И продолжал так:

> Хотя мне не довелось работать с Вами, Вы были

моим учителем все годы начиная с “Игры снов”, драм цикла “Дамаск” и “Электры” (я слегка робею, думая о том, какие великие произведения Вы ставили) и кончая “Сонатой призраков” и “Коктейлем”. По натуре я не слишком восторжен, но тем не менее попробовал вспомнить, что происходит в Ваших постановках, что именно я в них люблю. Затем Ваша лекция, когда я за считаные часы узнал о театре намного больше, нежели за все годы, что я им занимался (это вовсе не льстивая чепуха, в тот вечер я был счастлив). Не знаю, можно ли вот так письменно благодарить человека за то, что он оказал на тебя решительное влияние в профессии и даже в жизни. Возможно, это звучит наивно и высокопарно. Да, но в таком случае, наверно, потому, что порой трудно подобрать нужные слова, даже если в обычных ситуациях не испытываешь подобных затруднений. Херберт не велел мне писать. Я сказал ему, что мне трудно, и он понял, что я не хочу писать дурацкие ходульные фразы. Куда легче высказать, что думаешь, когда находишься за городом и успеваешь как следует поразмыслить. Хотя все равно вышло довольно убого. Мне бы хотелось просить Вас, чтобы Вы прочитали между строк этого письма максимум восхищения и почтительной преданности.

Вторым драматургом, которым Ингмар Бергман восхищался, был Вильхельм Муберг. Великий писатель, автор эпохальных романов “Раскены”, “Ночной гонец”, “Солдат со сломанным ружьем”, “Эмигранты” и “Поселенцы”, он сыграл важную роль в становлении Драматической студии, где Бергман поставил три пьесы. Возглавляя Хельсингборгский театр, он отверг драму Муберга “Наш нерожденный сын”, поскольку уже поставил пьесу такого типа, “Якобовски и полковник”. Однако десятью годами позже он поставил премьеру мубергoвской “Лии и Рахили” в Городском театре Мальмё. А когда на посту руководителя Драматического театра вновь завязал контакт с Мубергом, результатом стала долгая переписка. Бергман обещал ставить его пьесы, но до этого так и не дошло, а его отговорки носят прямо-таки фарсовый характер.

29 марта 1965 года:

Дорогой друг! Простите, что я не давал о себе знать! Но этот год вообще выдался кошмарный, и кульминацией стало то, что после зловредной вирусной инфекции я слег на четыре месяца. Ваше письмо

порадовало меня, и я жажду прочитать эту новую пьесу.

7 апреля:

> Дорогой мой! Огромное спасибо за ваше письмо, доставившее мне несказанную радость! Можете прислать пьесу в Драматический театр. Мой секретарь, замечательная госпожа Вирстрём, набросится на конверт и спешно доставит его к моему одру. Надежнее не бывает.

Позднее в том же месяце Муберг, находясь в швейцарской Асконе, получил три телеграммы от Бергмана – кое-где с орфографическими ошибками.

20 апреля:

> ДОРОГОЙ мой я получил пьесу сегодня ВО ВТОРНИК И ПРОЧТУ И РЕШУ ТЧК ДАМ ЗНАТЬ КАК МОЖНО МКОРЕЕ = ПРЕДАННЫЙ ДРУГ ИНГМАР +

24 апреля:

> СЧАСТЛИВ И ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЗА ДРАМУ ТЧК ПОДРОБНОСТИ ПСИЬМОМ ПРЕДАННЫЙ ДРУГ = ИНГМАР +

10 мая:

> РУКОВОДИТЕЛЮ ТЕАТРА БЕРГМАНУ ОПЯТЬ СТАЛО ХУЖЕ ТЧК ОБЕЩАННОЕ ПИСЬМО ВИДИМО НЕМНОГО ЗАДЕРЖИТСЯ = МАРГО ВИРСТРЁМ СЕКРЕТАРЬ +

Когда Муберг вернулся в Швецию, Бергман продолжал извиняться.

21 мая 1965 года:

> Дорогой мой! Я всегда воспринимал это дело однозначно: мы сыграем вашу пьесу в весенний сезон 1966 года или как первый номер осенью 1966-го. […] Если с моим здоровьем все будет в порядке, я непременно поставлю ее сам. Она мне очень нравится, и я хочу повидаться с вами и потолковать о ней, когда вы вернетесь в Швецию. Условие прежнее: чтобы я стоял на ногах, а это бывает лишь спорадически. Но со мной все наладится!

13 августа:

Дорогой мой! Спасибо за письмо от 15 июля и простите, что я не ответил раньше! Но я сейчас занят съемками фильма [“Персоны”. – Авт.], и это отнимает у меня все пока что скудные силы. В понедельник тяжелый маховик приходит в движение, и я опять чувствую себя как машинист, который бежит впереди мчащегося под уклон товарного поезда и кладет рельсы. Одна из приятных для меня целей этой осени – ваша пьеса! Если ничто не помешает, рассчитываю на премьеру в середине марта.

20 сентября:

Дорогой Вильхельм! Спасибо за ваше милое письмо от 28/8! Я вернулся со съемок, которые до сегодняшнего дня поглощали меня целиком, и теперь, как только разделаюсь с самыми срочными административными задачами, возьмусь за новую версию вашей пьесы. Надеюсь, в ближайшем будущем мы встретимся и поговорим! Ваша уступчивость, по-моему, ободряет и согревает, и я в самом деле рад, что займусь вашей пьесой, хотя, конечно, и тревожусь, что не сумею сделать это как надо!

24 ноября:

Дорогой мой! Пожалуйста, простите, что я так долго молчал! Но в последнее время у меня было до ужаса много проблем, и весь мой гордый организационный план дважды рухнул и кучей кубиков валялся под моим рабочим столом. […] Вдобавок идет работа над Вайсом, так что я не успеваю поставить вашу пьесу в весеннем сезоне, потому что никак не успею сделать три постановки за один год, ведь к тому же еще есть и работа над снятым летом фильмом, которую надо завершить самое позднее в середине мая. Вот я и спрашиваю вас:

1) Если вы хотите, чтобы ваша пьеса непременно прошла в этом году, могу предоставить вам в качестве режиссера Ульфа Пальме. Он сейчас пользуется большим успехом и чрезвычайно чуток к принятой здесь драматике.

2) Если вы не слишком спешите, я поставлю пьесу сам, но позднее, в будущем сезоне, согласно нашей

договоренности.

Искренне надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к моим трудностям!

4 января 1966 года:

Дорогой Вильхельм, я сейчас болею гриппом и в пятницу начинаю репетировать Петера Вайса [“Дознание”. – *Авт.]*. Мы не будем играть “Женина мужа”. Буду рад повидаться через неделю-другую, когда с работой станет полегче.

4 августа:

Дорогой мой! Начинаю восстанавливать душевное здоровье после бурного года в Драматическом театре. Единственная оставшаяся травма – ужасное отвращение к театру. К Драматическому театру. Возможно, оно мало-помалу пройдет. Но пока у меня нет ни малейшего желания что-нибудь начинать. Далее, вы должны понять, что обещание я дал как шеф театра, чувствовавший обязательства перед шведской драматургией и главным ее представителем. Теперь я просто режиссер и сам себе хозяин, могу делать что хочу. Дорогой Вильхельм, не сердитесь на меня чересчур, а постарайтесь на минуточку понять всю широту моего теперешнего равнодушия к шведскому театру.

3 декабря 1969 года:

Дорогой Вильхельм. Я чувствую себя и творчески, и морально обязанным выполнить нашу договоренность насчет “Твоего срока на земле”. Единственное, что я сейчас не могу уточнить, это время постановки. С вашего позволения, вернусь к этому позднее.

Вильхельм Муберг пришел в ярость, когда Бергман сообщил, что не собирается ставить пьесу “Женин муж”. По словам Эрланда Юсефсона, Бергман порой пугался рассерженных людей, и страх подстегивал его креативность и фантазию. Вместо “Женина мужа” он, “пригнувшись за столом”, предложил Мубергу сделать инсценировку романа “Твой срок на земле”, которую он, Бергман, поставит. Идея была гениальная, пишет Эрланд Юсефсон в своей книге “Правдивые игры”, Муберг пришел в восторг и тотчас сел за работу.

Но затем Бергман решил оставить пост шефа Драматического театра, на смену ему придет его друг Юсефсон. Они встретились втроем в кабинете Бергмана, и там он сообщил еще одну печальную новость. Большая страсть, заявил он, полностью “выбила его из седла”, и он не сможет выполнить свое прежнее обещание, хотя ничего так не желает, как поставить “Твой срок на земле” (большой страстью, судя по датам, была, скорей всего, Ингрид фон Розен, но стопроцентной уверенности тут нет). Эрланд Юсефсон рассказывает, что произошло дальше:

> Муберг явился к шефу театра, как обычно, в невероятно мятом двубортном темном костюме в тонкую белую полоску и плохо повязанном галстуке, слушал внимательно, с душевным волнением и доверием. В какой-то мере он словно выражал благодарность одинокого человека за участие. Утешал Ингмара и ушел буквально завороженный.

Несмотря на последнее письмо Бергмана Вильхельму Мубергу от декабря 1969-го, где он заверял, что и творчески, и морально чувствует себя обязанным выполнить их договоренность, сотрудничества не получилось. Бергман потчевал писателя отсрочками и извинениями до самой его смерти. Вечером 8 августа 1973 года Муберг утопился в море напротив своего дома на Веддё в северной части стокгольмских шхер; по общепринятому мнению, он находился в глубокой депрессии, так как не мог уже писать на том уровне, какого требовал от себя самого. Иначе говоря, Бергман так и не выполнил свое обещание поставить “Твой срок на земле”, продолжающий муберговский цикл о шведских эмигрантах в Америку. Но Муберг сохранил его письма и телеграммы. Возможно, великий писатель, драматург и спорщик сберегал их для потомков, чтобы показать, что иной раз творилось в бергмановской вселенной.

В 1970 году вышла книга “Бергман о Бергмане”. Обстоятельства, связанные с работой над книгой и с ее изданием, кое-что говорят о славе и власти режиссера.

Требовалось не менее трех знаменитых интервьюеров. Все они работали редакторами в журнале “Чаплин”, который издавал Шведский институт кино. Юнас Сима, кроме того, сотрудничал в “Экспрессене” и занимался кинокритикой, как и Турстен Маннс. Стиг Бьёркман сам был кинорежиссером и дебютировал в 1968-м фильмом “Я люблю, ты любишь”, который получил приз от того самого журнала, где он работал редактором.

Через двадцать лет после публикации книги Юнас Сима

охарактеризует часы интервью как “сеансы с Мастером”. Все трое были хорошо начитаны, а к тому же пересмотрели те фильмы Бергмана, которые слегка поблекли в памяти. Держались вежливо до торжественности и на одной из фотографий, сделанной тогдашней звездой “Экспрессена” Яном Дельденом, сидят в ряд, втиснувшись на диван в бергмановском кабинете росундского киногородка, меж тем как сам режиссер удобно располагается в кресле.

В общей сложности получилось пятьдесят часов бесед обо всем, что так или иначе связано с фильмами Бергмана, и о многих более приватных вещах. Половина интервью записана на магнитофон “Награ”, взятый напрокат Симой.

Бергман не скупился на подробности, и книга местами даже занимательнее, чем его фильмы.

> В разговорах (и болтовне), в том числе и при включенном магнитофоне, Бергман без стеснения рассказывает о киношной жизни, о возникновении фильмов, о разочарованиях, стычках, огорчениях и восторгах. Одна из актрис (названная по имени) получает оплеуху, кого-то обзывают скотиной, кого-то – старым дураком. Кинорецензии и ежедневные обсуждения удостаиваются резких нападок, но музыка к фильмам, театр и литературные ссылки получают глубокие и интересные комментарии, —

писал Юнас Сима в статье в “Чаплине” в 1991 году.

Согласно договоренности, Бергману предоставили возможность убрать то, что он не хотел видеть в публикации. Многое из того, что он говорил, было напечатано, кое-что вырезано, причем самим Бергманом. Лассе Бергстрём из издательства “Нурштедт” пытался использовать свою издательскую власть. Как рассказывал Вильгот Шёман, Лассе Бергстрём сказал: “Ты понимаешь, Ингмар, что я имею полное право напечатать рукопись без купюр?” Бергман рассвирепел. Готов был разнести по кирпичику все издательство, если Бергстрём будет стоять на своем.

Схватку Бергман выиграл, и вряд ли это кого удивило. “Нурштедт” был его издательством, там он выпустил все свои книги, и “Волшебный фонарь” принесет издательству огромную прибыль. Надо быть дураком, чтобы ссориться с такой дойной коровой.

По воспоминаниям самого Лассе Бергстрёма, все происходило куда менее драматично.

> Короткий конфликт между Бергманом и мной случился из-за книги, полностью готовой к печати, с текстом и иллюстрациями. Совещание в “Нурштедт” – единственный случай, когда И. Б. пришел в издательство, – закончилось тем, что я обратил его внимание на то, что контракт заключен с тремя интервьюерами и я вправе осуществить выпуск готового материала, не учитывая весьма существенные бергмановские сокращения, однако пользоваться этим правом не собираюсь.

По подсчетам Юнаса Симы, книга была урезана примерно на четверть. Много лет спустя Вильгот Шёман получил доступ к экземпляру рукописи, где отмечены бергмановские сокращения, и конечно же сделал себе копию.

Что же именно из сказанного трем интервьюерам Бергман не хотел утверждать публично? Вот несколько примеров:

Об оккультном

Бергман говорит, что интересуется многими вещами, которые не имеют рационального объяснения. О сосущих кровь вампирах говорит, что для него это будничное явление. Демонов кругом предостаточно. Рассказывает, что в юрсхольмском домике, который он снимает у близкого друга, обитает привидение. Между ним и привидением нет согласия насчет того, надо ли держать дверь на кухню открытой или закрытой. Привидение ведет себя “чертовски шумно, но, когда я наверху, орудует на нижнем этаже”. Бергман считает, что некое отклонение, душевная болезнь или склонность к эпилепсии, делают человека крайне чувствительным и восприимчивым к энергиям за пределами нормального бытия.

О подборе актеров для его фильмов

Бергман признает, что оказывает “некоторое” влияние на этот процесс. Говорит, что “упорно пробивал”, чтобы роль Берит в “Портовом городе” сыграла Нина Кристина Ёнссон. “В “СФ” вопили как оглашенные из-за этого моего требования. Но у меня была поддержка в лице Карла-Андерса Дюмлинга [шеф “Свенск фильминдустри”. – *Авт.*]”.

Об унизительном отношении к уроженцам Балтии

Швеция, говорит Бергман, была первой страной, которая признала русскую оккупацию Эстонии. “Мы поспешно заверили Россию в своем уважении, а вот в Англии до сих пор есть

эстонское представительство". (Надо полагать, Бергман основывал это соображение на информации, полученной от экс-жены, Кэби Ларетай.)

О фильме "Урок любви"

В Харриет Андерссон он видел "злую девчонку", которая в "Вечере шутов" сыграла "секс-бомбу". Ивонна Ломбард – "маленькая бомба и колоссально рассеянная".

О "Вечере шутов'

"По моему замыслу, окружающий мир, то есть цирковая публика, смотрел на театральных актеров и цирковых артистов одинаково, видел в них паршивый сброд, но среди этого сброда существуют совершенно непреодолимые стены, и потому актеры полагают себя вправе унижать цирковых, которые, в отличие от театральных актеров, зачастую владеют своим ремеслом и в самом деле рискуют собой совершенно иначе, чем театральные актеры".

О неполучении должности в Драматическом театре в 1952 году

Бергман считал себя хорошим режиссером и, когда его отвергли, очень переживал. "Потом я прочитал в газете, что, когда шефом стал Гиров [Карл Рагнар. – *Авт.],* Бенгт Экерут [один из актеров Бергмана. – *Авт.*] получил ангажемент. Это я тоже воспринял как мучительное унижение".

Об успехе европейских режиссеров в Голливуде

Свое решение не делать ставку на карьеру в США Бергман объясняет тем, что для европейского режиссера вероятность добиться там успеха примерно такова же, как стать обладателем самого большого выигрыша в денежной лотерее. А ему не по вкусу терпеть унижения. Не хочет он слышать *Mister Bergman, your picture is marvellous, but…* [1] Европейцы, которые все-таки добились в США успеха, как, например, Билли Уайлдер, "сплошь евреи. В них есть совершенно особый интернационализм. Они способны перенимать обычаи страны, куда приезжают, в этом их огромная сила". [35]

О неком кинокритике

"У меня случился короткий приступ по-настоящему глубокой религиозной убежденности, и, когда [NN] скоропостижно скончался – известие об этом дошло до меня однажды летом на Турё, – я целый день бродил по пляжу, благодарил Бога и думал,

что теперь в шведской культурной жизни, а главное, вокруг кино воздух стал почище. Некоторых людей я терпеть не могу, и он был один из них. Когда он гладил меня по голове, мне было до ужаса противно, и я прикидывал, что в фильме сделал не так".

Об Исаке Борге из "Земляничной поляны"

По словам Бергмана, Борг, которого играл Виктор Шёстрём, имел кое-что общее и с его отцом, и с ним самим. "Факт тот, что отношение к отцу, совершенно заблокированное, совершенно неживое, натянутое и агрессивное, мало-помалу изменилось и перешло в дружбу, близость и прощение, как в "Земляничной поляне". Когда Бергман писал сценарий, он заметил, что у Исака Борга те же инициалы, что и у него. "Вот настолько ты защищен от понимания!"

О своей движущей силе

Он говорит, что "старый истерик Бергман" всю жизнь просыпался по утрам с одним-единственным желанием – забраться под одеяло и больше оттуда не вылезать. Из постели его выгоняли только смесь любопытства к тому, что в конце концов может принести этот день, и "железная самодисциплина, которую вколотили в меня родители".

О Карин Бергман

"Мама выглядела как маленькая еврейка, а родичи с материнской стороны – валлоны, и я предполагаю, что все мои артистические задатки, пожалуй, унаследовал от валлонов".

О семье

Бергман говорит, что никогда не изучал свой род, никогда этим не интересовался. "Я совершенно равнодушен к родне и чрезвычайно мало интересуюсь предками. Но само по себе, пожалуй, вполне естественно, что мы, шведы, германцы со всеми вытекающими отсюда последствиями".

О своей боязни птиц

"Птицы для меня всегда что-то демоническое, особенное и опасное. Я боюсь птиц и боялся их всегда. С самого детства".

Если бы Швецию оккупировала нацистская Германия

"Когда линия фронта проходила через артистическое фойе Гётеборгского городского театра, все знали, что в тот день, когда Швеция будет оккупирована, Турстен Хаммарен, то бишь директор, и Кнут Стрём, один из режиссеров, немедля отправятся

в концлагерь, тогда как другие – не будем указывать поименно – станут директорами Гётеборгского городского театра, и Государственной кинопалаты в Стокгольме, и прочих институций”.

К 1990 году, когда под названием “Образы” вышло продолжение книги интервью, в котором Бергмана интервьюировал его издатель Лассе Бергстрём, у режиссера было время подумать о своем участии в проекте трех редакторов. За двадцать минувших лет он пришел к выводу, что “Бергман о Бергмане” – книга “лживая”. Высказывался он не особенно искренне, во время интервью боялся и держался настороже. На самые непритязательные вопросы отвечал угодливо. Даже утверждал, что в конце 60-х был “сбит с ног” “новой, молодой эстетикой”. Он не понял тогда, что Сима, Бьёркман и Маннс реконструировали “динозавра с помощью самого Чудовища”. Да, их книга была попросту крайне скверной. Милостивое одобрение Бергмана снискали только “богатый выбор”, что бы он под этим ни подразумевал, и “изысканный монтаж снимков”.

Юнас Сима разозлился. Да, конечно, он не высказал этого напрямик, но в поразительной сдержанности ответной статьи в “Чаплине” угадывается злость, потребность хорошенько всыпать старикану с избирательной памятью. Бергман, как считал Сима, должен отвечать за содержание конечного продукта, ведь ему было позволено слегка повозиться с текстом по собственному усмотрению. “Последняя бергмановская версия нашего общего труда якобы возникла в скандале с издателем. Он ругался, грозил забрать книгу и – если не сделают по-его – “разнести издательство по кирпичику”!”

В заключение статьи Сима отметил, что “Нурштедт” не выпускал ни нового, ни карманного издания книги, несмотря на просьбы авторов. И вновь напрашивается вывод, что власть Бергмана – сперва его собственная, а затем душеприказчиков и семьи – была слишком велика, чтобы кто-либо мог бросить ей вызов. “Нурштедт” совершил бы серьезную ошибку, если бы переиздал книгу, которая у самого Бергмана вызывала отвращение. По личному мнению Юнаса Симы, Бергману хотелось трактовать собственные фильмы по-своему, притом так, чтобы его не перебивали и не раздражали вопросами, вдобавок новое издание книги “Бергман о Бергмане” составило бы конкуренцию его собственной книге “Образы”. И Лассе Бергстрём подтверждает, что повторных изданий не желал именно Бергман.

В 2008 году, через год после смерти Бергмана, одно из шведских издательств, выпускающих аудиокниги, хотело

выпустить запись интервью – в опубликованной редакции, – но проект был остановлен. Линн Ульман, представительница наследников по литературным вопросам, сочла, что такая публикация противоречит отношению отца к книге “Бергман о Бергмане”. “При жизни отец, бесспорно, полагал, что материал, составляющий основу книги, не дает удовлетворительного представления о его мыслях о кино и творчестве”, – сказала она “Дагенс нюхетер”.

Записанные интервью существуют на старых классических кассетах и, как говорят, отличаются высоким качеством. Хранятся они у Юнаса Симы. Какова будет их судьба, неясно. Имеются оправданные опасения, что может случиться с теми, кто возражает Ингмару Бергману, даже после его смерти.

Дорога домой

Часть 1. Граф и графиня

Граф Ян-Карл фон Розен был исполнительным директором станкостроительной компании “Карлебу”, основанной в 1927 году даларнцем Селимом Карлебу. Фирма продавала станки и инструменты, разрабатывала и внедряла в промышленности новые высокопроизводительные методы. Выпущенный в 1936 году справочник Карлебу по технике литья считался в отрасли прямо-таки библией и выдержал не меньше пятнадцати переработанных изданий.

Резкий контраст с кино– и театральной жизнью, важной частью которой станет его жена. И которая отнимет ее у него.

Лира фон Розена была многострунной. Помимо директорства в “Карлебу” он сделал карьеру при дворе, где его сначала назначили камер-юнкером, затем камергером и вице-церемониймейстером, а спустя много лет – обер-камергером. Кроме того, он прошел юридическую практику как судья-стажер и затем занимал пост прокурора в Верховном суде. Далее, он был инспектором и полномочным членом Стокгольмской торговой палаты, членом правления *Swedish Chamber of Commerce of USA*[36], заседал в правлении Губернских страховых обществ и Антикоррупционного института. Повидал мир, объездил Южную Америку – Перу, Бразилию – и Европу.

Вдобавок он был женат на одной из дочерей Селима Карлебу. По расчету. Родственная связь означала кратчайший путь к самому высокому посту в отрасли, где он, собственно, не имел никакого опыта, и теснейшим образом соединяла его с семейным предприятием. С другой же стороны, брак делал его уязвимым. Если семейная жизнь с Ингрид не задастся, он рисковал потерять работу. Отнюдь не самоочевидно, что бывший зять сможет продолжить работу в семейном предприятии, во всяком случае на высшем посту, тем паче если жена повторно выйдет замуж.

Жили они в большой вилле на Бровалльвеген в Юрсхольме, недалеко от Ингмара Бергмана и Кэби Ларетай и от бергмановского врача Стуре Хеландера и его жены, актрисы Гуннель Линдблум.

Ян-Карл фон Розен вскоре невольно станет пешкой в изощренной семейной драме и очередной жертвой чуть ли не маниакального стремления знаменитого режиссера обладать женщинами, которые уже заняты.

Граф, в ту пору восемнадцатилетний, познакомился с будущей женой в 1947 году на школьном выпуске ее старшей

сестры Биргит Карлебу. Обе учились в частной школе Фагерлинд-Муселиус на Норр-Меларстранд, а затем в женской гимназии Нюа-Элементар на Хёторг, по возрасту их разделял всего лишь год.

Ян-Карл фон Розен с удовольствием бывал в доме семейства Карлебу. Селим, его жена Эбба и их дочери составляли, как ему казалось, очень симпатичный квартет, и его чувства к Ингрид росли. Она училась в тогдашней Стокгольмской высшей школе, писала у профессора Хенрика Корнелля кандидатскую по искусствоведению, но о самостоятельном зарабатывании денег никогда и речи не заходило. Фон Розен и Ингрид обручились весной 1952-го, в сентябре следующего года поженились, и она тотчас попала в шаблон тогдашней эпохи – мать и хозяйка дома. Они переехали в свежеотремонтированную виллу в Альвике, севернее Стокгольма, где в октябре 1954-го родилась дочь Каролина. Фон Розен сдал юридический экзамен и получил место судьи-стажера в стокгольмском городском суде, позднее стал кандидатом на должность прокурора, а затем и прокурором Верховного суда. Именно в такой вот ситуации ему предложили стать директором фирмы тестя, и в январе 1958 года он приступил к новой работе.

Семья в ту пору увеличилась, родились близнецы Фредрик и Анна. Вилла в Альвике стала тесновата, поэтому они искали жилье попросторнее и в конце концов переехали в Юрсхольм.

Ингрид фон Розен в первую очередь была женой и матерью и собственных доходов не имела. Муж, от которого не укрылись ее административные и организаторские таланты, предложил тестю, чтобы она начала работать в семейном бизнесе как своего рода управляющий с ответственностью за оборудование и мебель, а также за дом отдыха фирмы в Рослагене.

В дальнейшем ходе событий решающую роль сыграли, вероятно, два обстоятельства. Через свою сестру Биргит Лангеншёльд Ингрид фон Розен познакомилась с доктором Стуре Хеландером и его другом Ингмаром Бергманом. А когда сестры позднее оказались в даларнской гостинице “Сильянсборг”, там как раз находился Бергман со съемочной группой, собирался снимать “Причастие”. Биргит и Ингрид интересовались также театром и балетом, в Стокгольме часто ходили в Оперу, что создавало хорошие предпосылки для интересных разговоров об искусстве.

Примерно так, по мнению Яна-Карла фон Розена, они и познакомились, его жена и режиссер, и позднее он понял, что роман развивался несколькими этапами, смотря как в то или иное время складывалась личная ситуация Ингмара Бергмана.

“Отношения все больше углублялись, и он безумно влюбился в Ингрид и проявлял большую настойчивость. Он был большой эгоцентрик”.

Когда Бергман позднее убедил свою жену Кэби поселиться именно в Юрсхольме, официальным мотивом было то, что как раз там жил его друг Хеландер. Однако, вероятно, бергмановское желание поселиться в фешенебельном предместье в нескольких десятках километров к северу от столицы было обусловлено попросту тем, что там жила его новая возлюбленная.

Ян-Карл фон Розен заметил, что мысли жены витают в другом месте, а однажды ему позвонил Ингмар Бергман и сказал, что Ингрид ни в коем случае не должна уезжать. Граф и графиня много лет ездили в Швейцарию кататься на лыжах с друзьями и деловыми знакомыми и теперь снова собирались в Альпы. Но Бергман говорил по телефону чуть ли не с отчаянием. Ему необходимо видеться с ней, для него это невероятно важно. Как понял фон Розен, предстояла премьера какой-то пьесы, поставленной Бергманом, и он не мыслил ее без присутствия Ингрид. Фон Розен ответил, что все понимает, но они обязаны встретиться в Швейцарии с друзьями и не могут их обмануть.

“С его точки зрения это был сущий пустяк, самое важное – его собственная ситуация”.

Фон Розен воспринял это спокойно. Решил, что тут, как говорят англичане, *passing fancy* [37]. Ему оставалось только ждать и смотреть, *wait and see,* как он говорит.

В апреле 1959 года у фон Розенов родился четвертый ребенок, дочь Мария. Вскоре после этого жена начала вечерами исчезать из дому, по нескольку раз на неделе, нередко по субботам, и ситуация стала нестерпимой. Продолжаться так не могло, ему требовалась ясность. Она что же, хочет развестись и жить с Ингмаром Бергманом?

Ян-Карл фон Розен считал, что на первых порах его жена вела себя спокойно и обдуманно. Однако со временем новые отношения все больше поглощали ее. Она могла часами говорить со своим любовником по телефону. Была рассеянна и украдкой сбегала, чтобы встретиться с Бергманом, вероятно в квартирке на Грев-Турегатан, где он обычно устраивал любовные свидания. Фон Розену приходилось поздно вечером укачивать дочку Марию в спальне жены и слушать, как мама девчушки возвращалась после любовного свидания с режиссером, загоняла машину в гараж и запирала дверь.

Но он не понимал, насколько все серьезно, пока случайно не увидел письмо, которое жена несколько беспечно оставила на столе, когда уехала в Стокгольм на очередное рандеву с

любовником. Письмо было от Бергмана, и вот тут фон Розен осознал масштабы обмана. Он прочитал черным по белому об их страстном увлечении, в особенности со стороны Бергмана, и о том, как много его жена значила для режиссера. Фон Розен вспомнил о прежних романах Бергмана, в большинстве с актрисами и женщинами из театральных кругов, которые, как ему казалось, думали в первую очередь о самих себе, своих интересах, своих представлениях о жизни.

В письме Бергман был весьма недвусмыслен. Фон Розен по сей день хорошо помнит, как выразился режиссер: “Я пришел в полное отчаяние из-за того, что тебе придется уехать, ведь для меня это значит очень-очень много, ты знаешь, в твоем присутствии демоны не появляются, я твердо верю, что мы последний раз должны примириться с разлукой в тот миг, когда ты мне нужна”. Бергман, как считал фон Розен, был неуравновешен и чрезвычайно эгоистичен. Он нуждался в человеке, который мог его поддержать, любыми способами, и, очевидно, жена фон Розена как раз и была таким человеком.

В то же время Бергман мог показать свою щедрую и приятную сторону, но опять-таки не без выгоды для себя. В феврале 60-го он послал супругам фон Розен билеты на премьеру “Источника”, а затем пригласил их посетить его на Форё. Из всех ресторанов он предпочитал роскошный “Театергриль”, в двух шагах от Драматического театра, и как-то раз, приглашая Яна-Карла фон Розена на ужин, сказал: “У тебя, наверно, есть девушка, чтобы взять с собой”. Слегка озадаченный фон Розен решил, что, может, оно будет и забавно, учитывая обстоятельства, и пригласил сотрудницу, занимавшуюся на фирме банковскими делами. Но вместе с тем он понял, что режиссер пытался соединить его с другой женщиной. Ведь если граф добровольно отпустит жену, Бергману станет легче жить.

Ян-Карл фон Розен долго сохранял хорошую мину и надеялся, что бурный роман между его женой и режиссером остынет. Но поскольку, судя по всему, конца не предвиделось, оставался один-единственный путь – конфронтация. Необходимо разобраться, все уладить, ликвидировать нарыв, закравшийся в их совместную жизнь. Он попросил жену о встрече в доме ее родителей, которые были тогда в отъезде. Однако поговорить они толком не успели – жена сказала, что ей пора. У нее свидание, опаздывать нельзя.

Фон Розен, припарковавший свою машину неподалеку, проследил за женой до Грев-Турегатан. Вошел в дом и позвонил в дверь квартиры Бергмана. Никто не открыл. А потом он услышал за дверью голос жены: “Не стой там и не звони!” Фон Розен

ответил, он полагает, что в квартире находится Ингмар Бергман, и очень хорошо, потому что можно втроем обсудить ситуацию.

В конце концов дверь открылась, и Яна-Карла фон Розена пригласили войти, выпить чаю и угоститься булочками с маслом и медом. Бергман попытался донести до него свое положение: Ингрид, мол, помогала ему в жизни, и он считал, что они в состоянии как-нибудь уладить ситуацию. Однако он спешил по делам и попросил Ингрид фон Розен отвезти его в Юрсхольм. Граф остался один. Ему захотелось пить, и он прошел в ванную налить стакан воды. Там, в одном из шкафчиков, он заметил женино лекарство от кашля. Прочитал этикетку на флаконе, увидел дату докторского рецепта и сообразил, что роман жены и Бергмана длится дольше, чем ему казалось. И вероятно, это не первый флакон. Жена часто кашляла.

Он позвонил Стуре Хеландеру и попросил принять их троих после работы. На нейтральной почве, возможно, удастся договориться. На следующий день все трое собрались в приемной у Хеландера, и врач попросил друга выложить карты на стол. Слушая Бергмана, фон Розен думал, что тот рассказывает о ходе событий как актер, хорошо отрепетированными репликами.

Затем воцарилась оглушительная тишина. Фон Розен все понял. Из четверых людей, сидевших в приемной Хеландера, он узнал обо всем последний.

После этого он позвонил семейному адвокату Сигрид Бекман и объяснил, что произошло. Бекман сообщила, что Ингрид фон Розен побывала у нее по поводу подготовки развода, но решительно отрицала, что мотив развода – другой мужчина. Теперь адвокат получила объяснение. И сказала, что предпринять можно только одно, а именно привлечь жену к суду.

Шестнадцатого июля 1971 года, через два дня после пятидесятитрехлетия Ингмара Бергмана, Ян-Карл фон Розен подал в губернский суд заявление о разводе. “В начале текущего года мне стало известно, что моя жена поддерживала интимную связь с другим мужчиной и эта связь продолжается”, – писал он. Граф, так сказать, пригладил реальное положение вещей, но для заявления в суд этого было достаточно. Фон Розен указал, что у них с женой четверо общих детей и они договорились, что опека над “всеми нашими детьми” перейдет к ней.

Примерно через месяц стороны были вызваны на предварительное слушание за закрытыми дверьми. Ян-Карл фон Розен лично не появился, однако его жена присутствовала. Она без обиняков подтвердила, что нарушила супружескую верность и что ее муж мириться с этим не намерен.

Адвокат фон Розена Эрик Феллендер “в подкрепление выступления истца” предложил допросить свидетеля Ингмара Бергмана и сообщил, что режиссер ждет за дверью зала суда. Уже в третий раз Бергмана вызывали свидетельствовать о своем участии в нарушении супружеской верности. Впервые так было при разводе Гюн и Хуго Грута, затем при разводе Кэби Ларетай и Гуннара Стэрна. Похоже, он не принимал эту сомнительную заслугу близко к сердцу, даже пошутил, когда означенная тема всплыла в разговоре с Яном-Карлом фон Розеном: “Я привык, не в первый раз”.

Поскольку дело особой сложностью не отличалось – стороны были согласны по всем пунктам, – без проволочек перешли к главным слушаниям. То бишь настало время кратких показаний режиссера.

> Вызывается Эрнст Ингмар Бергман, указывает, что родился в 1918 году и проживает на Форё, приносит присягу как свидетель, ему напоминают о важности присяги и обязанности говорить правду, после чего он сообщает, что минимум в течение двух лет имел сексуальную связь с Ингрид фон Розен. И эта связь продолжается.

Тем все и кончилось. Слушание заняло всего-навсего пятнадцать минут, а еще через пятнадцать минут огласили приговор. Ян-Карл фон Розен получил развод, Ингрид фон Розен – опеку над четверыми детьми и свободу. Кроме того, она, не указывая причин, настояла, чтобы судебный протокол в течение 25 лет хранился под грифом “секретно”, против чего адвокат ее уже бывшего мужа не возражал.

Представить себе побудительные причины графини не составляет труда. Роман с Бергманом сам по себе был делом весьма щекотливым, однако ситуация обострялась еще и тем, что вдобавок у нее был внебрачный ребенок, о чем знали только она и отец девочки, режиссер Бергман.

Брак был расторгнут, но для Яна-Карла фон Розена испытания на этом не кончились. Он думал, что теперь, когда брак расторгнут, его экс-жена, которая так рвалась к Бергману, переедет к режиссеру, а он сам останется на вилле с детьми и все заживут, как им хочется. Но она не согласилась. Пришлось ему потесниться. Не потому, что Ингрид фон Розен собиралась жить на вилле вместе с Ингмаром Бергманом, просто в нынешней ситуации Яну-Карлу нельзя общаться с детьми, как раньше. “Иначе будет сплошной скандал с Ингмаром, а это навредит нам

всем” – вот такое объяснение он получил. Ингрид фон Розен и Бергман жили сами по себе, либо в большой новой квартире на Карлаплан, либо в доме на Форё. Она давно поставила Ингмару Бергману одно условие. Если она пройдет болезненный для нее развод, он на ней женится.

Четверо детей по-прежнему жили на вилле под присмотром разных служанок, помогала и бабушка по матери. Во время бракоразводного процесса они часто видели, как мать плачет, как двери запирают на замок и ведутся бесконечные телефонные разговоры. В “Трех дневниках” Мария фон Розен рассказывает, что они слышали бурные ссоры. Но самым большим шоком стало сообщение матери, что она и Ингмар Бергман решили переехать в квартиру на Карлаплан.

> Материально мы, дети, имели все необходимое. Мама старалась заботиться о нас, как могла. Часто заходила, но временами подолгу жила на Форё. И большей частью мы разговаривали по телефону. Мы, дети, были в растерянности и изо всех сил пытались позаботиться о себе. Но все же сумели создать крепкую общность, сохранившуюся по сей день. Из-за пустоты, тоски и злости на то, что Ингмар отнял у нас маму, мы чувствовали себя заброшеными.

Ян-Карл фон Розен переехал в соседнюю виллу, которую Селим Карлебу предоставил ему как служебное жилье. Необычная ситуация – дочь владельца разводится с зятем ради другого мужчины, за которого затем выходит замуж, а зять при таких обстоятельствах остается в бизнесе. Однако Селим Карлебу не хотел расстаться со своим директором. “Ты ведь не уйдешь из фирмы?” – сказал он. И фон Розен не ушел. Собственных капиталов у него не было. Вилла, где он жил с Ингрид, принадлежала ей, и служебное жилье, купленное Карлебу, стало его спасением. Таким образом он постоянно находился рядом с детьми, и они могли навещать друг друга когда угодно.

Однако он страдал от того, что теперь между ним и детьми выросла стена, что прежнюю жизнь, какой они изо дня в день жили сообща, заменили другой, где режиссером был Ингмар Бергман. Вечерами фон Розен видел с балкона, как в вилле напротив зажигали и гасили свет, и думал, что теперь там другой мужчина. А Ингмару Бергману очень не нравилось, что граф живет так близко от детей. Как-то раз, когда фон Розен шел навестить детей, Бергман проезжал мимо на своей машине. Затормозил, опустил стекло и воскликнул: “Знаешь, буду чертовски рад не видеть тебя здесь. Тебе нечего здесь делать”.

Что на это ответишь? Фон Розен сказал рассерженному режиссеру, что можно посмотреть на дело и иначе. Он хочет навестить своих детей, потому что завтра уезжает. “Ну, это твое личное дело, а здесь тебе совершенно нечего делать”, – повторил Бергман.

Сразу после развода супругов фон Розен на вилле, где они жили, появились рабочие, которые перекрасили стены, а декоратор частью заменил обстановку, повесил новые гардины, расставил вазы, подсвечники и прочие безделушки. Детская располагалась на втором этаже, туда детей и сослали, тогда как нижний этаж превратили в съемочную площадку для драмы Ингмара Бергмана “Сцены из супружеской жизни”. Главные роли – Юхана и Марианну – исполняли друг режиссера Эрланд Юсефсон и экс-возлюбленная Лив Ульман.

Еще одна из давних женщин Бергмана, Биби Андерссон, играла роль второго плана, как и Гуннель Линдблум, жена друга Бергмана, Стуре Хеландера, который опять же сыграл маленькую роль гостя в бергмановском фильме “Прикосновение”. Новая жена Бергмана Ингрид занималась на съемках всеми административными вопросами.

Ян-Карл фон Розен мог только наблюдать, как его прежний дом претерпевает полное изменение и как его оккупируют все эти бергмановские актеры и друзья для съемок телевизионной семейной драмы, которая не только напоминала его собственную, но не в последнюю очередь во многом была точной копией бергмановских личных проблем. По словам режиссера, идея этой драмы возникла у него, когда он сбежал с Гюн Грут в Париж, а затем рассказал своей жене Эллен об измене.

Что “Сцены из супружеской жизни” частично снимались в Юрсхольме, в фон-розеновской вилле, держали в секрете. Хотя вообще-то не удивительно, что Бергман выбрал виллу жены: место доступное, за аренду платить не нужно, интерьеры превосходно подходят как буржуазное жилище Юхана и Марианны. Снятые на вилле сцены открывают телесериал – Юхан и Марианна, сидя на изящном диване, дают интервью репортеру еженедельника, ужинают с персонажами Биби Андерссон и Яна Мальмшё, занимаются любовью в спальне. Однако на домашних страницах Шведского института кино и Фонда Ингмара Бергмана указано, что телесериал снимался на Форё и на Карлаплан.

Оператор фильма Свен Нюквист и тот не упоминает в своих мемуарах, что ряд эпизодов разыгрывается в юрсхольмской вилле. Зато прекрасно помнит, что между Бергманом и Ульман чувствовалась напряженность и временами происходили резкие

стычки. Когда съемки перенесли на Форё, норвежская актриса увидела, что новая женщина Бергмана ходит в ее сапогах, которые она оставила в доме. “Вон идут мои сапоги!” – воскликнула она, убежала и спряталась, сраженная внезапным приступом ревности. “Ингмару хватило ума не злиться, но продолжить съемки удалось лишь через некоторое время”, – пишет Нюквист.

Между прочим, наблюдение Нюквиста довольно-таки примечательно. О том, что Бергман не разозлился, он говорит так, будто речь идет о родителе, терпеливо закрывающем глаза на выходки своего ребенка. Вполне понятная реакция Ульман, похоже, мужчин не огорчила. Вероятно, Нюквист не догадывался, но Бергман-то должен бы понимать, что его привычка сводить бывших жен и любовниц на щекотливых съемках может создать проблемы. Видимо, он никогда об этом не задумывался. Во всяком случае, вспышка гнева именно по такому поводу едва ли оправданна. Нюквистова манера выражения указывает на то, что Бергман сдержал злость и действовал, руководствуясь рациональными соображениями; производство фильма обходилось дорого, и вспышка гнева со стороны режиссера наверняка бы лишь ухудшила ситуацию и усугубила эмоционально слабую позицию Ульман. Но Бергман есть Бергман, окружающие предоставляли ему неограниченное право поступать так, как он считает нужным.

Селим Карлебу скончался в мае 1982 года. Дочь Ингрид, уже совладелица фирмы, унаследовала еще больше акций и стала обладательницей контрольного пакета. Позиция Яна-Карла фон Розена как исполнительного директора ослабла, и Ингмар Бергман давил на него. Когда он и экс-жена однажды разошлись во мнениях по какому-то деловому вопросу, телефонную трубку взял режиссер: “Позиция у тебя чертовски неприятная, и должен тебе сказать, ты тут ничего не выиграешь!” Фон Розен ответил, что он пока что директор, а значит, имеет полное право отстаивать свое мнение. На что Бергман бросил: “Ну и черт с ним”.

Фон Розен возразил, что не вмешивается в бергмановское руководство Драматическим театром и режиссеру тоже незачем указывать ему, как надо управлять фирмой. “Тут он расхохотался, по своему обыкновению. “Пожалуй, можно и так сказать”, – отозвался он”.

Ингмар Бергман крайне немногословен касательно начала своих отношений с Ингрид фон Розен. В “Волшебном фонаре” он называет ее сперва “милым другом”, который заботился о нем,

когда в 1957-м он слег с воспалением легких. “Мы с Ингрид были знакомы уже семь лет”, – пишет он, а значит, познакомились они еще в 1950-м. “Нам было особо не о чем разговаривать, однако нравилось быть вместе”. Примерно через тридцать страниц, где о ней нет ни слова, они вдруг уже женаты. Он полностью опускает супружескую драму, случившуюся по его милости. Ведь так великому режиссеру куда удобнее.

В беседах с журналистом и писателем Микаелем Тиммом он тоже умолчал о ранних этапах отношений с Ингрид фон Розен. Тимм утверждает, что они были знакомы с 40-х годов, но как познакомились, Бергман говорить не хотел. До самой своей кончины молчал о времени до их женитьбы. Возможно, размышляет Тимм, дело в том, что он чувствовал: собственная его взрослая жизнь отмечена той самой двойной моралью, которую он критиковал в своих ранних фильмах и пьесах.

Однако в 2004 году Бергман рассказал, что познакомился с Ингрид фон Розен “случайно, поздней осенью 1957 года” и что дружба переросла в роман, “который с несколькими перерывами продолжался до лета 1969-го”. Даже в восемьдесят шесть лет он не мог – или не хотел – вспомнить, когда встретил ее впервые. И это не единственный раз, когда он не в состоянии вспомнить точно. Безусловно, возникает впечатление, что он всю жизнь адаптировал свой рассказ, чтобы вытерпеть себя самого, рисовал картину, которая в каждом конкретном случае лучше всего служила его целям. Пожалуй, это не удивительно, даже вполне по-человечески. Интересно только, что этот закоренелый лжец занимал неоспоримо авангардную позицию и вышел из всей своей лжи целым-невредимым.

Чтобы справиться с угрызениями совести, Ингрид Бергман ходила на терапевтические беседы к пастору, а позднее к придворному проповеднику Людвигу Ёнсону. Можно сказать, она оставила после себя разрушения, подобные тем, какие неоднократно оставлял после себя Ингмар Бергман, – брошенных детей и обманутого, преданного и растерянного партнера.

Ингрид Бергман хотела, чтобы, когда она и Ингмар бывали в Стокгольме, младшая дочь Мария жила у них на Карлаплан. Но Ян-Карл фон Розен воспротивился, хотя и не имел опеки над девочкой. Он считал, что для Марии это будет слишком резкая перемена обстановки, а ей нужна защищенность общества брата и сестер в доме, где она росла. Фон Розен видел, что бывшая жена целиком приспособила свою жизнь к капризному и непредсказуемому режиссеру. Детям приходилось довольствоваться временем, какое оставалось у нее после того,

как режиссер получит все, что ему требуется в форме поддержки, ободрения, заботы. Ингрид Бергман знала его вдоль и поперек, гибко следовала его эмоциональным перепадам, решала все практические вопросы, связанные с жильем, подвозила его, переписывала начисто сценарии, следила за его расписанием, назначала встречи.

Когда Ингмар Бергман бывал занят в других местах, жена могла посетить своих детей на юрсхольмской вилле, но, по словам Яна-Карла фон Розена, встречи происходили в обстановке, похожей на увольнительную, – она, так сказать, ненадолго освобождалась от своих задач, и дети, хочешь не хочешь, обходились этими крохами.

> Ингрид, учитывая ее позицию в обществе и в буржуазных кругах, а также ее и мое семейное происхождение, в высшей степени приспособилась к Ингмару. Отпустила швартовы и плыла по течению.

В течение нескольких лет режиссер оставил Кэби Ларетай ради Лив Ульман, а затем обманул Ульман, тайно вступив в любовную связь с замужней Ингрид фон Розен. Чтобы жить таким манером и оставаться в добром здравии, необходимо слишком многое вытеснить и слишком жаждать вдохновения. В этом смысле Бергман был человек весьма особенный, и невольно возникает вопрос, что, собственно, происходило внутри него. В 70-м у него вроде как открылось прозрение. Он работал над сценарием “Прикосновения”, истории о жене врача (Биби Андерссон), которая заводит роман с американским археологом (Эллиот Гулд), и в ходе работы над фильмом написал признание вечного изменника, которое цитируется в книге Микаеля Тимма о Бергмане “Страсть и демоны”:

> Он ужасно страдает от своей лжи. Это почти невыносимо, и порой он едва не сходит с ума. Правду я почти забыл, забыл, каково ее ощущать и как она действует. Но я тоскую по ней. Мечтаю о правде. Даже готов понять мелодраматическое выражение: я жажду правды, как чистой свежей воды. Отчаянно жажду и так ужасно все для себя запутал. Порой я испытываю глубокое внутреннее отвращение ко лжи. Вроде как тошноту. И у меня такое чувство, что я живу на грани правды или жизни в правде, надо лишь набраться храбрости и сделать шаг. Но очень многое парализует меня. В самом деле? Не только вопрос рискнуть и сделать шаг? Может, здесь речь идет еще и об унижении

и недоверии к тому, кто был подвержен заблуждению заранее предполагать неспособность человека выдержать правду. И все кратковременные приятные ситуации, которые покупаешь полуправдой или ложью. А все от неверия, что правда имеет значение, что вообще-то безразлично, говоришь правду или лжешь, думая, что выгоднее солгать.

Людвиг Ёнссон был распорядителем на свадьбе Ингмара и Ингрид Бергман, а режиссер участвовал в одном из ёнссоновских ток-шоу на телевидении, под заголовком “Как мы поступаем со своей нечистой совестью?”. Более подходящего гостя, чем Бергман, трудно себе представить. Ёнссон дал супругам добрый совет: покончить с прошлым. Когда затем Ингрид Бергман продолжила терапевтические беседы с пастором, вероятно, именно Ёнссон в конце концов заставил ее говорить в открытую и рассказать Яну-Карлу фон Розену, что биологическим отцом Марии фон Розен был не он. Фон Розен и сам это подозревал, еще когда Мария была маленькая. Ведь он был осведомлен о бергмановском прошлом, знал о его женщинах и о дурной привычке не пропускать чужих жен, а значит, вполне логично мог предположить, что Бергман сделал ребенка его жене. Однако когда он намекал о своих подозрениях, жена отвечала негодующим протестом.

Итак, когда в один прекрасный день 1986 года Ингрид Бергман появилась в кабинете экс-мужа и рассказала правду, для него это не стало полной неожиданностью. Просто окончательно подтвердился факт, который он старался держать от себя подальше. Жена фон Розена, Марианна, находилась в соседней комнате и слышала разговор. “Все заняло десять минут. Потом Ингрид сказала: “Ну, мне пора домой, готовить Ингмару обед”, – и укатила на своем зеленом “мерседесе”.

Признание экс-жены нисколько не изменило чувств, какие Ян-Карл фон Розен питал к Марии. Она всегда была и останется его дочерью. Кстати, она сама узнала, что ее биологический отец Ингмар Бергман, в 1981-м, то бишь пятью годами раньше. Узнала от Бергмана, когда приезжала на Форё. Ей было тогда двадцать два года, и, как она писала в “Трех дневниках” (2004), книге о болезни и смерти Ингрид Бергман, эта новость по меньшей мере все для нее перевернула.

Однако множество кусочков мозаики легло на место. Больше всего меня потрясло, что мой папа Ян-Карл мне не биологический отец, а сестры и брат, вместе с которыми я выросла, родные мне только наполовину. К

тому же у меня вдруг появилось еще восемь сводных братьев и сестер.

Когда она, заливаясь слезами, спросила “нового” отца, почему никто не рассказал ей об этом раньше, он ответил: “Мы не хотели, чтобы ты ребенком носила в себе такую большую тайну”. А когда она сообщила матери, о чем только что узнала, Ингрид Бергман ответила, что собиралась сказать ей, но муж ее опередил. Они не планировали это сообща.

В интервью “Свенска дагбладет” по случаю публикации “Трех дневников” Мария фон Розен сказала:

> Правда была так велика, так ошеломительна, что я вообще не могла реагировать. Причем долго. Собственно, лишь несколько лет спустя я наконец осознала и приняла, что Ингмар мой отец. Или, вернее, что у меня два отца. Ведь Ян-Карл остается, именно он читал мне сказки, когда я была маленькая, он утешал меня, когда я плохо себя чувствовала. Он был мне настоящим отцом. У Ингмара другая роль. Он всегда поддерживал мое писательство, верил в меня как в литератора.

Пять лет Мария фон Розен успешно скрывала от Яна-Карла фон Розена, что знает о своем происхождении. Можно лишь предполагать, как трудно ей пришлось. Жена фон Розена, Марианна, была уверена, что на самом деле именно Ингмар Бергман заставил жену сказать Марии правду, чтобы, как она выражается, “лягнуть” графа. В таком случае короткую соломинку вытянул Бергман. Однажды Ян-Карл фон Розен сказал ему по телефону: “Если на этом настоял ты, я требую, чтобы ты включил Марию в завещание как свою дочь. Иначе будешь иметь дело со мной!” Вот такое условие поставил фон Розен – режиссер должен включить эту дочь в завещание как прямую наследницу.

“Я всегда считал, что право должно быть справедливым. Надо делать то, что должен, причем делать наилучшим образом. И потому я решил, что “кукушки”, подкладывающие свои яйца в чужие гнезда, тоже должны нести ответственность”, – говорит Ян-Карл фон Розен.

Часть 2. Большое попечение

Ингрид и Биргит Карлебу были не просто сестрами, а лучшими подругами и всю жизнь доверяли друг дружке секреты. Однако же в один уголок своей души Ингрид Карлебу свою сестру не допускала. Там таилась загадка, которую ни сестре, ни Ингмару Бергману, великому самозваному аналитику, так и не удалось понять.

Карлебу были прекрасной семьей, с властным отцом и невероятно заботливой матерью. Селим Карлебу, человек сильный и энергичный, родился в 1892 году в Даларне, в городке Стура-Туна, муниципальный герб которого, утвержденный в 1943 году, в разгар мировой войны, представлял собой щит, наполовину золотой с лазоревым луком, наполовину лазоревый с золотым топором; эта геральдическая символика прекрасно отражала характер Селима Карлебу. Щедрый, умный, артистичный, он, говорят, рисовал и гравировал словно этакий Рембрандт. Но вместе с тем суровый, взыскательный и невероятно консервативный. Он требовал, чтобы дочери приносили домой отличные отметки, хотя особых похвал за хорошую учебу они не получали. Отец лишь просматривал учительские оценки, без всяких комментариев.

Селим Карлебу придерживался мнения, что место женщины – дом; домашний труд для мужа и детей – естественная сфера ее деятельности. И мама Эбба не возражала, наоборот. “У мужчины – свой мир, у женщины – свой. В некоторых пунктах они сходятся, и так и должно быть”, – говорила она. Но успешный бизнес мужа избавил ее от постянного дежурства у плиты. Они всегда держали кухарку, которая вкусно готовила, а Эбба Карлебу могла позволить себе интересоваться кухней скорее для развлечения, чем по обязанности. Дом был гостеприимный, двери всегда держали открытыми для родни и друзей.

В глазах детей Селим Карлебу был почти что диктатором. Он никогда их не бил, ему достаточно было поднять бровь – и они тотчас подчинялись. Биргит была худенькая и послушная, так что папина строгость оборачивалась в первую очередь против нее. Ингрид была поупитаннее, покрепче и могла возразить. Она часто выступала против тогдашних авторитетов. Сестер отдали в фортепианную школу мадам Селандер, но через два года Ингрид не знала ни одной ноты и избежала дальнейших мучений. На конфирмации она отвечала на вопросы пастора со строптивостью и юмором, рассмешив всех собравшихся в церкви. Единственная из конфирмантов, она отказалась участвовать в обязательной

беседе с пастором с глазу на глаз.

Селим Карлебу часто занимался спортом и вообще любил движение. Катался на лыжах, совершал бодрящие прогулки по лесу, увлекался лыжной охотой на зайцев. Однако дочь Ингрид не интересовалась спортом и прочими физическими упражнениями. Ей больше нравилось писать на машинке и экспериментировать с цифрами. Она и брат отца Биргер вместе играли в “Монополию”, умудрялись продавать альпинистские ботинки в Исландию, составляли накладные и корреспонденцию настоящим конторским языком.

После выпускных экзаменов Ингрид Карлебу, получив стипендию, уехала в Америку и училась в университете в Оксфорде, штат Огайо. Сестра Биргит считала, что с ее стороны это весьма смелый самостоятельный поступок, ведь дома их ограждали от внешнего мира. За ужином никогда не говорили даже о мало-мальски неприятном. Не упоминали, что на свете идет война, о деньгах никто вообще не заикался.

В Оксфорде Ингрид Карлебу пользовалась большой свободой. Раньше она постоянно твердила о похудании, но в Америке позволялось выглядеть как угодно. Непохожести там полагали совершенно естественными, тогда как стокгольмское окружение отличалось тем, что все были одинаковы, имели одинаковое воспитание, росли в одинаковых условиях.

По возвращении на родину Ингрид Карлебу хотела поступить в Коммерческий институт, баллов в ее аттестате вполне хватало, но отец сказал, что это не для девушек.

И Ингрид стала изучать искусствоведение в Стокгольмской высшей школе у профессора Хенрика Корнелла, которого боялись многие, но не дочь Карлебу. К искусствоведению она добавила английский язык и получила степень кандидата философии. Затем начала делать карьеру, неясно, в каком качестве, а в конце концов вышла за графа Яна-Карла фон Розена.

Тем временем ее сестра Биргит познакомилась с бизнесменом Хансом Лангеншёльдом, вышла за него замуж и вместе с ним и тремя детьми уехала в перуанскую Лиму, где они и прожили почти десять лет. Семья вполне свыклась с перуанским обществом, муж успешно занимался бизнесом, Биргит быстро выучила испанский. И все же они оставались *extranjeros*[38], как она говорит, и у нее возникли сомнения, стоит ли быть чужаками в Южной Америке, так далеко от дома. Детям нужен контакт со шведскими корнями и родней, считала она. Вот когда повзрослеют, тогда пусть и едут за рубеж, если захотят.

В мае 1960-го семья со всем скарбом вернулась в Швецию. Биргит Лангеншёльд определила детей в Сигтунское

гуманитарное училище и начала бракоразводный процесс. Через несколько лет она встретила своего нового мужа, барона, капитана Свейского артиллерийского полка и инженера Ларса де Геера, отпрыска семьи замлевладельцев, которой принадлежал металлургический завод “Лешёфорс АО” под Филипстадом в Вермланде. С 1952 года де Геер был исполнительным директором предприятия. Правда, с женитьбой они решили подождать и пока не съезжаться, из-за детей.

Ингрид фон Розен все это время была в курсе семейных неурядиц сестры и поддержала ее решение начать новую жизнь с бароном. Но о собственных проблемах она молчала, и не только потому, что сестра жила в другом полушарии. С одной стороны, у нее был маленький, но важный уголок, куда она никого не пускала, с другой же – ее поступки противоречили всему, во что она верила.

С врачом Стуре Хеландером невестку познакомила Гюн-Мария Лангеншёльд. Биргит вернулась домой из Перу с кучей хворей и посетила Хеландера ради обследования. Заодно он получил в пациентки и Ингрид фон Розен. Хеландер был врачом общей практики и учился у Нанны Сварц, профессора Каролинского института и врача Карин Бергман. Волею случая или, если угодно, по стечению обстоятельств Хеландер стал затем и врачом Ингмара Бергмана.

Соответствующим образом теперь и сестры Ингрид и Биргит стали личными друзьями Хеландера. Врач был так ими очарован, что захотел показать их режиссеру. В 1958 году, когда Хеландер отмечал свое сорокалетие, он и его тогдашняя жена пригласили гостей к себе на виллу в Юрсхольм, компания была невелика, поскольку Бергман не любил многолюдных сборищ. Биргит увидела свою сестру с Ингмаром Бергманом, и ей показалось, что они давно знакомы.

В 1959-м Биргит Лангеншёльд – она по-прежнему звалась так – поехала в Реттвик, в гостиницу “Сильянсборг”. Она хворала, и ей назначили свежий воздух и катание на лыжах, а сестра составила ей компанию. В гостинице они встретили Стуре Хеландера, он находился там вместе со съемочной группой Ингмара Бергмана, который снимал в окрестностях Реттвика часть эпизодов “Причастия”. Хозяйка гостиницы, Бритт Арпи, отвела киношникам отдельный салон, так как они шумели и мешали другим постояльцам.

Однажды вечером Биргит Лангеншёльд и ее сестру пригласили в эту веселую компанию. Лангеншёльд очутилась рядом с Ингмаром Бергманом и, поболтав с ним некоторое время,

рассказала повторяющийся кошмарный сон. “Ой, как ты себя выдаешь”, – сказал режиссер и принялся разбирать ее сон, докапываться до сути, и после этого вечера кошмар уже не повторялся.

Ингрид фон Розен никогда не говорила сестре, что завела роман с Ингмаром Бергманом. Биргит узнала об этом только на бракоразводном процессе с Яном-Карлом фон Розеном и поняла, что, годами ведя двойную жизнь, сестра внутренне наверняка рвалась на куски. Ведь главной жизненной задачей Ингрид фон Розен была забота о доме, семейном очаге, муже и детях, а она обманула мужчину, которого поклялась любить в горе и радости, и хотела начать новую жизнь с самым знаменитым кинорежиссером на свете, с человеком, который четыре раза женился и разводился и имел девятерых детей, брошенных с оставленными матерями. Для верной долгу и заботливой Ингрид фон Розен выбрать отъявленного изменника Ингмара Бергмана, пожалуй, не самоочевидно. Или все-таки? Если кто и мог заставить его раз и навсегда бросить якорь, то, наверно, графиня фон Розен.

Однако решение далось ей нелегко.

> Думаю, Ингмар чувствовал, что она колебалась, тогда как сам он внезапно решился. Он упорно настаивал, и тогда она ушла, вот и все. Помню, я плакала. Что она делает? Меня мучила тревога. Ведь я не знала его. И не была тогда для Ингрид опорой. Ингмар все время твердил мне: “Я тебе не нравился. Ты ведь плакала”, —

рассказывает Биргит де Геер.

Фон Розен и Бергман решили пожениться осенью 1971-го, в строжайшем секрете. У режиссера это уже вошло в привычку, и, как в тот раз, когда женился на Кэби Ларетаи, он планировал перехитрить журналистов, для которых донжуан Бергман был лакомой добычей. На сей раз хитрость удалась.

Сестра Биргит успела выйти за директора завода и носила теперь фамилию де Геер, а жили они в Лешёфорсе. В провинции, в сорока километрах к северу от Филипстада, недалеко от границы Даларны и Вестманланда, им ничто не грозило. Ни один журналист не догадается, что именно там Бергман женится в пятый раз.

Супруги де Геер приняли все меры безопасности. Наемный персонал и тот знать не знал, кто придет на ужин. Саму церемонию совершил пастор Людвиг Ёнссон.

Теперь Ингрид Бергман направила свою прекрасно развитую

заботливость и административные способности на нового супруга. Она целиком посвятила себя обеспечению его потребностей. Прежние его женщины сами делали карьеру, а Ингрид Бергман нет. Все ее внимание безраздельно доставалось режиссеру. “Когда я на кухне готовлю Ингмару ужин, я счастлива”, – порой говорила она, как вспоминает ее сестра Биргит де Геер. “Она не замечала его тяжелого характера. Я спрашивала ее: “Ты когда-нибудь настаиваешь на своем?” – он же был крайне придирчив. И она отвечала: “Да, когда это очень-очень важно”. Ведь сестра, хотя и пеклась прежде всего о других, была самостоятельной натурой. А Бергман рассказывал Биргит де Геер, что провоцировал жену и иной раз вел себя вправду прескверно. Как-то раз, когда он особенно разошелся, жена с олимпийским спокойствием посмотрела на него и сказала: “Что ж, пожалуй, пора мне стукнуть кулаком по столу”. Она превосходно умела пользоваться подобными выражениями, и он немедля присмирел как собака.

До какой степени доходила привередливость Ингмара Бергмана, выяснилось, когда в конце 2011 года Анита Хаглёф, экономка, которую он держал на старости лет, продала с аукциона знаменитые “Злые записки Бергмана”. Короткие записочки, накарябанные на клочках бумаги, точные инструкции обо всем на свете.

ВНИМАНИЕ! ОДЕЯЛО ДОЛЖНО ДОСТИГАТЬ ДОСЮДА!
ЕСЛИ ЭТОТ СЫР ЯРЛСБЕРГ, ТО Я УТЕНОК ДОНАЛД! БУДУ В ТЕЛЕВИЗИОННОЙ КОМНАТЕ С ПОЛОВИНЫ ТРЕТЬЕГО ДО ЧЕТЫРЕХ. НАДО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С ХОЛОДИЛЬНИКОМ!
АНИТА! НОСКИ? СОК ЗДЕСЬ В 15.30. УЖИН В 18.00.
Я ЛЮБЛЮ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ТОНКОЕ ИМБИРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ.
НОВЫЙ СЫР ЗАБРАКОВАН. НИКАКОГО ВКУСА.
ЭТОТ СЫР ЕЩЕ ХУЖЕ. ОТМЕНЯЕМ.

В фильме Тома Аланда “Экономка Бергмана” (2009) Анита Хаглёф рассказала, как выглядели будни в квартире на Карлаплан и в доме на Форё. Двадцать лет она проработала на коммутаторе Драматического театра, и все это время Бергман разве что мимоходом бросал ей “привет, привет” да в одном из разговоров

с Ларсом Лёфгреном назвал ее “телефонной ведьмой”. После кончины Ингрид Бергман в мае 1995-го ему потребовалась помощь во всем – в уборке, приготовлении еды, пришивании пуговиц, закупках, курьерских услугах. Две недели испытательного срока превратились в восемь лет на службе у режиссера.

Анита Хаглёф рассказывает в фильме, что, когда Бергман находился дома, она ни на миг не могла расслабиться. Он был невероятно педантичен во всем. Отступления от порядка недопустимы. Еду надо подавать на стол минута в минуту, все должно быть как некогда в доме его родителей. Когда он возвращался домой после изнурительного дня в Драматическом, то иной раз называл ее озорницей и ведьмой. Он был невероятно впечатлителен, не терпел неожиданных звуков и, когда Хаглёф однажды уронила на пол крышку от кастрюли, прямо-таки взорвался: “Еще раз так сделаешь, убью!” Давал ей скрупулезнейшие указания, как застилать его постель. Шел с ней в спальню, объяснял, что одеяло надо складывать поперек вдвое, что ей надо знать длину его руки, чтобы точно отмерять расстояние между краем простыни и изголовьем кровати. В доме на Форё он клал на кровать линейку.

Кроме того, Бергман требовал, чтобы она внешне соответствовала его пожеланиям. Например, отказалась от губной помады (“Ты без нее симпатичнее”) и перестала красить волосы.

Экономка чувствовала себя ничтожной и начала смотреть на себя как на “глупую служанку”. Однажды она, собравшись с духом, сказала ему: “Ты нападаешь на слабых!” – и режиссер согласился, что многие его боятся. Бергман во многом напоминал ей родного ее деда, человека властного, которого она в детстве боялась. Хаглёф часто сердилась на режиссера, но видела и его уязвимость, его одиночество; “он как маленький мальчишка”, говорит она Тому Аланду.

Требуется много терпения и внутренней силы, чтобы выдержать такие вот ежедневные тяготы. Ингрид Бергман, по-видимому, обладала солидным запасом самообладания и самопожертвования. Она, как говорит ее сестра Биргит де Геер, по натуре была сдержанна: “Тебя встречала отнюдь не улыбчивая особа”. Поэтому на первый взгляд она могла показаться строгой, однако в ней совершенно отсутствовала отцовская жесткость. *“А* мне хочется, чтобы она ею обладала. Но в ней не было ни капли строгости. Или, по крайней мере, слишком уж мало”.

Обращаясь во многих своих фильмах к проблемам религии, Ингмар Бергман считал свою пятую жену наименее религиозным человеком, какого возможно себе представить. “Однако она

ежедневно совершает благие дела", – говорил он Биргит де Геер. Правда, отдача не была взаимной. Все вращалось вокруг потребностей и желаний режиссера. Когда у Фредрика фон Розена, сына Ингрид Бергман от первого брака, родился сын, она хотела, чтобы малыша крестили в поместье Ильсхольм, принадлежавшем семье Карлебу в Рослагене, у пролива Ветёсунд. Но Ингмар Бергман не позволял ей покидать Форё больше чем на два дня, и крестины устраивала сестра.

В мире Бергмана все, что могло помешать ему и его жизни, следовало устранять. В браке с Ингрид Бергман это означало: все, что могло мало-мальски отвлечь ее внимание от него, следовало держать на должном расстоянии. В особенности ее детей.

> Он старался отделаться от всего окружения Ингрид, от всех, кто хоть что-то для нее значил. Такой вот собственник. На первом месте всегда он, Ингмар. А она любила своих детей. И очень тяжело переживала, что они не могли быть с ней. Правда, от меня он так и не сумел отделаться. И волей-неволей смирился, —

говорит Биргит де Геер.

Ингрид Бергман, выросшая в гостеприимной атмосфере семьи Карлебу, добилась, чтобы муж открыл Форё своим детям. Впервые это произошло в 1978 году, когда ему исполнилось шестьдесят. Через десять лет она решила повторить праздник. Но и на сей раз ей пришлось нелегко. "Ингмар боялся своих детей, он ведь почти никогда их не видел. И этот элемент ужасно ему мешал". В конце концов он согласился отпраздновать свое семидесятилетие на Форё, но поставил условие: он наденет коричневый вельветовый пиджак и все время будет ходить в нем. Она не возражала.

Сестре показалось, что Ингрид Бергман выглядела усталой, и она отнесла это за счет протестов капризного мужа.

> За ужином, когда все мы сидели вокруг накрытого стола, пришло время речей в честь Ингмара. Биби Андерссон говорила блестяще, без бумажки. Еще выступили Харриет Андерссон и Свен Нюквист. Один красноречивее другого, а Ингмар нервно ерзал на стуле. Потом встал Ян Бергман [сын от брака с Эллен. – *Авт.]* и произнес чудесную речь – в честь Ингрид. Сказал, что благодаря Ингрид на старости лет обзавелся братьями и сестрами, каких у него раньше не было. И отцом. Ингрид рассказывала мне, что утром посыльный принес ей большой букет красных роз. От Яна.

После смерти Ингрид Бергман режиссер впал в состояние похожее на транс. В доме на Форё повсюду стояли ее фотографии. И в дальнем конце дома, чтобы пожелать доброй ночи, и на столике возле кровати, чтобы поздороваться утром.

> Она стала святой. Он говорил, что только тогда начал понимать, какой уникальной личностью она была – самоотверженной, веселой, цельной, талантливой, —

говорит Биргит де Геер.

> Похоронами занималась сестра. Режиссер был не в силах.

> Я сказала ему, что не могу, что горюю не меньше его. Но он знал, что я человек дисциплинированный и сделаю все как надо, и я сделала. Он попросил меня выбрать надгробие. Я не могу выбирать за тебя, ответила я. Конечно же можешь, сказал он. И место для могилы тоже пришлось выбирать мне.

Ингмар Бергман не хотел речей, священник должен был произнести короткую речь, о певице и о хоралах вообще ни слова не говорили. Но когда он сказал: “И никаких поминок”, она запротестовала: “Раз ты хочешь, чтобы я все устроила, то мне и решать! Поминки будут обязательно, так нужно всем нам”.

Сперва Ингмар Бергман хотел уклониться от похорон жены, поскольку думал, что запаникует. При нем была сестра Ингегерд из Софийского приюта, которая в последнее время ухаживала за Ингрид Бергман, и они заказали в прокатной фирме “Фрей” автомобиль, чтобы добраться до кладбища в Рослагс-Бру под Норртелье. По дороге Бергман велел шоферу повернуть обратно в Стокгольм, но сестра Ингегерд уговорила его принять еще таблетку успокоительного. И режиссер приехал на похороны. “В итоге он испытал облегчение. Спросил меня: “Знаешь, почему я сегодня приехал? Не ради Ингрид, она бы меня поняла, если бы я запаниковал. Я приехал ради тебя”.

В своем завещании Бергман написал, что после его кончины он и жена должны покоиться бок о бок. Сначала и его тоже предполагали похоронить на кладбище Рослагс-Бру. Но позднее он передумал. “Когда я умру, ты перевезешь ее на Форё”, – сказал он свояченице. Сам он был не в силах, а уговаривать детей Ингрид Бергман не хотел. Их взаимоотношения не позволяли ему обратиться к ним с просьбой.

Оставалось только одно – надгробие. По поводу надписи

между Ингмаром Бергманом и Биргит де Геер возник небольшой спор. Еще за двенадцать лет до ухода режиссера она, по его желанию, велела выгравировать на надгробии и его имя. “Он спросил, не считаю ли я, что это глупо. Вовсе нет, ответила я. Только вот вдруг ты опять женишься? Нет, сказал он. С женитьбами покончено”.

Часть 3. Проект

У Ингрид Бергман режиссер наконец-то обрел дом. Можно так сказать. После десятилетий вероломства обрел защищенность, какой прежде не имел. Выходит, постоянной погоне за вдохновением, за новым стимулом настал конец? Тут можно лишь строить домыслы. По словам племянницы Бергмана Роуз Бриттен Остин, из всех дядиных женщин именно Ингрид больше всего напоминала ему Карин Бергман. Ингмар Бергман сильнее всего на свете любил свою мать, и в Ингрид нашел себе на остаток дней понимающую и заботливую спутницу жизни. С ней ему не грозили всевозможные досадные моменты, которые нередко случались и от которых он как родитель маленьких детей бежал. У Ингрид Бергман было не только много общих качеств со свекровью, встречаться с которой ей не довелось. Они и внешне походили одна на другую. Так что вполне можно предположить, что это усиливало у режиссера ощущение, что он обрел родной приют. К тому же июньским вечером 1951 года, после первой встречи с Гюн Грут, Карин Бергман записала в дневнике: “Она либо наивна, трогательна и мила, а тогда, возможно, в точности такая женщина, какая нужна Ингмару, либо упорно хочет сыграть роль, и тогда это долго не продлится”. То есть мать считала, что знает: сыну требуется до самоотречения заботливая женщина. Протестующих и самостоятельных просят не беспокоиться.

Пер Люсандер, давний киноэксперт, сценарист, руководитель Гётеборгского городского театра и ректор Драматического института, полагает, что Ингрид фон Розен стала добрым гением Бергмана. Она побуждала его примириться – и с самим собой, и с многочисленными детьми. Теперь он будет вести себя как следует, начнет большой “примирительный отцовский проект”. Он собрал своих детей на Форё, и существует сделанное на его дне рождения в 1978 году классическое фото, где он с цветочным венком на голове сидит в окружении детей на крыльце дома. И выглядит совершенно довольным. Событие настолько уникальное, что “Афтонбладет” написала в газетном анонсе: “Впервые вместе: ИНГМАР БЕРГМАН И ВСЕ ЕГО ДЕТИ”. Мария фон Розен сидит с левого края, но тогда она еще не знала, что он ее отец.

До тех пор Бергман никогда не принимал на себя родительскую ответственность. Не желал играть роль отца семейства. Одна из дневниковых записей Карин Бергман от 1952 года весьма удачно резюмирует, в чем тут дело. Она писала, что его первая дочь оказалась как бы брошенной на произвол судьбы, поскольку ее мать Эльса Фишер-Бергман, по-видимому, не умела

позаботиться о ней, и что ей хотелось бы иметь возможность вмешаться. И дальше, об отсутствующем отце: “Да, интересно, как будет с Ингмаром, когда его дети начнут взрослеть и он почувствует их отчуждение”.

На старости лет, когда одиноко жил на Форё, он мог сказать: “Черт, как мне недостает актеров”. Не жены, не детей, а актеров, которых он выдвинул, воспитал и возвысил.

Третья жена Бергмана, Гюн, после развода получила степень доктора философии по славянским языкам и общалась с нобелевским лауреатом по литературе Иво Андричем. Она переводила его книги и вместе с сыном навещала писателя в его летнем доме в Херцегнови, на северо-западе Черногории. В 1971 году она опять собиралась туда, и Лилль-Ингмар Бергман помнит, как перед ее отъездом они попрощались в аллее на стокгольмской Карлавеген. Мать была в новом светло-зеленом летнем пальто. Вскоре после этого она погибла в дорожной аварии в тогдашней Югославии, и Ингмар Бергман подозревал, что аварию подстроили. Согласно Микаелю Тимму, он усматривал мотив в том, что она поддерживала контакт с оппозицией и помогала вывозить из страны рукописи.

Когда отец и сын, по инициативе режиссера, встретились перед похоронами Гюн, Ингмар Бергман сделал неловкую попытку сказать о ней несколько слов. “Когда я упрямо продолжил, он вдруг посмотрел на меня с холодным презрением, которое заставило меня замолчать”, – пишет Бергман в “Волшебном фонаре”.

Да, сыну отец казался чужим. Лет в десять – двенадцать он, возвращаясь из школы домой, заглядывал в почтовую щель на входной двери. Если отец заходил в гости, было и приятно, и ужасно, так что Лилль-Ингмар предпочитал на всякий случай лишних несколько раз обойти вокруг квартала и дождаться, когда отец уйдет. “Я не хотел чувствовать, что меня встречают без любви и радости”. А отсутствующий отец не ощущался как большая потеря. “Расти без него было для меня если и не лучше, то, по крайней мере, проще”.

Однако порой отец и сын общались без проблем. В 1961 году Лилль-Ингмару довелось присутствовать на одной из репетиций отцовской постановки “Похождений повесы” Игоря Стравинского в Королевской опере. Это было замечательно, отец находился в своей стихии и в прекрасном настроении. Как мальчишки-ровесники, они проверяли техническое оборудование и вместе управляли громовой машиной. Почти весь день провели в Опере, на сцене и за сценой, сын познакомился с певцами. “Мы получили

огромное удовольствие”, – вспоминает Лилль-Ингмар Бергман. Позднее он также присутствовал на съемках “Часа волка”, и они вместе ходили на первый показ “Крестного отца” Фрэнка Форда Копполы.

Сын очень хотел потрафить отцу. Виделись они нечасто, а когда виделись, он нервничал. Словесные залпы иной раз хлестали как бич. Ингмар Бергман был способен оборвать того, с кем разговаривал, вернее, к кому обращался. Не терпел, чтобы его речь перебивали даже самыми невинными репликами. Зять Пол Бриттен Остин называл его “кока-кольным крокодилом”, намекая, с одной стороны, на его популярность, а с другой – на то, что он мгновенно обрубал комментарии собеседника.

По словам племянницы Бергмана, Вероники Ролстон, он, в точности как его мать Карин, обычно целиком сосредоточивался на человеке, с которым говорил в данный момент. Был доброжелателен, любопытен и заинтересован. За несколько минут разговора хотел узнать как можно больше, чтобы определить, какое место занимает этот человек. Но в таких случаях действовал этакий неписаный договор. Тот, с кем Бергман говорил, был не вправе отводить взгляд и комментировать одновременные высказывания других, поскольку он воспринимал это как несусветную обиду, почти как оскорбление.

Пер Люсандер считает, что Бергман относился к своим детям так же, как к своим актерам в театре и кино. Вероника Ролстон утверждает, что она и остальные члены большой семьи играли в мире режиссера второстепенные роли, а второстепенная роль не может иметь претензии к главной, которую исполнял сам Бергман. Это нездоровое смешение ролей в частной жизни с ролями в жизни профессиональной стало типичным для манеры Ингмара Бергмана общаться с окружающими. Последствия его *modus operandi* расхлебывали другие – дети, жены, любовницы, коллеги.

> По сути своей Ингмар не был злым, но до такой степени вечно изнывал от страха, что ему волей-неволей приходилось держать все под контролем. Наказание, какое он устанавливал, когда кто-нибудь отступал от назначенной роли, или брошенный им взгляд располагались на том же уровне, что и страх, какой испытывал он сам. Но если он сам решал, что такой-то и такой-то – в рамках его планов – получит главную роль, то всячески поощрял своих актеров. Коль скоро они понимали ситуацию и осознавали рамки, он давал им огромную свободу, и они отвечали ему предельной

лояльностью, любили его, а он любил своих актеров.

На Форё, в связи со своим шестидесятилетием, Бергман, стало быть, начал большой примирительный отцовский проект. Но вообще-то идея принадлежала не ему, а жене. Поздравления детей он принимал в постели, в ночной рубахе и с дробовиком под рукой – им он обычно отпугивал народ, вторгавшийся в его владения. Когда дети сидели у большого бассейна в солярии, который он прозвал “обезьянником”, он снимал их на восьмимиллиметровую камеру. Устраивал киносеансы в собственном кинотеатре, и тогда, как говорит Лилль-Ингмар, можно было украдкой понаблюдать за отцом. Они были в его среде, и никаких требований не предъявлялось.

Еще они подолгу разговаривали наедине в его кабинете. Могли говорить часами. Классное время, как выражается Лилль-Ингмар. Речь шла о Гюн, об отношениях, обо всем на свете. “Для меня это было удовольствие. Тогда он брал на себя ответственность, на свой лад. Я держался в разговоре очень открыто и сказал ему, что не испытываю горечи и очень его люблю. После я радовался как пташка”.

Было бы странно, если бы на всех детей Ингмара Бергмана оказалась одна правда. Как-никак их девятеро, сыновья и дочери шести разных женщин. Если Лилль-Ингмар, несмотря ни на что, рисует весьма светлый портрет отца, то его сводная сестра Анна Бергман воспринимает режиссера намного мрачнее. Об этом она пишет в своей книге “Не папина дочка”. Анна Бергман жила в Лондоне и была замужем за полицейским Питером Брауном. В 1967 году у них родился сын, Матс Микаель Бергман Браун, сокращенно Микки.

Однажды она получила письмо от Катинки Фараго, секретаря и продюсера у Ингмара Бергмана, с сообщением, что Бергман приедет в Лондон и хотел бы навестить дочь. Детские воспоминания Анны Бергман об отце большей частью отмечены его постоянным отсутствием; когда же появлялся, он пугал ее. Теперь она надеялась, что при встрече с внуком его сердце откроется. Но вышло иначе. Режиссер с неудовольствием посмотрел на Микки, игравшего на полу. “Убери из комнаты этого ползучего зверька”, – приказал он. Вечером, когда мальчик уснул, отец и дочь пошли прогуляться. Помимо дождя, эта прогулка запомнилась Анне Бергман только тем, что отец говорил о женщине, которую любил двадцать лет. Рассказывал, что она замужем, но у них есть общий ребенок и что этот малыш очень много для него значит. Анна Бергман огорчилась и спросила себя, почему отец не мог точно так же заботиться о ней. Она

поинтересовалась, знают ли об этом все остальные, и отец ответил, что знают. Но он солгал.

Впервые Анна Бергман увидела эту женщину и их ребенка на Форё в 1978 году. Встреча братьев и сестер была подарком Ингрид Бергман мужу на день рождения. “Он стал старше и закаленнее, а все дети выросли и сами отвечали за свою жизнь. В нем мы больше не нуждались. Казалось, скорее он до некоторой степени нуждался в нас”, – пишет Анна Бергман в “Не папиной дочке”. Спустя четверть века она уточнит, что писала тогда. *I think it’s better that it reads We didn’t need him anymore, but then again, we never had him* ’[39].

Итак, дети тогда впервые собрались все вместе. Юбилейный ужин состоял из коронного блюда Ингрид Бергман – телятины под сливочным соусом, молодого картофеля и салата, а к ним сколько угодно шампанского. Режиссер произнес речь и сказал, что это станет доброй традицией. Захмелев от шампанского, он сообщил, что любит их всех и что они хорошо устроили свою жизнь. Потом он спросил Анну Бергман, чувствовала ли она, что у нее есть отец. Она ответила, что не чувствовала, хотя очень хотела.

Перед отъездом с Форё она спросила, есть ли у нее шанс получить роль в каком-нибудь его фильме. Нет, ответил он, об этом и речи быть не может. Но, к ее удивлению, позднее она получила от него сценарий “Фанни и Александра” с припиской, не хочет ли она сыграть маленькую роль Ханны Шварц. Она согласилась. За плечами у нее была многообразная актерская карьера в кино и на телевидении, и роль в крупнейшей работе знаменитого отца казалась весьма заманчивой.

Хотя на своем шестидесятилетии Ингмар Бергман говорил, что встреча детей на Форё станет традицией, Анна Бергман никогда не чувствовала себя там как дома. Ни ей, ни остальным братьям и сестрам не разрешалось приезжать туда когда заблагорассудится. Бассейном они могли пользоваться только с часу до трех дня. По будням садиться вместе за стол было немыслимо. “Жевать всем скопом вовсе не забавно”, – говорил Бергман. Чтобы зайти к нему, следовало заранее попросить позволения. Показывая фильмы в своем кинотеатре, он желал, чтобы затем состоялось обсуждение. Когда обсуждение шло не так, как ему хочется, он говорил: “Если рассчитываете добиться своего, чертенята, я вас убью!” Как пишет Анна Бергман, было неясно, шутит он или говорит всерьез. Он что же, не хотел, чтобы они преуспели в жизни? По крайней мере, их успехи не должны достигаться за его счет, к такому выводу пришла Анна.

> Ингмар сидел на своем острове как паук, затягивал сети и пожирал нас одного за другим, а уж если с нами приезжал чей-нибудь друг или возлюбленный, добыча была еще лакомее. Однажды я доверила ему щекотливый секрет насчет моего возлюбленного. А за ужином, выпив несколько бокалов вина, он выдал мой секрет. Этого я ему не простила.

Не простила она ему и что при монтаже он максимально урезал ее и без того скромное участие в “Фанни и Александре”.

В 1987 году все братья и сестры собрались однажды вечером в гостиной режиссера. Бергман говорил о себе и своей второй жене Эллен, матери Анны Бергман. Удобный случай, подумала Анна, рассказать отцу, что она написала книгу о своей жизни и рассказала там о встрече двадцатилетней давности в Лондоне, когда он ей сообщил, что у него есть ребенок от замужней женщины. Собственные его мемуары выйдут осенью того же года, и там он ни словом не упоминает об этом ребенке.

> Наступила мертвая тишина. Ингмар поспешно встал, взял в руки трость и в потемках гнал меня от Хаммарса [жилище Бергмана. – *Авт.*] до Энгена [второй из его домов. – Авт.], крича: “Я тебя убью!” Сломя голову я примчалась в гостиную Энгена. Я смотрела на него, он опустил трость и сел на диван. “По-моему, тебе надо уйти”, – сказала я и поцеловала ему руку, чем весьма его озадачила. Он ушел, —

рассказывает Анна Бергман.

“Не папина дочка” вышла в 1988-м, и рассказ о встрече в Лондоне в книге остался, вместе с данными о замужней женщине, названной по имени, и о ребенке. Она не видела причин сокращать текст. Ведь на той вечерней прогулке под дождем отец сказал, что все уже знают про этого ребенка, и дочь по-прежнему так думала, когда писала свою книгу.

Минуло десять лет, прежде чем он снова связался с Анной Бергман. Правда, не лично, а через Аннину старшую сестру Эву Бергман. “Я резко сказала Эве, что, если он хочет, чтобы я приехала, пусть, черт побери, позвонит сам! И он позвонил. И сообщил, что Ингрид, лежа на больничной койке, сказала ему: “Помирись с Анной”. Они встретились летом, и первым делом он спросил у дочери, нуждается ли она в деньгах. Так никогда и не попросил прощения за то, что солгал ей, говорит она.

Примечательно, что история Марии фон Розен стала сенсацией лишь в 2004-м, когда она сама решила рассказать, кто

ее биологический отец, хотя информация о ребенке уже содержалась в книге Анны Бергман, вышедшей шестнадцатью годами ранее.

С одним из детей Ингмар Бергман помириться не сумел. Ян Бергман выучился на железнодорожного машиниста, а позднее стал театральным режиссером. Он ставил спектакли в разных театрах, больших и маленьких. В 1987 году он был ассистентом у отца, когда тот ставил “Долгий день уходит в ночь”[40], а в 1992-м получил общественное признание, поставив телеверсию “Маскарада”, по сценарию Свена Дельбланка, где, в частности, одну из ролей сыграл Юхан Рабеус. Впоследствии Рабеус вспоминал, что одержимостью в работе Ян Бергман походил на своего отца.

Вероятно, между отцом и сыном имело место соперничество. Ян Бергман пригласил отца на одну из своих премьер, но тот не пришел. Позднее, в больнице, умирая от лейкемии, сын отказал отцу в свидании. Ингмар Бергман так и не понял почему. “В последний год жизни его обуяла какая-то ненависть ко мне. Ужасно трагично и совершенно непостижимо. Тяжкая история”, – сказал он Микаелю Тимму. Ян Бергман скончался в марте 2000 года.

Примирительный проект Бергмана был не вполне естествен, пожалуй, большей частью оттого, что инициатива принадлежала его жене Ингрид, а не ему самому. Во всяком случае, “отцовская” часть, безусловно, имела свои изъяны. Поэтому конечно же хорошо, что он хотя бы мог помочь детям материально. Еще в 1995-м он обещал Марии фон Розен купить ей за 450 тысяч крон имение Ветхёвда под Норртелье, а через пять лет подарил миллион Матсу Бергману; оба подарка были авансом в счет будущего наследства.

Проект включал и его давних подруг. Хотя он их оставил, но всегда относился к ним с огромным уважением – как к женщинам, способным обнаружить свой потенциал. Они, говорит Вероника Ролстон, могли из-за него оказаться на грани гибели, а затем снова подняться, это вызывало у него восхищение. “И для него было хорошо, что они поднимались, что он не оставлял за собой трупов”. По крайней мере, двух из них Бергман приглашал в свой готландский рай. На склоне дней он мог позволить себе поразмыслить над своей жизнью, над выборами, какие делал, и над ущербом, какой причинил. Когда он был молод и горяч, все его бытие зависело от новых и новых женщин, от нового вдохновения – иначе жизни не было, она бы остановилась, – а потому он не мог, или не хотел, погрязнуть в нечистой совести.

Рассудком отверг вину, поскольку считал, что муки совести ни коей мере не соотносятся со страданиями, какие он причинил. Иными словами, интеллектуализировал проблему, вместо того чтобы поглубже вникнуть в свою эмоциональную жизнь.

Но на старости лет режиссер, вероятно, обрел некий покой и душевное умиротворение, и, может статься, ветреный остров в Балтийском море как раз и был подходящим местом для аналитического эпилога.

“Когда он постарел и, сидя на Форё, снова и снова перебирал все это в памяти, то, по-моему, действительно пытался вознаградить этих женщин и детей”, – говорит Вероника Ролстон.

Кэби Ларетай и Лив Ульман описывают визиты на остров в своих мемуарах, причем в примирительном тоне. Они встречались там как добрые старые друзья, которые могли сообща вспоминать, оглядываясь вспять на годы, когда были молоды и влюблены.

Ингрид Бергман, видимо, не возражала против этих встреч, напротив, в глазах давних возлюбленных мужа она предстает как образцовая хозяйка. “Однажды во вторник Ингрид, как всегда, надела забавные белые гольфы и вязаное полупальто, которое видало лучшие дни, но осталось элегантным. Заплетенные в косу волосы лежали на спине”, – пишет Кэби Ларетай. Когда Лив Ульман приехала на Форё вместе с дочерью Линн, она увидела в Ингрид всего лишь веселую загорелую женщину, более уверенную и спокойную, чем некогда она сама. Но все же легкий удар под ложечку – новая жена, стоящая на пороге, напомнила ей, как она сама, бывало, встречала гостей.

Ульман надеялась, что Ингрид заботилась о режиссере лучше, чем удавалось ей. Учитывая, что Ингмар Бергман не бросил свою пятую и последнюю жену, наверно, так оно и было.

The end [41]

После года борьбы с неожиданно настигшим ее раком желудка Ингрид Бергман скончалась 20 мая 1995 года, в возрасте всего лишь шестидесяти пяти лет. Сперва ее похоронили на кладбище Рослагс-Бру в Норртелье, но после смерти Ингмара Бергмана останки перенесли на Форё, чтобы супруги воссоединились.

Мария фон Розен перевезла урну с прахом матери на ветреный остров к северу от Готланда. Для поездки она позаимствовала у Яна-Карла фон Розена его “вольво-740”, который фон Розен с женой прозвали Старым Негром. Трагикомическая ирония обстоятельств побудила Марианну фон Розен сказать мужу: “Мария везет останки Ингрид на твоей машине к могиле Ингмара!”

Через несколько месяцев после кончины жены режиссер составил завещание, где распорядился, что “все имущество в равных долях и с полным правом владения отойдет моим детям”. Годом позже он, судя по всему, вспомнил важную деталь. Ведь в его случае несколько расплывчатая формулировка “моим детям” наверняка бы вызвала замешательство, а разные трактовки числа наследников могли бы иметь разрушительные последствия при описи имущества после его смерти.

Таково одно из объяснений внесенной режиссером поправки. Второе сводится к тому, что ультиматум Яна-Карла фон Розена по поводу наследства для Марии в конечном итоге привел к должному результату.

Как бы то ни было, Бергман своим характерным почерком, слегка дрожащими крупными буквами приписал засвидетельствованное уточнение:

ДОПОЛНЕНИЕ К ЗАВЕЩАНИЮ
МАРИЯ ФОН РОЗЕН, МОЯ И ИНГРИДИНА
ДОЧЬ, РАЗУМЕЕТСЯ, РАЗДЕЛИТ МОЕ
ИМУЩЕСТВО С ОСТАЛЬНЫМИ ВОСЕМЬЮ
ДЕТЬМИ (И НЕ ПРИМЕТ НАСЛЕДСТВА
ОТ СВОЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОТЦА ЯНА-
КАРЛА ФОН РОЗЕНА). ТО ЕСТЬ РЕЧЬ ИДЕТ
НЕ О ВОСЬМЕРЫХ, А О ДЕВЯТЕРЫХ ДЕТЯХ.
ПОСКОЛЬКУ Я ОБЕЩАЛ МАРИИ КУПИТЬ
ДЛЯ НЕЕ ВЕТХЁВДУ ЗА 450 000 КРОН,
ОЗНАЧЕННАЯ СУММА ВЫЧИТАЕТСЯ ИЗ ЕЕ
НАСЛЕДСТВА.

ПИШУ ВСЕ ЭТО В ЗДРАВОМ УМЕ И ТВЕРДОЙ ПАМЯТИ.

Эпилог. “Ибо Твое есть Царство и сила и слава”

Двадцатого декабря 1986 года в Драматическом театре состоялась премьера шекспировского “Гамлета” в постановке Ингмара Бергмана. В главной роли выступил Петер Стормаре, Офелию играла Пернилла Аугуст.

“Один из лучших моих спектаклей, один из самых весомых, сильных, ярких, сердитых, какие я ставил”, – сказал режиссер.

Его оценку разделяли не все. Напротив, на культурных страницах газет разгорелись жаркие споры. Все началось с рецензии Туве Эллефсен, критика из “Дагенс нюхетер”. По ее мнению, бергмановская версия “Гамлета” в лучшем случае сыровата, изобилует утрированными и прямо-таки нелепыми элементами. “Если Бергман хотел досадить мне, то он преуспел! Спонсированный УИРС[42] примитивный реализм в квадрате” и “Нет, это не Шекспир, достойный Бергмана. Или не Бергман, достойный Шекспира” – вот так писала она, нарушая тем самым неписаные правила этикета: не разносить бергмановский спектакль, в особенности поставленный на национальной сцене.

В “Экспрессене” Бьёрн Нильссон и Агнета Плейель поставили рецензию Эллефсен под сомнение, на что она ответила статьей под заголовком “Можно ли быть рецензентом?”. Тут в спор вмешалась Мадлен Гриве, главный редактор журнала “90-е”. В двух выразительных статьях в “Афтонбладет” она обрушилась на “комнатных собачек” режиссера и на “подхалимаж” вокруг Ингмара Бергмана, который с ее точки зрения виноват как минимум в четырех мертвых и скучных постановках на королевской сцене – “Фрёкен Жюли”, “Игре снов”, “Короле Лире” и “Гамлете”. Рецензенты, по мнению Гриве, оказались досадно льстивы, и она расширила дискуссию, затронув все, связанное с персоной Ингмара Бергмана.

Оба критика Бергмана в свою очередь стали объектами массированной враждебной кампании. Однажды ночью Туве Эллефсен позвонил Петер Стормаре, о котором она писала, что в роли Гамлета он рисовался заносчивостью и иронией, но в конечном счете производил лишь “утомительное, однообразное, а местами вопиюще мелодраматичное” впечатление. Такое безнаказанно не пишут. В довершение всего Стормаре выглядел на сцене как сам Бергман, в шапке с кисточкой и кожаной куртке, да еще и заимствовал у режиссера язык тела, и звонил он в ярости: “Если попробуешь подойти ко мне ближе чем на десять

метров, я с тобой разделаюсь”.

Эллефсен пришлось услышать столько ругани по поводу своей рецензии, что в результате она и ее муж Пер Люсандер потеряли кое-кого из близких друзей. Эллефсен допускала, что актер, быть может исполняющий главную роль своей жизни, но получающий на нее плохие рецензии, отбивается любыми способами, и не стала заявлять в полицию, что Стормаре грозил ее убить. Однако она попросила свое начальство связаться с Драматическим театром и сообщить, что один из актеров театра угрожал рецензентке. Ее муж Пер рассказал об инциденте тогдашнему руководителю театра Ларсу Лёфгрену, но извинений не последовало, и дело сдали в архив. Лёфгрен полагал, что как руководитель Драматического он не имеет касательства к действиям своих актеров за пределами театра, от актера можно ожидать реакции на плохие и субъективные рецензии, критик попросту должен с этим мириться, Эллефсен следовало бы обратиться в полицию, если она считала, что ей угрожают, но, с другой стороны, беспокоиться совершенно не о чем, поскольку Стормаре самый мирный человек на свете.

Позднее Ингмар Бергман пригласил супругов Эллефсен и Люсандера на Форё, что они восприняли как своего рода примирительный жест. Но приглашение режиссера отклонили. Пер Люсандер понимал, что если они примут приглашение, то окажутся пойманными в его сети, совершенно беззащитные на острове посреди моря.

“Афтонбладет” незамедлительно откликнулась на статьи Мадлен Гриве, поместив выступления нескольких известных бергмановских актеров в защиту режиссера: “Это беспардонные нападки. Стыдно пытаться делать за счет Ингмара Бергмана собственную карьеру. А именно так она и поступает, девица, написавшая статью” (Биби Андерссон), и “Сценарий для мусорной корзины. Это написано человеком, который смотрит на работу Драматического театра так же, как черт на Библию” (Ярл Кулле).

Руководитель Драматического Ларс Лёфгрен считал, что Гриве не мешает выучить “правила игры” и что она прямо-таки враждебна театру, не менее критична была и начальница информационного бюро и маркетолог Берит Гулльберг. Даже “Экспрессен” включился в этот хор и выделил своему корреспонденту по культуре Бьёрну Нильссону целую полосу, чтобы поиздеваться над упрямицей. Он отмел ее критику как “обывательский плевок”.

Коллеги журналисты улучили момент, чтобы хорошенько пнуть всеобщую мишень Гриве: ее критика Бергмана все равно что “моча на снегу” и отображение целого семейства “бывших”,

последнее метило в отца Гриве, легендарного спортивного журналиста. Впрочем, кое-кто разделял критику Гриве. Журналист и переводчик Марио Грут (родственник Хуго Грута, экс-мужа третьей жены Ингмара Бергмана, Гюн Грут) заявил, что Драматический театр – “место, которое Бергман может использовать в качестве игровой комнаты, пока не уйдет на пенсию. Ничего хорошего тут нет. Бергмановские спектакли утратили баланс. Они вполне современны, но в них не чувствуется естественности. Бергман – великий режиссер, только, увы, вкус у него плохой”. Словесная война получила международный резонанс, о дебатах сообщал американский “Тайм”.

Впрочем, к Мадлен Гриве стекались и выражения симпатии. Она получала письма и телефонные звонки от актеров и других людей, кому досталось при Бергмане. Собственными ушами она слышала, как тем, кто не выдерживал режиссерского деспотизма, грозили погубить карьеру.

Через неделю после ее первой статьи “Афтонбладет” писала: “Врачи: Бергману нужен покой”. Режиссер переутомился, и тяжелая работа последних месяцев, видимо, брала свое. Постановку “Вакханок” пришлось отложить. А Гриве позвонили из Драматического.

> Они сказали, что Бергман заболел и, возможно, умрет и что в этом виновата я. Тут я вправду испугалась. Почувствовала, как почва подо мной заколебалась. В последующие дни я чуть ли не начала исподтишка поглядывать на газетные анонсы. Ведь ничего подобного вовсе не желала. Просто хотела начать театральные дебаты о форме, об одеревенелости, о плохом исполнении Ярлом Кулле роли в “Короле Лире” и о шаблонах в “Гамлете”, —

говорила Гриве в моей статье, опубликованной в “Нёйесгайде” летом 1993 года.

В профессиональной жизни Бергману часто приходилось сталкиваться с резкими оценками его творчества. Трудно понять, почему именно два теперешних рецензента поразили его до глубины души. Может быть, как полагают некоторые, отнюдь не всегда реагирует сам кесарь, может быть, при малейшем сомнении ретиво бросаются на подмогу его придворные? Во многих случаях, безусловно, так оно и есть. Тем не менее как раз этот инцидент так подействовал на Бергмана, что у него не просто случился рецидив давних спазмов желудка и диареи. “Однажды на Карлаплан, 10, он вышел на балкон, размышляя о

самоубийстве. Вряд ли с серьезным намерением, скорее такие размышления были способом покончить с депрессией и уменьшить стресс", – пишет Микаель Тимм в "Страсти и демонах".

Итак, вне всякого сомнения, власть Ингмара Бергмана не ограничивалась частной жизнью, с неменьшей силой она отражалась и на шведской культурной жизни. И утверждение это вовсе не рискованное, а совершенно очевидное. Но порой, вот как сейчас, есть повод вспомнить некоторые события, чтобы высветить, как его слова выводили других потентатов из игры или, по меньшей мере, повергали их в дрожь. И как его власть становилась барьером для других режиссеров, чья личность или работа пришлись ему не по вкусу.

В конце 1980-х, когда Шведскому радио предстояли серьезные сокращения, Пер Люсандер как раз получил от Ингмара Бергмана театральный сценарий – "Душевное дело".

Сценарий реализован не был, потому что именно в это время Бергман расставался с Лив Ульман, для которой изначально писал роль. Люсандер симпатизировал Бергману, и впоследствии этот киноэксперт немедля откладывал все прочие сценарии, чтобы сосредоточиться на том, что написан великим режиссером. А как руководитель Радиотеатра он имел совершенно четкую задачу – восстановить этот богатый традициями культурный институт.

Бергман спросил, кто, по мнению Люсандера, мог бы сыграть главную роль в драме. Люсандер не вполне уверенно назвал Джейн Фридманн, актрису Стокгольмского городского театра. Вовсе не самоочевидно предлагать кандидатуру из главного конкурента любимого Бергманом Драматического. Но Фридманн была дочерью актрисы Ванды Ротгардт, которая снималась в фильме Густава Муландера "Ева", основанном на идее Бергмана. По словам Люсандера, некогда Бергман был влюблен в Ротгардт, которая была старше его на тринадцать лет, и теперь режиссер счел, что будет интересно поработать с ее дочерью.

Затем тогдашний руководитель Шведского радио Уве Юансон принял решение о сокращениях, чем подрежет крылья театру, который Люсандеру поручено развивать. Люсандер рассказал Бергману о происходящем. А однажды утром, когда он пришел на работу, оказалось, что третью часть персонала театра перевели в другие отделы. Люсандер посчитал, что руководство радио во главе с Юансоном вмешивается в творческую работу, в частности требуя более "легкодоступного" репертуара, и что радиотеатру выделено слишком мало средств, а потому заявил протест против

сокращений.

И тут на газетных киосках страны появился анонс “Экспрессена”. Газета сообщала, что Ингмар Бергман выразил протест против сокращений бюджета Шведского радио и потребовал отставки Юансона. “Я просто рассвирепел, услышав, как действует руководство радио”, – сказал режиссер. Бергман рассчитывал на сотрудничество с Люсандером, но с его уходом потерял всякий интерес к постановке своей радиопьесы. “Вся культурная Швеция должна бы выступить с протестом против случившегося”.

На следующий день после бергмановской атаки на Уве Юансона “Экспрессен” информировал, что определенные культурные круги Швеции заявили протест против сокращений, предпринятых руководством радио. “Культурная битва, – сказал актер Свен Воллтер. – Ингмар Бергман совершенно прав. И угроза направлена не только против радиотеатра, но и против всей нашей культурной жизни”.

Руководитель Шведского радио упорно стоял на своем решении, но, когда Театральный союз под председательством Тумаса Больме пригрозил блокадой всех радиопередач, где участвовали его члены, руководство радио уступило, благодаря посредничеству бывшего начальника Люсандера в Стокгольмском городском театре Ларса Эдстрёма, который с 1983 года возглавлял Всешведский союз театров, а ранее был заместителем Больме как председателя Театрального союза.

Бергман добился своего. Премьера “Душевного дела” состоялась 10 января 1990 года. С Джейн Фридманн в главной роли.

Режиссера Сюзанну Остен, которую я интервьюировал для статьи в “Нёйесгайде”, причисляли к особой категории “питомцев Бергмана”, иначе говоря, к тем, кто идет по его творческим стопам, – так сказать, аналог “парней Пальме”[43] в сфере культуры. Однако отношение Остен к Бергману было весьма противоречиво, особенно после фильма “Мама”, где она рисует карикатурный портрет Бергмана, который, как она считает, не помог своей коллеге Герд Остен в ее кинорежиссерской карьере.

Герд Остен (род. 1914) работала секретарем на съемках бергмановского фильма “Корабль идет в Индию” (1947), но известность снискала в первую очередь как один из лучших в стране кинокритиков (она писала под псевдонимом “Павана”) и как представительница нового молодого поколения авторов и сценаристов, которые сформируют шведское кино. Остен была лингвистически одаренной свободной журналисткой, с корнями в

гётеборгском высшем обществе; после нескольких браков у нее развились симптомы мании преследования. В 50-е годы ей поставили диагноз шизофрения.

Фильм “Мама” рассказывает о ее борьбе за то, чтобы делать фильмы, а Хельге Скоог играет режиссера “Боссе”, который дает Герд Остен ряд профессиональных советов: как следует выписывай финал; набирайся опыта; поработай секретарем на съемках моего фильма. “Боссе” – слегка замаскированный Бергман, в берете и кожаной куртке.

Возможно, именно анализ, какому подвергала фильмы Бергмана Герд Остен, и вызвал у него желание воспрепятствовать ее карьере. Как известно, он враждебно относился к тем критикам, которых считал ниже своего интеллектуального уровня и которые тем не менее смеют прикасаться к его творчеству, трактовать его и оценивать, разрушать его магию, как выразилась дочь, Анна Бергман.

Фактически рецензии Герд Остен оставляют впечатление смеси критики и похвал. В критических пассажах она писала, как бергмановские “нравоучения” начинают подминать кинопроизводство. Она поместила его фильм “Тюрьма” (1949) в так называемую линию сороковых годов в шведском кино, поставила его рядом с “Пока город спит” коллеги и друга Бергмана, Ларса-Эрика Челльгрена, и назвала оба фильма “нравоучениями”. Бергман, писала Остен, не сумел предложить ничего другого, кроме “бездонного дефетизма, который не мог не пугать публику”.

О “Летней игре” 1951 года она отозвалась так: Бергман пытался вернуть себе пропавший блеск, но не “достиг подлинного контакта с настроем, который пытается вызвать, – настроем летних каникул и первой любви. Эпизоды выглядят подслащенными, малоестественными. Идиллия не Бергманова стихия”.

Остен наградила пинками и Виктора Шёстрёма, почитаемого Бергманом старого ментора и режиссера, которому он отдал главную роль в “Земляничной поляне”. Она писала, что его фильм “Горный Эйвинд и его жена” (1918, год рождения Бергмана!) не относится к числу фильмов, ставших классикой. По ее мнению, он не более чем “бурно жестикулирующая мелодрама”. Вероятно, этого оказалось достаточно, чтобы вызвать негодование Бергмана.

Сюзанна Остен была в юности особой восторженной. Искала контакта с сильными режиссерами и еще в семнадцать лет написала Ингмару Бергману письмо, но ответа не получила. Сейчас она думает, что ему бы следовало отреагировать на ее

фамилию, но, возможно, он именно так и сделал.

Мало-помалу она все же завязала контакт с Бергманом. В 1982 году, когда в кинотеатрах демонстрировалась “Мама”, он позвонил ей и похвалил фильм. Сюзанна Остен очень обрадовалась, в особенности оттого, что речь там идет о ее матери и о Бергмане, о патриархальных обстоятельствах в шведской кинематографии и о женщине, которой так и не довелось снимать фильмы.

Но через несколько лет, когда она послала ему сценарий “Братьев Моцарт”, ответ заставил себя ждать. Лишь за неделю до начала съемок пришло письмо от Бергмана, где он писал, что худшего сценария ему читать не доводилось и что он бесконечно разочарован. Для Остен это был тяжелый удар, но она проглотила обиду и спрятала письмо. Не сказала ни слова никому из съемочной группы и начала работать по плану. Но так и не смогла отделаться от ощущения, что таким рафинированным способом Бергман отомстил ей за то, как изображен в “Маме”: нагнал на нее панику прямо перед началом съемок “Братьев Моцарт”. Уж кто-кто, а он знал, какой эффект производят его слова.

Однако он еще не вполне разделался с Сюзанной Остен. Ее фильм “Ангел-хранитель” (1990) был номинировал по семи категориям на престижную премию “Феликс”, учрежденную Европейской киноакадемией, но награду получила только Малин Экс за роль второго плана. Главную премию отдали итальянскому фильму “Открытые двери”.

Сюзанна Остен никогда не забудет, какое испытала разочарование, когда, приехав со съемочной группой на фестиваль в Берлин, увидела, что табличку, указывающую их места во время церемонии награждения, поместили в дальнем конце, – не слишком деликатный способ сообщить о грядущей неудаче.

Что же произошло? ЕКА была создана в 1989 году, первым ее председателем стал Ингмар Бергман, он-то и возглавил жюри. Но вручение призов происходило без него, он уже покинул Берлин. Один из моих источников, хорошо знакомый с событиями вокруг премии “Феликс” 1990 года, сказал, что Бергман либо не одобрил фильм как таковой, либо посчитал, что Остен стала чересчур успешной. “Представить Ингмару Бергману ни много ни мало аж семь номинаций – это уже перебор”.

Самой Остен жюри сообщило, что Бергман попросту отсеял “Ангела-хранителя” и проследил, чтобы приз достался фильму, который даже не номинировался. Вот почему она написала ему письмо и спросила, что побудило его действовать таким образом.

> Он спросил, можем ли мы обсудить это по телефону, я ответила, что нет, и мы встретились. Меня предупреждали, чтобы я “не лезла на рожон”, старалась задавать вопросы дружелюбно. Опасались, как бы я вконец все не испортила. Но ведь я винила его в том, что он поступил так от зависти. На этот фильм у меня были замечательные рецензии, в частности, писали, что он совершенно в духе Бергмана. Могу себе представить, что он хотел сам решать, кто его последователь, —

говорит Остен.

Когда она в конце концов встретилась с Бергманом, произошла дружелюбная стычка. Он сидел закутанный в пледы, с виду совсем старик.

> Я спросила, по какой причине он решил, что фильм недостоин своих номинаций. Он затруднился ответить с чисто художнической точки зрения. Ему-де не понравилась операторская работа, а вдобавок он прицепился к одному из актеров, который, по его мнению, играл плохо. Мол, в свое время был недурен, но теперь уже нет.

Сюзанна Остен называет это проявлением бергмановской *dislike* [44]. По ее словам, у него было много таких *dislikes,* и она рассказывает о другом шведском фильме, который он якобы не позволил экспортировать в США. Американцы хотели его купить, а он это не одобрил.

Мало-помалу Остен сумела отвлечься от огромного разочарования в связи с тем, что ее лишили желанного киноприза, который, вероятно, обеспечил бы ей европейский прокат, а значит, и больше денег на следующий фильм.

Летом 2012 года Сюзанне Остен предложили выступить перед публикой в “Центре Бергмана” на Форё, в самом сердце империи, и рассказать именно об этом – о себе, о своей матери, об Ингмаре Бергмане и о том, как он отнял у “Ангела-хранителя” шанс на международный успех. При жизни режиссера такое было невозможно. Должно быть, все обстоит именно так, как она говорила еще в 1993-м: “Когда он умрет, все захотят говорить о нем”.

Некролог Ингмара Бергмана. Как его сформулировать наилучшим образом? Можно без труда найти высокие слова, широчайшие взаимосвязи. Его империя приобрела во времена расцвета поистине гигантские масштабы. Самый прославленный

режиссер на свете, к которому другие великие режиссеры стояли в очереди, чтобы отдать ему дань уважения по случаю семидесятипятилетия, – Вуди Аллен, Акира Куросава, Этторе Скола, Федерико Феллини, сэр Ричард Аттенборо, Вим Вендерс, Жан-Люк Годар, Анджей Вайда.

“Ибо Твое есть Царство и сила и слава”, – писал журнал “Интриг”, недолговечный шведский аналог американского “Вэнити фэр”, в метком заголовке 1992 года. Обзор династии Бергман, сделанный журналисткой Леной Сванберг, свидетельствовал, что он сам, его дети, его актеры, поклонники, экс-жены, любовницы и друзья полностью доминировали в шведской культурной жизни. Его власть была огромна – чуть ли не монопольна. Концерн Ингмара Бергмана во всех подразделениях – кино и телевидение, театр, опера, книги, частная жизнь – работал блестяще. И когда в 1985-м пост руководителя Драматического театра стал вакантным, “Бергман быстро отложил все демократические процессы, посадил туда [Ларса] Лёфгрена и заложил основу нового золотого века театра”, – писала Сванберг.

Бергман печатался на великом множестве мировых языков и за свои “выдающиеся творческие достижения прежде всего в сфере музыки, сценического искусства и литературы” получил престижную королевскую медаль *Litteris et Artibus*. Он был командором французского ордена Почетного легиона и почетным доктором Стокгольмского университета. Я мог бы заполнить не одну страницу, перечисляя знаки его грандиозных успехов и мировой славы. Но не стану. Написанного уже достаточно.

За долгие годы он до такой степени ловко отрежиссировал образ своей персоны, что, подобно, к примеру, Ингвару Кампраду[45], как бы закоснел в мифе о себе самом. Выдумки и исправления уводили его все дальше от правды, и в конце концов он стал пленником собственной легенды. И наконец, последние его фотографии. Словно тощая старая птица, наедине со своими воспоминаниями, он стоял, опершись на трость, чувствительные ноги надежно обуты в кроссовки, и смотрел на море с пляжа у подножия дома на Форё.

В почти трехчасовом фильме, снятом журналисткой и поклонницей Бергмана Марией Нюрерёд, он спокойно изложил текст о своей жизни. “Ингмар Бергман. 3 документа о кино, театре, Форё и жизни” (2003) финансировался Шведским телевидением и распространялся компанией “Свенск фильминдустри”; это документ о долгой деятельности, и его зарисовки весьма симпатичны. Но результату недостает критических вопросов и проблемности. Нюрерёд, моложе его на

тридцать семь лет, позволяет режиссеру вертеть собой, и видим мы обоюдный, беззастенчивый флирт. Когда Бергман на не очень твердых ногах выходит на каменистый пляж и смотрит на горизонт, зритель готов заключить старого вдовца в свое сердце и простить ему все прегрешения. Весьма великодушно, но делает из него кумира.

Для многих он конечно же был и остается человеком в берете и кожаной куртке, задумчивым и непостижимым. Для других, для тех, кто его знал, ему вдобавок присущи изрядная доля юмора и чуть ли не громовой смех. Он был проказник и к окружающим относился с по-детски эгоистичной беззаботностью. Значит, ответ на вопрос, как лучше всего сформулировать суждение потомков, вероятно, будет таков: Бергман был и тем, и другим, и всем, что в промежутке, в частности, самым настоящим поганцем. Подобная личность может быть только интересной и завораживающей. Прочтите, что пишет Эрланд Юсефсон в своей книге “Правдивые игры”:

> Считалось, что Ингмар Бергман представляет лишь одного себя. За это его презирали, считали этаким незрелым умником-подростком, причем многие из этих людей вообще-то завидовали его независимости. Злились на него также и потому, что он не исполнял той роли, какую ему навязывали, не сидел в одиночестве, с прыщавым лицом за уборной в Эстермальме и не онанировал под унылую трескотню высшего общества. Наоборот, Ингмара окружали самые красивые молодые актрисы, он был прилежен и обладал влиянием, сам создавал себе условия и то и дело становился отцом. Невольно напрашивалась мысль, что он трахался с таким усердием, просто чтобы вытеснить латентный гомосексуализм, и меж тем как разгневанная молодежь среднего возраста воевала с обществом и истеблишментом, нередко проникая в их нутро как пятая колонна, Бергман снова и снова занимался божественными и желудочными проблемами в больших поместьях. В порыве великодушия можно было прямо-таки пожалеть его.

Вот вам прекрасный некролог. “Правдивые игры” вышли в 1990-м, Бергману предстояло прожить еще семнадцать лет. Читал ли он книгу своего друга, я не знаю. Но если читал, то наверняка от души посмеялся. Причем во весь голос.

Благодарности автора

Очень многие помогали мне в работе над этой книгой и заслуживают быть названными поименно. Прежде всего это племянница Ингмара Бергмана Вероника Ролстон, которой я благодарен за щедрость, поддержку, ободрение и вдохновение. Она и ее сестра Роуз Бриттен Остин поделились ценными воспоминаниями и информацией. Лилль-Ингмар Бергман охотно рассказал о своем отношении к отцу. Анна Бергман через фейсбук присылала из своего дома в британском Винчестере (графство Хемпшир) ободряющие сообщения, а по электронной почте – ценные воспоминания. Яну-Карлу фон Розену я очень благодарен за его откровенный и мужественный рассказ об унижениях, какие ему пришлось вынести, а его жена Марианна фон Розен внесла ценные дополнения. Свояченица Бергмана Биргит де Геер вела свой рассказ с точки зрения сестры, что очень важно. Берит Фруди, Пер Люсандер, Туве Эллефсен Люсандер, Сюзанна Остен, Барбру Юрт ав Урнес и Биргит Нурлинд – все это люди, поделившиеся со мной опытом общения с Ингмаром Бергманом. Без их помощи эта книга не состоялась бы.

Отдельная благодарность – внучке Зигфрида Хайда, Гудрун Боу из Фергус-Фоллс, штат Миннесота, она нашла и прислала давние фотографии хайнского пастора и его семьи, а также Катарине Фурин, которая разыскала ее самое. Большое спасибо Тобиасу Хюбинетте, который помог мне сориентироваться в документации о нацистских симпатизантах в шведской церкви и о программе обмена между немецкими и шведскими школами. Спасибо Марине Финнес из отдела учета браков в налоговом ведомстве, обнаружившей документы, которые помогли мне продолжить разыскания; Монике Клейе из “Ню текник”; Ларсу Шенерфельту, чья работа об испанке оказалась для меня большим подспорьем; журналисту и писателю Андерсу Тунбергу, который навел меня на нужный след касательно Карин Ланнбю; Манне Хедену из Радиотеатра, отыскавшему важные газетные вырезки; Кристиану Шёстрёму, который перевел письма Зигфрида Хайда к Эрику Бергману, а также любезному персоналу Королевской библиотеки, Государственного архива, Военного архива, Стокгольмского городского архива, Налогового ведомства Висбю, Главного штаба, Аттундского губернского суда и многих губернских архивов.

Большое спасибо и Биргит Линтон-Мальмфорс, без чьих подборок и трактовок дневников Карин Бергман я бы не обошелся. Она проделала огромную работу, разбирая почти

нечитабельные закорючки пасторши.

И наконец, от всей души благодарю моего издателя Кристоффера Линда. Уже второй раз он оказал мне огромную поддержку щедрыми порциями сведений, оценок, энтузиазма, юмора и великодушия, а именно они и были главной предпосылкой моей работы.

Харриет Андерссон считала, что уже сказала о Бергмане все. Помимо считаных комментариев я был вынужден обращаться к книге интервью о ее жизни: “Харриет Андерссон. Разговоры с Яном Лумхольдтом”. С Биби Андерссон связаться не удалось, поскольку она перенесла тяжелый инсульт. Ее впечатления о Бергмане я заимствовал из ее мемуаров “Мгновение”. Кэби Ларетай дала лишь несколько скупых комментариев и от сотрудничества отказалась. Поэтому я воспользовался ее книгами о жизни с Бергманом – “Как бы в переводе” и “Куда ушла эта любовь?”. Лив Ульман тоже не согласилась на интервью, и я опять-таки обратился к ее книге “Изменения”. И наконец, Ёста Экман вообще не хотел больше говорить о Бергмане, он уже все сказал в книге “Дядюшка, который не хотел взрослеть”, так что я позаимствовал ряд эпизодов из этой книги.

К сожалению, ни Лена, ни Эва, ни Матс, ни Даниель Бергманы не пожелали дать интервью, как и Мария фон Розен. Было бы весьма важно узнать ее взгляд на отца и его отношение к ее матери. Линда Стэрн, дочь Кэби Ларетай и Гуннара Стэрна, тоже отказалась от интервью. Петера Стормаре я просил прокомментировать два его заявления – одно весьма серьезного характера, второе просто несколько нелестный отзыв, – но он просьбу отклонил.

Со старой нянькой Ингмара и Эллен Бергман Ингой-Лилль Андерссон, проживавшей в Гломмене под Фалькенбергом, мне удалось связаться, но встретиться мы не успели, она умерла. Хочу выразить теплую благодарность ее мужу Туру Андерссону, который любезно прислал газетные вырезки, сохраненные Ингой-Лилль.

Как обычно, писатель не может обойтись без надежного и умелого редактора. Лена Камхед вычитала мою рукопись и выправила небрежные ошибки. Если кое-какие в книге и остались, то целиком и полностью по моей вине.

И Анна, моя любимая жена! Ты была мне огромной поддержкой в этом порой тяжком процессе. Без тебя мне бы никогда не хватило сил!

Источники (выборочно)

Фильмы

Bergmans hushallerska av Tom Alandh (2009)

Den goda viljan av Bille August efter ett manus av Ingmar Bergman (l992)

Enskilda samtal av Liv Ullmann efter ett manus av Ingmar Bergman (l996)

Ingmar Bergman. 3 dokumentarer om film, teater, Faro och livet av Marie Nyrerod (2004)

Mamma av Suzanne Osten (1982)

Sondagsbarn av Daniel Bergman efter ett manus av Ingmar Bergman

(l992)

Trolosa av Liv Ullmann efter ett manus av Ingmar Bergman (1999)

Архивы

Attunda tingsrätts arkiv
Försvarsstabens Säkerhetsavdelning arkiv
Krigsarkivet
Kungliga Biblioteket
Landsarkiven i Goteborg, Lund, Harnosand och Uppsala
Riksarkivet
Skatteverkets äktenskapsregister
Stockholms stadsarkiv
Säkerhetspolisens arkiv

Газеты и журналы

Aftonbladet
Allers
Biografibladet
Chaplin
Dagens Nyheter
Expressen
Filmnyheter
Husmodern
Levande Historia
Nutid
Nöjesguiden
Röster i Radio Se
Stockholms-Tidningen
Svenska Dagbladet

The Guardian
Time Magazine
Vecko-Journalen
Vecko-Revyn

Библиография

Andersson, Bibi: *Ett ögonblick* (Norstedts, 1996)
Andersson, HARRIET: *Samtal med Jan Lumholdt* (Alfabeta, 2005)
Bergman, Anna: *Intepappas flicka* (Bra Böcker, 1987)
Ingmar Bergmans samlade verk (1944–2003)
Bergman, Ingmar: *Laterna Magica* (Norstedts, 1987)
Bergman, Ingmar: *Bilder* (Norstedts, 1990)
Bergman, Margareta: *Spegel, spegel…* (Legenda, 1986)
Bergman, Margareta: *Angestens barn* (Carlssons, 1992)
Bergmark, MATTS: *Fran pest till polio* (Natur och kultur, 1957)
Bjorkman, Stig & Assayas, Oliver: *Tre dagar med Ingmar Bergman* (Filmkonst nr 13, 1992)
Bjorkman, Stig, Manns, Torsten & Sima, Jonas:
Bergman om Bergman (PA. Norstedt & Soners Forlag, 1970)
BjÖrnstrand, Tillie: *Inte bara applader* (Tiden, 1975)
Boëthius, Maria-Pia: *Heder och samvete. Sverige och andra varldskriget* (Ordfront, 1999)
Britten Austin, Paul: *Val & kval: fantasier, fugor* (Legenda, 1986)
Donner, Jörn: *Djavulens ansikte* (Bokforlaget Aldus/Bonniers, 1962)
Donner, Jörn: *Ingmar Bergman: PM* (Ekerlids Forlag, 2009)
Ekman, GOSTA & Gustafson, KLAS: *Farbrorn som inte ville va'stor* (Leopard Forlag, 2010)
Gado, Frank: *The Passion of Ingmar Bergman* (Duke University Press, 1986)
Goldstein, Max: *Kla av, klapa* (Forfattarforlaget, 1988)
Hook, MARIANNE: *Ingmar Bergman* (Wahlstrom & Widstrand, 1962)
Josephson, Erland: *Rollen* (Brombergs, 1989)
Josephson, Erland: *Sanningslekar* (Brombergs, 1990)
Koskinen, Maaret: *I begynnelsen var ordet. Ingmar Bergman och hans tidiga forfattarskap* (W&W, 2002)
Kristoffersson, Birgitta & Farago, Katinka: *Katinka och regissorerna* (Bokforlaget Arena, 2008)
Kullenberg, Annette: *Jag var sjalvlockig, moderlos, gripande och ett monster av forljugenhet. En biografi om Marianne Hook* (Atlas, 2008)
Laretei, Kabi: *Sasom i en oversattning* (Albert Bonniers Forlag, 2004)
Laretei, Kabi: *Vart tog all denna karlek vagen?* (Norstedts, 2009)

Larsmo, Ola: *Djavulssonaten* (Albert Bonniers Forlag, 2007)

Linton Malmfors, Birgit: *Den dubbla verkligheten. Karm och Erik Bergman i dagbocker och brev 1907–1936* (Carlssons, 1992)

Linton Malmfors, Birgit: *Detta underliga skadespel som heter livet. Karin Bergmans dagbocker 1937–1951* (Carlssons, 1995)

Linton Malmfors, Birgit: *Karins liv. Karin Bergmans dagbocker 1907–1966* (Dejavu Publicerings AB, 2010)

Lofgren, Lars: *Teaterchefen bakom maskerna* (Albert Bonniers Forlag, 1997)

MacNab, Geoffrey: *Ingmar Bergman. The Life and Films of the Last Great European Director* (I.B. Tauris & Co, 2009)

Nilsson, John: *Drottningar och andra. En bok om Sophiahemmet* (Svenska Kyrkans Diakonistyrelses bokforlag, 1939)

Nykvist, Sven: *Vordnad for ljuset* (Albert Bonniers Forlag, 1997)

Ollén, Gunnar: *Svensk amatorteaterhistoria 1865–1978* (LTs forlag, 1979)

Osten, Gerd: *Detforloradeparadiset* (Kooperativa forbundets bokforlag, 1947)

Osten, Gerd: *Nordiskfilm* (Wahlstrom & Widstrand, 1951)

Osten, Gerd: *Den nya filmrealismen* (LTs forlag, 1956)

Palmstierna, Erik: *Orostid. Politiska dagboksanteckningar 1917–1919* (Tiden, 1953)

Ralston, Veronica: *Karleksbarnet och bortbytingen* (GML Forlag, 2011)

Schein, Harry: *Schein* (Bonniers, 1980)

Shargel, Raphael: *Ingmar Bergman Interviews* (University Press of Mississippi, 2007)

Sjögren, Henrik: *Bergman pa teatern* (Almqvist & Wiksell/ Gebers Forlag, 1968)

Sjögren, Henrik: *Lek och raseri. Ingmar Bergmans teater 1938–2002* (Carlssons, 2002)

Sjöman, Vilgot: *L136. Dagbok med Ingmar Bergman* (PA. Norstedt & Soners Forlag, 1963)

Sjöman, Vilgot: *Mitt person-register. Urval 98* (Natur och Kultur, 1998)

Thulstrup, Åke: *Med lock och pock. Tyska forsok att paverka svensk opinion 1933—45* (Bonniers, 1962)

Thunberg, Anders: *Karin Lannby – Ingmar Bergmans Mata Hari* (Natur & Kultur, 2009)

Tillberg, Louise: *Den jag ser pa alskar jag* (Morgongava Productions, 2010)

Timm, Mikael: *Lusten och damonerna. Boken om Bergman* (Norstedts, 2008)

Ullmann, Liv: *Forandringen* (Forum, 1976)

von Horn, Brita: *Hornstotar ur kulissen* (Raben & Sjogren, 1965)
von Rosen, Maria & Bergman, Ingmar: *Tre dagbocker* (Norstedts, 2004)
Wright, Rochelle: *The Visible Wall. Jews and Other Ethnic Outsiders in Swedish Film* (Acta Universitatis Upsaliensis, 1998)
Amark, Klas: *Att bo granne med ondskan* (Albert Bonniers Forlag, 2011)

Интервью, беседы и письма
Harriet Andersson
Anna Bergman
Lill-Ingmar Bergman
Lasse Bergstrцm
Gudrun Boe
Rose Britten Austin
Birgit de Geer
Tove Ellefsen Lysander
Berit Frodi
Mechthild Hofmann
Gunilla Jakobson
Gerald Kotsch
Кдbi Laretei
Monica Kleja
Per Lysander
Lars Löfgren
Birgit Norlindh
Suzanne Osten
Veronica Ralston
Lars Schenerfelt
Christa Sehling
Jonas Sima
Ulla Stattin
Anders Thunberg
Bo Arne Vibenius
Jan-Carl von Rosen
Marianne von Rosen

Прочее
Historiebloggen: Mats Karlsson, 2008
www.imdb.com
www.ingmarbergman.se
www.ingmarbergmanarchives.se
www.fergusfallsjournal.com
www.masterolofsgarden.se
www.runeberg.org

www.spanskasjukan.com
www.sfi.se
www.thirdreichruins.com
www.time.com

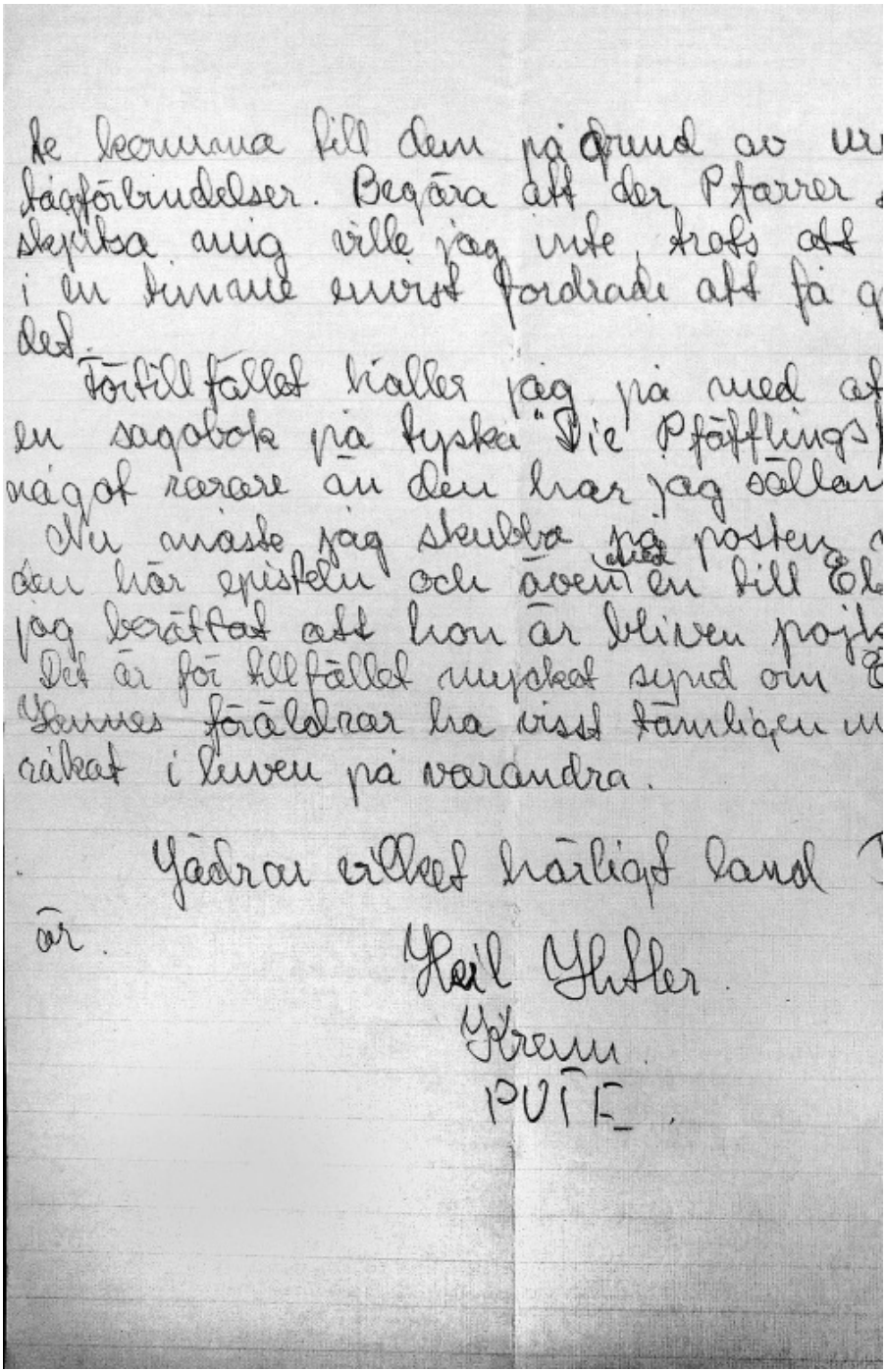
Фото к книге

Ингмар Бергман в парадном костюме в день выпускного

экзамена (1937). Он сидит на подоконнике в доме № 7 по Стургатан, неподалеку от церкви Хедвиг-Элеоноры, где его отец был пастором.

Ингмар Бергман в окружении любимых женщин. Слева сестра Маргарета, остальные, по-видимому, невеста Марианна фон Шанц (в центре) и приятельница Сесилия Турселль.

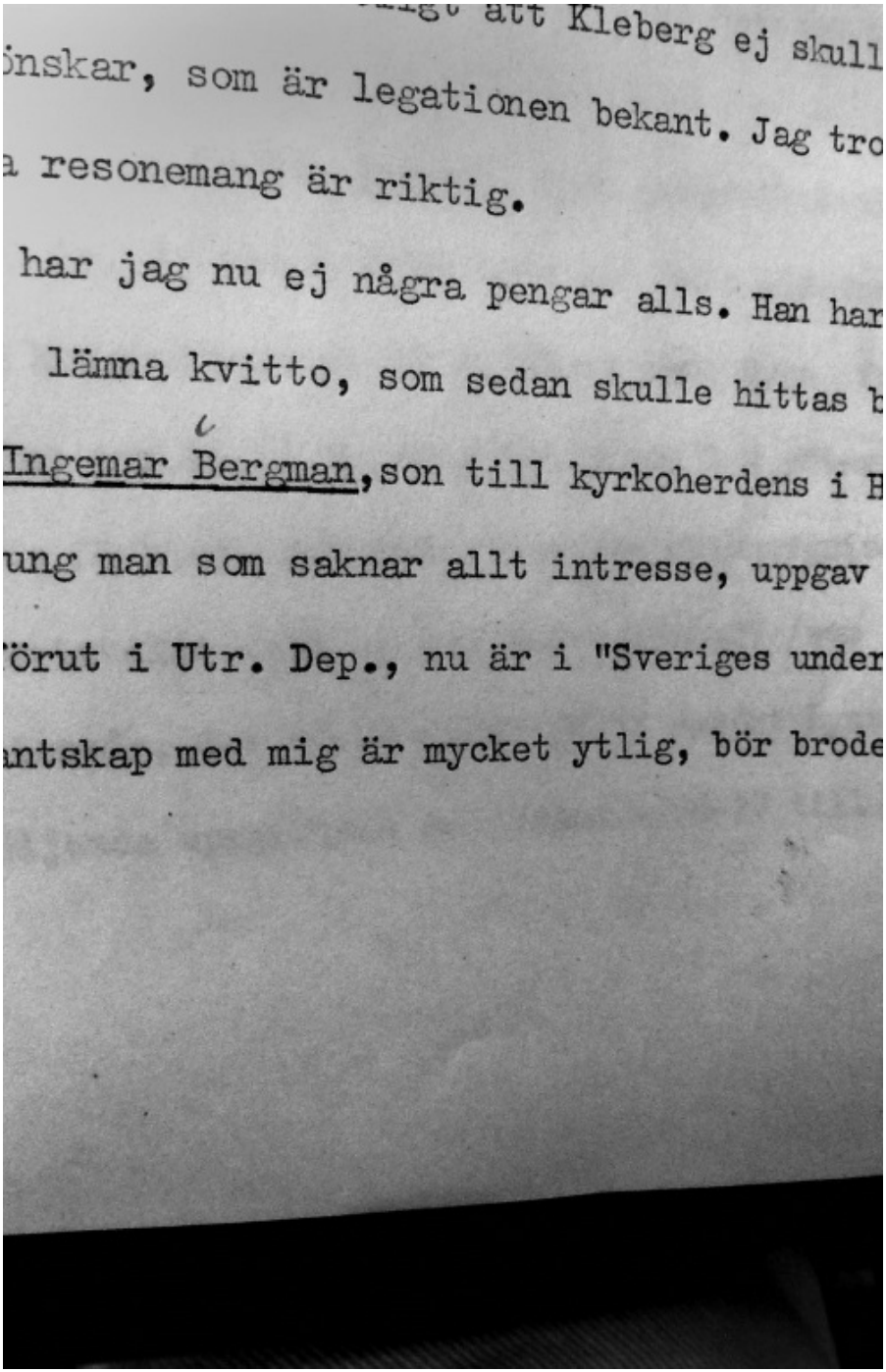
Эрик Бергман с дочерью Маргаретой на скалах возле Эрегрунда. Пастор очень любил свою дочь. Слишком любил, как считала его жена Карин.



Летом 1936 г. Ингмар Бергман участвовал в программе школьного обмена с Германией. В письмах домой он рассказывал о германском диктаторе, о нацизме и заканчивал письма приветствием “Хайль Гитлер”.

Ингмар Бергман и его сестра Маргарета на лестнице даларнской дачи Воромс. Оба они страстно любили театр и писательство, и Маргарета была очень привязана к старшему брату.

Шпионка Карин Ланнбю, любовница Ингмара Бергмана в течение нескольких драматических лет в начале 40-х годов. Роман был весьма бурным.

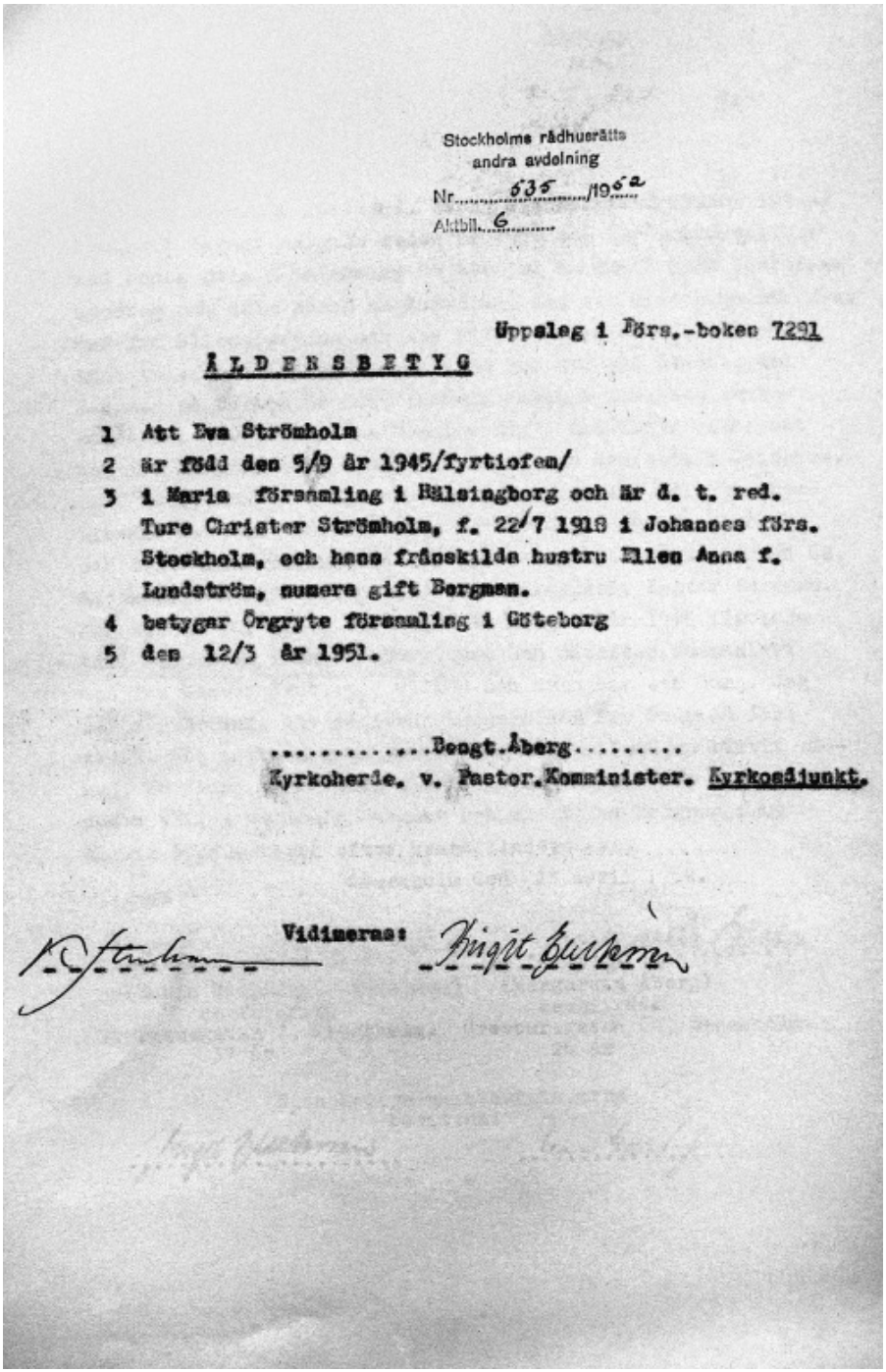

att Kleberg ej skull
önskar, som är legationen bekant. Jag tro
a resonemang är riktig.
har jag nu ej några pengar alls. Han har
lämna kvitto, som sedan skulle hittas b
Ingemar Bergman, son till kyrkoherdens i H
ung man som saknar allt intresse, uppgav
förut i Utr. Dep., nu är i "Sveriges under
ntskap med mig är mycket ytlig, bör brode

Будучи любовницей Бергмана, Карин Ланнбю доносила на него и на его брата Дага в Главный штаб ВС.

Ингмар Бергман и Эльса Фишер поженились в марте 1945 г. Эрик и Карин Бергман надеялись, что она наставит сына на путь истинный. Увы, этого не произошло.

С Эллен Лундстрём, которая ранее состояла в браке с фотографом Кристером Стрёмхольмом, у Ингмара Бергмана было четверо детей – Ян, Анна, Матс и Эва.

Ингмар Бергман с дочерью Эвой. Он был постоянно отсутствующим родителем, но не раз говорил двум своим женам, что “впервые” почувствовал себя отцом.



Stockholms rådhusrätts
andra avdelning
Nr 635 /1952
Aktbil. 6

Uppslag i Förs.-boken 7291

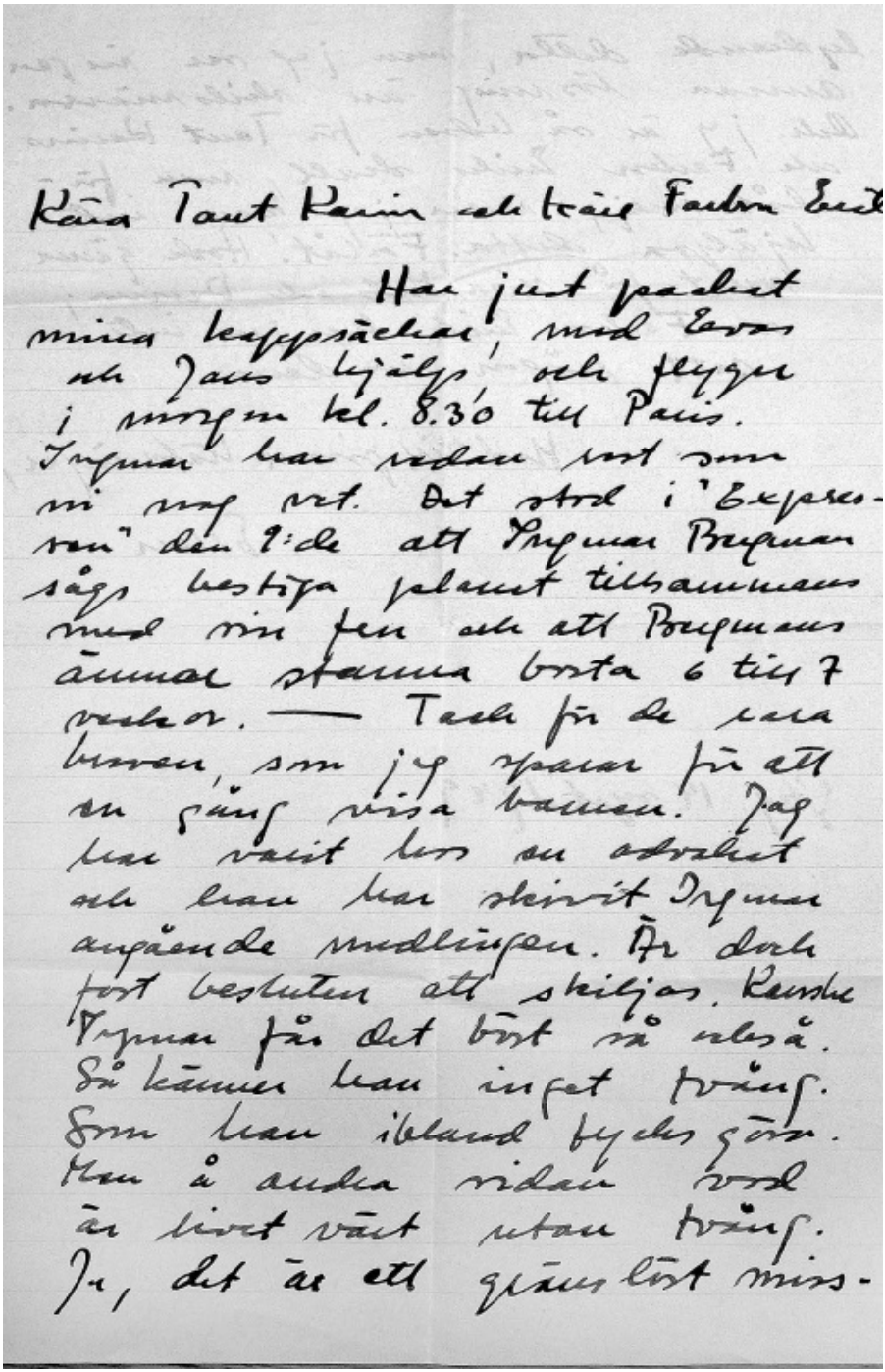
ÅLDERSBETYG

1 Att Eva Strömholm
2 är född den 5/9 år 1945/fyrtiofem/
3 i Maria församling i Helsingborg och är d. t. red.
Ture Christer Strömholm, f. 22/7 1918 i Johannes förs.
Stockholm, och hans frånskilda hustru Ellen Anna f.
Lundström, numera gift Bergman.
4 betygar Örgryte församling i Göteborg
5 den 12/3 år 1951.

.....Bengt.Åberg.....
Kyrkoherde. v. Pastor.Komminister. Kyrkosådjunkt.

Vidimeras:

Чья дочь Эва Бергман, собственно говоря? Несколько лет ее официальным отцом считался Кристер Стрёмхольм, но затем Ингмар Бергман удочерил ее и позднее признал свое отцовство.

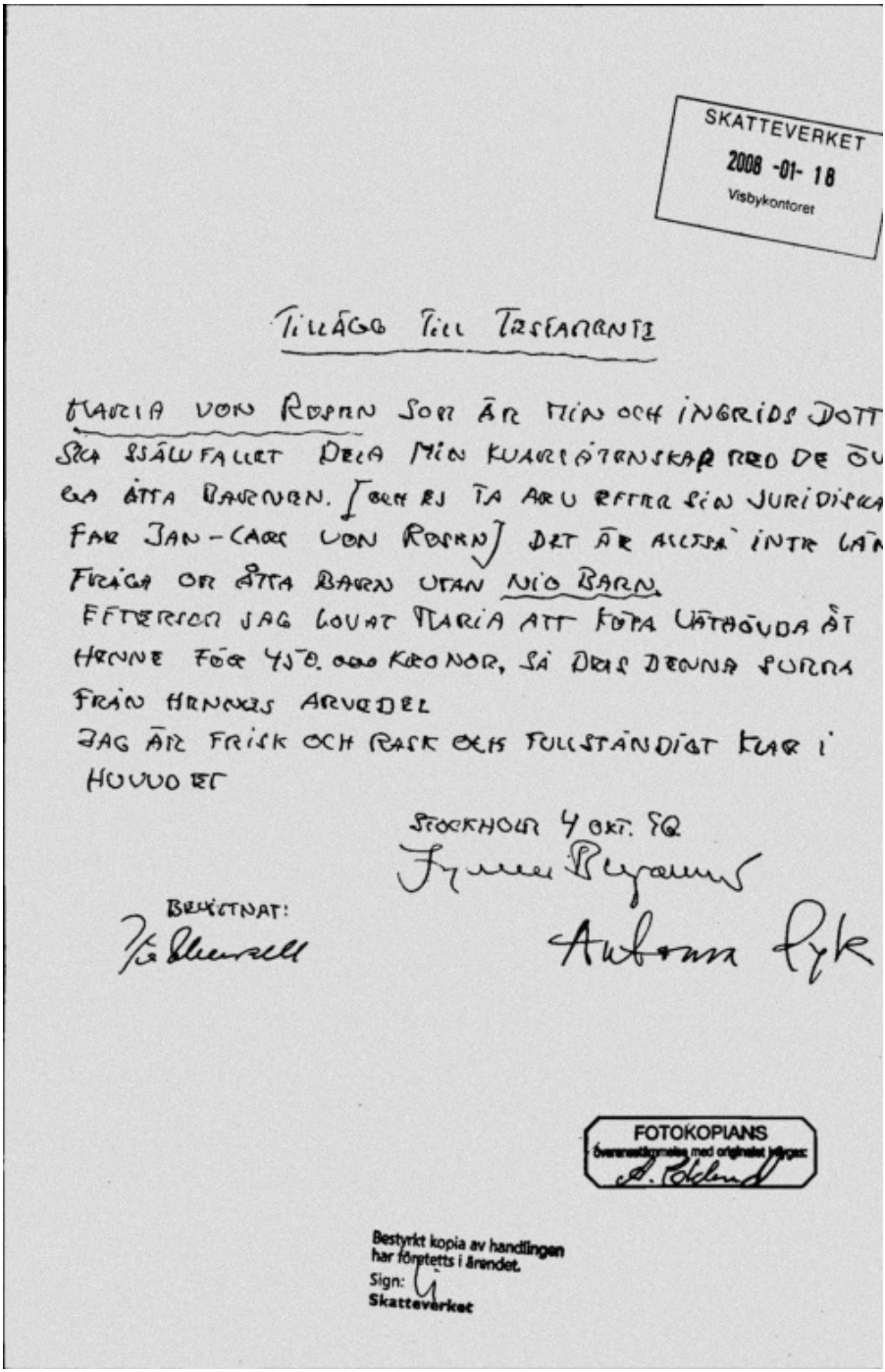


Эллен Бергман в письме к своей свекрови Карин Бергман рассказала, что, по сообщению “Экспрессена”, ее муж вылетел во Францию вместе со своей женой. На самом деле он поехал туда с новой возлюбленной, Гюн Грут.

Гюн Грут стала третьей женой Ингмара Бергмана. Когда они познакомились, она была журналисткой и много писала о кино. Оба имели семьи и сбежали от них в Париж.

Гюн и Ингмар Бергман на Сиарё летом 1951 г. Мальчик слева от Гюн, вероятно, ее сын Николай от брака с Хуго Грутом.

Кэби Ларетай и Ингмар Бергман возле даларнской гостиницы “Сильянсборг”. Они поженились в сентябре 1959 г. В ту пору у Бергмана была тайная возлюбленная, Ингрид фон Розен, которая в апреле того же года родила от него дочь Марию.



SKATTEVERKET
2008 -01- 18
Visbykontoret

TILLÄGG TILL TESTAMENTET

MARIA VON ROSEN SOM ÄR MIN OCH INGRIDS DOTT
SKA SJÄLV FALLET DELA MIN KVARLÅTENSKAP MED DE Ö
GA ÄTTA BARNEN. [OCH EJ TA ARV EFTER SIN JURIDISKA
FAR JAN-CARL VON ROSEN] DET ÄR ALLTSÅ INTE LÄ
FRIGA OR ÄTTA BARN UTAN NIO BARN.
EFTERSOM JAG LOVAT MARIA ATT FÖRA VÄRDÖVDA ÅT
HENNE FÖR 450.000 KRONOR, SÅ DRAS DENNA SUMMA
FRÅN HENNES ARVEDEL
JAG ÄR FRISK OCH RASK OCH FULLSTÄNDIGT KLAR I
HUVUDET

STOCKHOLM 4 OKT. 96

Ingmar Bergman

BEVITNAT:

Antonia Fyk

FOTOKOPIANS
överensstämmelse med originalet intygas:

Bestyrkt kopia av handlingen
har förvarats i ärendet.
Sign:
Skatteverket

Добавление Ингмара Бергмана к завещанию 1996 г., где он разъясняет, что Мария фон Розен – его дочь и что детей у него, стало быть, не восемь, а девять. “Пишу в здравом уме и твердой памяти”, – заверяет он.

notes

Примечания

1

Ну и что? *(англ.)*

2

Статус звезды (англ.).

З

Пантеон, Зал славы *(англ.)*.

4

Софийский приют – училище медицинских сестер и больница в Стокгольме, основан в 1899 г. королевой Софией.

5

Сигтунское общество – основанное в 1915 г. общество церковного строительства, куда входят народный университет, гуманитарное училище, пансион для приезжающих и конференц-зал.

В целом *(искам. нем.)*.

Отравлен евреями (*нем.*).

Германия, проснись (*нем.*).

Здесь: участник обмена (*нем.*).

10

Бомбежка Лондона во время ночных налетов немецкой авиации в 1940–1941 гг.

11

Прекрасная Италия (ит.).

12

По предпочтению *(фр.)*.

13

Раз солгал – навек лгуном стал (*нем.*).

14

Управление стратегических служб (УСС) *(англ.)*.

15

В СССР эта организация называлась “Международная организация помощи борцам революции” (МОПР).

16

По-видимому, имеется в виду Карл Фредрикссон (1895–1963) – известный журналист-социал-демократ.

17

13 декабря.

Без препятствий идем до конца (*лат.*).

19

Здесь: любовь втроем (*фр.*).

20

Международный конкурс танца (фр.).

21

Печаль *(англ.)*.

22

Третий уикенд июля.

23

Норра-Латин – известная стокгольмская гимназия, построенная в 18761880 гг. по проекту архитектора Хельго Сеттервалля.

24

Росунда – район Стокгольма, где расположен киногородок.

25

В г. Сандвикен расположен крупный сталелитейный завод.

Академия изящных искусств *(фр.)*.

27

“Шесть персонажей в поисках автора" – пьеса (1921) итальянского драматурга Луиджи Пиранделло.

28

“Моника, история скверной девчонки” *(англ.)*.

29

Приз за поэтический юмор (фр.).

30

Кинопремия Британской академии кино– и телеискусств (англ.).

31

Намек на фильм Жака Тати “Мой дядюшка”, т. е. дом со всевозможными современными техническими новшествами.

32

Ты точь-в-точь как твой чертов дядя! (англ.)

33

Образ действий (*лат.*).

34

Свобода, свобода *(англ.)*.

35

Мистер Бергман, ваша картина замечательна, но… (англ.)

Шведская торговая палата США (*англ.*).

37

Мимолетное увлечение (англ.).

38

Иностранцы (исп.).

Думаю, лучше сказать: “Мы в нем больше не нуждались, но, с другой стороны, никогда его и не имели” *(англ.)*.

40

“Долгий день уходит в ночь” – пьеса американского драматурга Юджина О’Нила.

41

Финал *(англ.)*.

УИРС – управление по использованию рабочей силы.

43

Имеются в виду единомышленники шведского премьер-министра, социал-демократа Улофа Пальме, погибшего в 1986 г.

Неприязнь (янгл.).

45

Ингвар Кампрад – шведский предприниматель, считается одним из богатейших людей в мире.